

*Памяти дорогих моих родителей  
посвящается эта книга*

*Наталья Барабаш*

Анна Кремнёва,  
из времени  
любви и веры

*Роман*

Москва  
2010  
АКАДЕМИКА

Автор благодарит:

*Каплуна Ю.И., Полнарева М.В.,  
Весманова С.В., Источникова В.В.,  
Василенко В.В.*

ISBN 978-5-4225-0017-8

© Н.А. Кривицкая-Барабаш, 2010

В филологии есть такое понятие «медленное чтение». Это не просто замедленный, неспешный темп чтения, а углубленное, вдумчивое «вчитывание» в текст с целью освоить его интеллектуальное содержание, а если перед нами литературно-художественное произведение, то имеется в виду и восприятие в полном объеме эмоциональной стороны такого текста, постижение его эстетики вкупе с идейным замыслом автора. Именно такое «медленное чтение» предполагают тексты (как научные, так и литературно-художественные), создаваемые нашей замечательной современницей — доктором искусствоведения (к примеру назовем ее научно-исследовательский труд «Телевидение и театр: игры постмодернизма»), мастером художественного повествования, проникновенным лирическим поэтом (вот только некоторые из стихотворных сборников «Полетим?...», «Загадки безрассудства», «В поисках ответов») и драматургом Наталией Александровной Барабаш.

Н.А.Барабаш в своей писательской ипостаси — автор психологической прозы. Таков, например, ее роман «Отступник», где главным героем является мужчина, задумывающий план убийства своей жены, находя этому намерению психологическое оправдание. Расплата за содеянное, за могущее только быть, категории вины и греха становятся ведущими в произведении. Привнесение иррационального начала, соединение «верха» и «низа» поддерживают философскую глубину романа, который насыщен мистификациями, переходами героя из материального мира в фантастический. По большому счету, объективно в своем литературном творчестве в художественно-повествовательных жанрах — она — определенно выступает в русле главной, парадигматической для русской классической литературы традиции психологической прозы.

Именно это обстоятельство выгодно (как обычно говорят литературные критики) и весьма красноречи-

во выделяет и принципиально отделяет прозу Н.А.Барабаш от модных в наше время легковесных «литературных» поделок в жанре так называемых женских романов, которые действительно не требуют «погружения» в сюжетную линию и якобы глубокие переживания их (женских романов) героинь.

А главные героини повестей и романов Н.А.Барабаш — тоже женщины, в центре авторского повествования — судьба, жизненные и житейские перипетии наших современниц с их «вечными» и нынешними проблемами, с действительно глубокими — ненадуманскими и непридуманскими — переживаниями и передрыганиями, выпавшими на долю русской женщины. И конечно — дуэт «она и он», в котором (дуэте) ведущая и «страдающая» роль принадлежит женщине.

Отличительная черта главной героини нового романа Н.А.Барабаш (он — перед вами, как, впрочем, и центральных персонажей других произведений писательницы) — она сильная, волевая, самостоятельная, очень цельная натура. Последнее особенно ярко проявляется в отношении к мужчине и в отношениях с ним. Вместе с тем главные героини прозы Н.А.Барабаш — непосредственные, легкоранимые, тонко и глубоко чувствующие природу, что делает их очень и очень привлекательными.

И совсем неслучайна профессиональная ориентация (если так можно сказать) героини данной книги (Анны Кремнёвой: она — актриса) и предыдущего романа «Пролетает дождь зимой» (Ильзе: она — врач).

Ведь эти две профессии наиболее близкие к тайнам человеческого существования: доктор врачует и тело, и душу (как думала Ильзе из предыдущего романа — она и властвовала над жизнью больного), а актер — он ведь тоже, перевоплощаясь, проникает в «тайники души» своего героя, а лучшие из лучших актеры становятся «владельцами дум и душ» своих зрителей.

Поэтому-то центральные персонажи художественных произведений Н.А.Барабаш — обладательницы великого и «высокого» душевного (и духовного) богат-

ства, которое так щедро и изобретательно (в литературно-художественном плане) раскрыто автором.

И еще об одной черте творческой манеры Н.А.Барабаш. Внешне сюжетные линии в ее литературных работах скупы. Сюжетна сама внутренняя, душевная (и духовная) жизнь главной героини (главных героинь). В этом-то и кроется секрет притягательности «писаний» Н.А.Барабаш.

То же обстоятельство обуславливает и стилевое своеобразие художественной прозы нашего автора: сложные по своей структуре, развернутые предложения. Однако они легко воспринимаются при чтении благодаря четким смысловым и синтаксическим связям между их (предложений) частями, и мотивированно составленным логическим и эмоциональным акцентам внутри фразы, а также и в рамках микроконтекста абзаца.

Так что, дорогой читатель, вас ждет встреча с литературным произведением, в котором «диалектика души» персонажей (о которой писал Н.Г.Чернышевский) раскрывается в лучших традициях и свойствах нашей отечественной литературы.

В добрый путь по страницам нового романа Наталии Барабаш.

*Юлий Бельчиков,  
доктор филологических наук,  
профессор, член Союза писателей Москвы*

Мой отец был актером ташкентского русского театра, мама — сначала актрисой, потом администратором. Работала с выдающимися исполнителями, включая Комиссарова, Вертинского. То, что было в Ташкенте послевоенной поры, известно мне и по рассказам родителей, их переписке в годы войны, и дружбе с четой Алексеевых, долгие двадцать лет украшавших сцену театра. Да еще из того, что проходило перед моими глазами в течение нескольких десятилетий жизни в Ташкенте, работы в этом же театре, в театральном институте. Ну, а впоследствии — в Ленинграде и Санкт-Петербурге, и снова в родном городе, в котором родилась и выросла. Там было хорошо! Лучшего города так и не случилось во всей моей биографии. В нем все было не так, не так, как в других местах и пространствах: легче, человечнее, жизнерадостней!

Обо всем этом — в романе. Он совсем не о моей жизни, и уж тем более — не мой характер у его героини, Анны Кремнёвой. Она и сильнее, и терпимее, и выносливей. И, наверное, актерски очень одарена. Именно поэтому все, что с ней случается в жизни, подчинено только и исключительно театру.

Не стоит искать исторически точных, совпадающих с истинным временем, событий, ведь это не исторический роман и не документ. Например, спектакль «В день свадьбы» был поставлен после землетрясения, в романе все иначе, но не это составляет основные его приметы. Там есть другая правда, и надеюсь, читатель ее увидит и ощутит.

Я благодарна судьбе, что дружила со многими замечательными людьми, которые так или иначе, но оказались и в моей жизни, и в этой книге, что жила в городе, который люблю до сих пор. И потому желаю всем им, живущим в Ташкенте или Петербурге, или где-то еще, непременно одного: любви и веры, сквозь которые проходит и моя героиня и без которых жизнь невозможна.

Мою сердечную признательность выражаю Полнареву М.В., Весманову С.В., Источникову В.В., Василенко В.Н. и особенно Каплуну Ю.И., чья бескорыстная помощь и дружеская поддержка способствовали выходу этой книги.

НАТАЛИЯ БАРАБАШ

*Тень от столба, у которого он стоял, была столь значительной, что он не мог поначалу рассмотреть дом напротив, камитку, ведущую в него, и, наконец, окно. Оно-то интересовало его больше всего. Он пристально смотрел в одну и ту же сторону, сиюсь увидеть хоть какое-то отражение или движение поблизости с окном, но ничего не происходило. По-прежнему было пусто, никто не выходил и не входил, и только напряжение все росло и росло и казалось уже непереносимым, когда неожиданно подлетела маленькая птичка и присела рядом.*

Когда Анна посмотрела на карниз, чтобы перебросить капроновый чулок, ее взгляд остановился на желтом пятне на потолке, которое, вероятно, было давнишним, но увидела она его только сегодня. Такое жизненное, такое роковое действие, как приготовление к нежизни, вдруг натолкнулось на самое банальное препятствие в виде непривычного пятна. И когда оно могло здесь появиться? Последний этаж, никого выше нет, разве что сама крыша, которая и способна протекать. Но когда это произошло? Странно. В момент самого размышления и даже некоторого недоумения Анна прилаживала свой чулок к карнизу, проверяя последний на прочность, потому как решила свести счеты с жизнью таким способом: через повешение. Проза жизни и тут подтолкнула к мысли: а что, если все это сооружение не выдержит и она окажется на полу раньше, чем совершится сам жестокий акт ухода? Еще раз подергала крепление, затем капроновое изделие — все казалось прочным и внушительным — и снова посмотрела на комнату уже с высоты письменного стола. В эти двенадцать метров вмещались прекрасный румынский шкаф из натурального дерева, кровать из того же гарнитура, четыре книжные полки, висящие весьма своеобразно, и еще письменный

стол, на котором теперь и сосредоточилась Анна. Решение ее было выношенным и бесповоротным, она несколько не колебалась и не испытывала сомнений насчет правильности своих намерений, просто еще раз хозяйским глазом окинула комнату, дабы удостовериться, что все в порядке и что потом (ну потом) никто не упрекнет ее в безалаберности и нечистоплотности.

Просунув голову в мягкий, слегка скрипучий чулок, переброшенный через карниз и завязанный вполне надежно, как ей казалось, она увидела в окне, возле которого и находилась, ибо именно письменный стол упирался почти в самый подоконник, что к их подъезду направляется Светка и что служило верным знаком того, что вот-вот раздастся звонок, и следовало немедленно принять решение, что делать: отгаливкаться от стола и сознавать, что Светка — последний человек, которого она видела в своей жизни, и что та направлялась именно к ней. А второе — плюнуть на всю эту затею, уйти со службы и начать новую жизнь, забыв навсегда о чулке, во всяком случае, последнем его предназначении, и улыбаться новым прелестям жизни. Что поделаешь, два чувства были столь властными и одновременно аргументированными, что Анна не могла решиться ни на одно из действий, так и застыв в позе ожидания со своим чулком.

Оторвал ее от рассуждений, конечно же, звонок в дверь, который был явным завершением поднятия Светки на четвертый этаж, где и проживала Анна в полном одиночестве после отъезда родителей. Светка знала все хитрости по части закрывания двери и сразу поняла, что хозяйка дома. Да, этого Анна предусмотреть не сумела. Ключ! — вот что выдавало ее. Он был вставлен с обратной стороны, и получалось, что Анна либо спит, либо спит не одна и потому не открывает дверь подруге. Что оставалось делать? Еще постояв с чулком на голове, она наконец вытащила голову из него, развязала узел, спрыгнула со стола и пошла открывать дверь.

— Ты что так долго? Спала что ли?

— Угу, не слышала.

— Да я уже несколько минут тут стою. Боже мой, что за вид? Будто только что из петли.

— А я и есть из петли.

— Ладно, Ань, идем, напои чаем, уже прохладно на улице, не август все же. — И усмехнулась — надо же, из петли!

— Мой руки, я быстро.

Анна только сказала, что она «быстро», но ноги, однако, слушать почему-то отказывались, и она прямо в прихожей сползла на пол, так и не дошагав до своей кухни.

Светка вышла, увидела, что ее подруга скрючилась на полу, и завопила страшным голосом: «Ты что, ты что, Аня, вставай! Что с тобой?» Она теребила девушку, и та наконец открыла глаза, посмотрела, ничего не соображая, на бьющую ее по щекам Светку и задала вопрос: «А сколько времени?» Светка оторопело посмотрела на бледную подругу и ответила, что сейчас самое подходящее время для подобных вопросов и что вообще-то следует спрашивать «какой час».

Анна повела головой в сторону, почему-то потрогала свою шею и облегченно вздохнула. Ну что, если бы сейчас она болталась не приведи господи в какой позе, что, если бы не увидела идущую Светку, и что... да, что? А то, что ее самый дорогой и любимый человек вынужден был покинуть и ее, и этот город, и свой театр и отправиться к себе, в город, где давно-давно, как казалось Анне, родилась и она сама, а теперь был так далеко от нее, что она перестала даже думать о нем и любить его. И что война уже закончилась вот уже как двадцать с лишним лет, и что жизнь в конце концов предстала в сером, никому не нужном свете и ждать действительно от нее было нечего. Тем более и сегодня случился облом: роль в новом спектакле ей не светила. Если что и оставалось, то вот эта симпатичная прихожая, натуральный шкаф с кроватью и четыре полки. Давно был мир, но только не в Анином сердце. В середине шестидесятых, когда все страсти военного порядка успокоились и

улеглись, именно в это время ей не хватило чего-то такого, что еще могло удержать на плаву жизни, и захотелось проститься с ней и ничего ни о ком не знать: ни о своем театре, ни о переменах, которые последовали разом за упрочением мира, за освобождением страны, за раскрепощенностью людей и главное — за теми изменениями, которые этот мир, несомненно, нес. Словом, тем, кто несколько лет назад покинул столицы и другие города в опасной зоне, все же приходилось возвращаться восвояси. Там были семьи, там оставались квартиры и просто там возрождалась жизнь, которую, как казалось, уже давно похоронили. Нет, она была, она требовала к себе своих сыновей и дочерей, и «малая родина» становилась все более и более притягательной для уехавших в эвакуацию.

И Анин друг со странно неподходящей под военные времена фамилией Платов, прекрасный актер и замечательный товарищ, просто красавец мужчина, стал собираться к себе в Ленинград. Там уже давно театр, там жили его близкие: жена, дочь. И все, с этого момента жизнь утратила свою привлекательность, и Аня не могла ухватиться ни за один ее конец, кроме как за конец капронового чулка. Она решила, что, похоронив себя, сбережет нетронутыми лучшие годы и лучшие воспоминания. Утрачены были надежды, а с ними и всякое желание жить.

Но не тут-то было. Ее неутомная Светка, которая работала в их театре помощником труппы и знала все и обо всех, считала иначе. Она, не имевшая ни детей, ни мужа, ни даже любовника, любила одного человека — Аньку, свою лучшую, свою единственную подругу. И когда увидела и осознала жест по шее, разглядела на ней след от чего-то, что прикасалось к этой шее, зашла затем в комнату и заметила брошенный чулок, а на столе — оставшийся тапок, — она все поняла, эта женщина без будущего и почти без прошлого, и закричала страшным голосом на Аню. «Ты уродина, понимаешь? Ты — сволочь! Ты что удумала? Оправдать себя вздумала? Молчи, не смей мне перечить, я все поняла.

Ты дрянь такая. Тогда, в сорок третьем не сдохла, карточки сперли, а теперь только что черной икры нет, да и та бывает, а она... Нет, дорогуша, не видать тебе чулка! Кто играть будет? Где замены? Все и так расползаются. Ты что, хочешь театр по миру пустить? Не выйдет! Я не дам. Так и знай!»

Она еще долго вопила, то прижимая к себе Аню, то отталкивая и вспоминая, как жили люди все долгие военные годы, как перебивались с веры на воду, а потом и покупали что-то, и даже сережки на Алайском после удачной премьеры, когда им отвалили баснословные деньги. Неожиданные баснословные деньги! Конечно, Анна тогда еще была мала, и не она покупала сережки, но все же. Светка была щедра и отдала их своей любимице, старше которой была на целых семь лет. А теперь? Теперь бросить жизнь? Нет уж, она не простит, она не вынесет, жизнь, такого надругательства над собой, не простит.

— Анька, ну все, давай попьем чего-нибудь, лучше уже не чаю, так лучше будет.

— Давай, — слабо сказала еле живая Аня.

— Дура ты моя дорогая, что же удумала, — причитала Светка, готовя стол и разливая водку по маленьким стаканчикам, — а обо мне ты подумала?

Это было тем более смешно, что именно накануне самого страшного Аня-то и успела подумать про Светку, потому что именно ее и увидела. Но, сказать по правде, о ней в минуты подготовки и решения она почему-то не думала. Вспоминала кого угодно: Платова, детство, отца, в конце концов свой прекрасный двор, поступление в театр... Это потом все завертелось как в кинобудке дяди Саши, отца их Лильки из двора детства, и превратилось в единый ком мешанины из правды, обид, нереализованных надежд и многого такого, чему названия Аня так и не нашла.

— Свет, помолчи, давай... давай за нас, что ли? Ты сегодня в театре была? Доску объявлений видела? Про читку знаешь?

— А тебе что? Ты могла бы, если не я, и не знать ничего о своем театре. Видишь ли, театр ее забеспокоил!

— Ну ладно, все, хватит. Про читку слышала?

— А то!

— И что же?

— Кто-то ляпнул, что ты, моя дорогуша, приболела. Не все тебя даже на читке видели. Все тебя любят, а ты... Да разве ж можно тебя не любить? Это у нас в Кемерове отродясь таких не было. А тут, чуть ли не на краю земли — сплошные самородки.

— Все спросить тебя хотела: а что ты из своей глуши в войну сюда подалась? У вас же тихо было? Родители, да?

— Ну, тихо, а все равно Россия. Здесь — Азия, все по-другому. Думаю себе: когда еще эту сказку увижу? И махнула.

— Почему сказку?

— А что, нет? У меня в детстве были узбекские народные сказки, бабушка их всю дорогу читала. Вот и полюбила я твою Азию. Это тебе не привыкать, а нам, российским, все здесь в диковинку.

— И не жалеешь?

— Ты что! Как можно?

— А потом? Тоже уедешь?

— Да как я тебя брошу? Кто с тобой еще возиться станет, неженка ты такая! Только я, больше никому. Уехал твой Платов, знаю. Что делать? Я на вахте. Давай за него, как считаешь? Хорош, ох и хорош мужик. Вы — пара, точно.

— У него теперь своя пара. Далеко. Это для меня Россия — загадка, а Ленинград — тем более. Сто лет здесь.

— Сто не сто, не век же твои жили здесь, тоже, небось, приехали?

— Ладно, потом об этом. Не сто, верно.

— Ты текст-то выучила своего ввода? Завтра уже прогон. Хочешь, подбрасывать буду?

— Можно. Бери листы. Хотя нет, как ты без книги? А у меня есть, сейчас я.

— Нет уж, я с тобой, мало ли...

Аня вошла в свою комнатку в двенадцать метров, осмотрелась и взяла Толстого с полки. Что-что, а — все четыре полки — были до самого сантиметра заполнены книгами: классикой и пьесами. Читать она была мастерица. Открыла книгу и почти сразу нашла нужную страницу.

— Вот, с этого места. Больше всего оно меня беспокоит.

— Так, «Живой труп», понятно. Да нет, это я о другом. Как наш Григорьич все верно замечает: и когда что ставить, и когда к полке приставить. Нашел же — труп! Ничего не скажешь. Значит, я за твоего Комиссара буду? Идет. Начинай. Из-за отъезда одного столько мороки, опять прогон, опять генералка...

— Знаешь, пожалуй, отложим.

— Что, не в голосе?

— Может быть.

— Ань, ты для меня загадка. Актриса, одним словом. Ты сама знаешь, что надо делать?

— Сегодня знала. Ты все перебила.

— Спасибо, значит? Ну, ты даешь! Это такая мне от вас благодарность?

— Ой, Свет, что ты такое, какая благодарность? Человек сам себе пути-дороги выбирает.

— Вот я и вижу, какой ты хотела пойти. Ничего, еще скажешь спасибо.

— Да спасибо, конечно, спасибо. Только я этого не заслуживаю.

— Ань, ты хоть и умная, но дура непроходимая. Ничего ты в жизни не понимаешь! Я тебе говорю!

— Возможно.

— Ох, Ань, ни на какой козе к тебе не подобраться.

— Ты думаешь?

— Знаю! Вся ты у нас — одна сплошная загадка.

Аня посмотрела в окно и поняла, что сегодня на дворе ноябрь, двадцать первое число, вечер. Сколько

именно, она не знала, да и не хотела знать. Она могла смотреть в окно и видеть улицу, свой подъезд. Это кое-что значило. А могло и ничего не значить. Светка, смешная, но какая молодчина. Взяла и появилась, и ничего не попишешь.

Она вспомнила, что именно в этот день — день рождения у Лильки. Боже мой, сколько всегда было пирогов, которые пекла тетя Аня, ее мама, и винограда. Им было никого не удивить, но почему-то в этот день все объедались им так, что просто ужас. Он рос повсюду, но с веток есть не хотелось. Самое лучшее было впитаться в плод темного или «дамского пальчика», надкусить и чтоб вытекла невероятно приятная жидкость, вязкая и сладкая. Так вот, к таким торжествам полагалось покупать виноград на базаре, не жадничать. Лежал он, свешиваясь гроздьями, словно вопрошая своим огромными фиолетовыми зрачками, лентяя и насмешничая над детьми: его было так много, что весь умять им было не под силу. Даже в тяжелые годы покупали на базаре и накрывали в этот день стол... под виноградником.

А у Риты день рождения был 6 августа, его справляли тоже в их дворе и тоже под виноградником, и — как положено — есть его, свешивающего свои спелые плоды, не полагалось, это все знали и не нарушали неписанные законы.

Прошло столько лет — почти пятнадцать, — а она помнила все дни рождения своих подруг, потому что именно подруги были в их классе. Мальчишек не было. Так уж получилось, что женская гимназия, которой поначалу была их 60-я школа, так и осталась почти женской. Как-то сложилось, что мальчишки уже успели куда-то поступить, определиться, и менять их школы, видно, родители не хотели. Вот и был их «Б» класс сплошь девчачьим.

Она пришла в эту школу с первого класса, а начало было в Ленинграде, откуда она и приехала вместе с мамой и папой в Ташкент. А причина была простой — служба отца. Его распределили, как теперь говорят, в Среднюю Азию, и они поехали, оставив довольно боль-

шую комнату — 23 метра — в северном городе даже не запертой. С соседями отношения были замечательными, никто никогда не ссорился, разве только дядя Толя иногда выпивал и громко пел на большой кухне. Но все к этому привыкли, его не ругали и так мирно и жили.

Семеро семей — это по ленинградским меркам еще не так много было. А в Ташкенте им сначала дали квартиру на земле, как это называлось тогда, а уже много позже, после землетрясения — из трех комнат, но так сложилось, что Анна жила в своей маленькой, почти не пользуясь остальными комнатами. Отъезд родителей, а до того — любимого, сегодняшняя читка и отсутствие роли, на которую она рассчитывала, а одни только вводы, сделали свое дело: ей вдруг показалось, что она не умеет жить, да порой и не хочет, что ничего толкового в ее жизни не произошло и что она, ведущая актриса русского драматического театра, ничего не умеет: не играть, не понимать материал роли, ничего. Даже любить — и то не умеет. Она давно уехала бы в Ленинград, но так привязалась к Ташкенту, что только эта любовь и питала ее сердце, только от нее становилось теплее и жизнь не казалась напрасной.

Порой она сама себе задавала вопрос, на который толком и ответить не могла: неужели любовь к городу может быть такой сильной и такой упрямой? Именно город с его укладом, привычками, образом жизни поддерживал ее и насыщал любовью. Так постепенно она привыкла, что именно Ташкент — ее главная родина, что в Ленинграде она просто родилась, а здесь, в Азии — все основное. И, наверное, остальное. Про возвращение всерьез не думалось. Даже теперь, в преддверии событий, которые уже отняли столько сил. Уехал ее любимый, актер Платов Лев Леонидович, и пережить еще и это было нелегко.

Странные у них сложились отношения: жили порознь, каждый в своем доме, но встречались. И отношения не переводили оба в план бытовой, житейский, оба согласились на возвышенное. Это возвышенное

давало обоим многое, если не все: помогало работать, постигать роль, видеть мир, наконец, другими глазами. Наверное, такими, какой был виноград у Лильки на дне рождения, который, как казалось, подсматривал за ними своими чудными зрачками едва ли не лилового оттенка.

Главное, что оба они не имели друг к другу претензий. Принимали жизнь в этой ее текучести и последовательности и все. Наверное, в глубине души сознавали, что союз этот не вечен и что когда-то придется расстаться, но не касались этой темы, а продолжали видеться и любить.

Светка, как оказалось, долго смотрела на свою подругу, понимая, что до конца, до доньшка та не откроется ей никогда. Но это и манило, и было заманчивым. Общение с Анной, воспитанной, светской, сотканной из другой ткани что ли, очень помогало жить. Светка знала, что они совсем-совсем разные, что порой Анна тяготеет чрезмерным вниманием своей опекуниши, но не обижалась и продолжала заботиться о женщине. Она знавала и то, что Аня — незаурядная актриса, что ей, Светке, здорово повезло встретиться и общаться с такой женщиной. Поэтому многое прощала и многое не замечала: любовь к Анне была прелесть мелочей и обид.

— Ань, ты где? Ты меня еще видишь? Я здесь.

— Вижу, я все вижу. И себя вижу.

— А что все?

— Ну, как тебе сказать? Все, понимаешь! Я даже иногда боюсь, что вижу что-нибудь лишнее. И болезни, и характер, и...

— Слышала я о таких. Типа магов-волшебников.

— Ой, Свет, не смейся. Я — маг? Я просто вижу, ну природа у меня такая.

— Но ты не под этим делом? — Светка сделала характерный жест рукой: мол, не после принятия?

— Не под этим. Абсолютно трезвая. Как сейчас.

— Ну, милая моя, про сейчас не будем, сейчас ты у нас того...

— Машу сыграю с новым актером и потом предложу Григорьичу...

— Что? Говори.

— Нет, секрет пока. Но трагическое. Душа просит.

— Ох, Ань, мне идти, а душа у меня лично болит: ты в порядке?

— Такое трагическое, ну ничего еще в театре такого не было. Он и сам как-то говорил, что хочет настоящей драмы.

— А как же Толстой, разве не драма?

— Да, но я его поняла, ухватила, что он имел в виду. Наверное, именно Машей я его и подтолкнула. Хотя не могу сказать, что Толстой — совсем мой автор. Немножко в нем учебник есть. Страсти подлинной не хватает.

— Это тебя жизнь твоя на страсть зовет, как на амбразуры.

— Может, и так.

— Ты выпись, все-таки завтра прогон. И не рычи на него, сама не пришла на последнюю репетицию, не он же.

— Да разве я звездами бросаюсь? Что ты! Сама тишина.

— Ага, сказала. Тишина, как же. Так и кипит в тебе все. Он и прощает. Нет, не сердись, знаю, не злоупотребляешь. Если б сама сегодня не видела, ни за что бы не поверила. Аня, родная моя, ты держись, я все для тебя сделаю. Только ты это... никогда, ладно?..

— Да. Обещаю.

— Пойду. Выпись.

Дверь за Светкой закрылась, и Анна пошла в свою комнату, чтобы дожидаться утра. Ночь еще не наступила, и по-прежнему был ноябрь, день Лилькиного рождения и только у нее почему-то не было винограда. «Завтра после театра зайду на Алайский», — подумала Анна перед тем, как заснуть.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### РЕПЕТИЦИЯ

*Он не знал, что это за птичка и что она тут делает. Именно теперь, когда стоит такая несусветная жара! Что можно делать, находясь рядом с домом, где не слышится ни малейшего движения ветерка, где, казалось, все замерло и только гладь воды иногда, очень-очень редко выдавала свою принадлежность к чему-то живому. Она вздыхала, и тогда крошечные брызги попадали на берег. Он был пологий и песчаный, и ничего не говорило о том, что на таком славном спокойном месте могло бы что-то произойти.*

Аня шла в театр, где должна была репетировать свою Машу с другим актером после отъезда Льва и вспоминала, как еще совсем недавно были другие репетиции, приносившие радость и освобождение от всех тревог жизни.

В театре все мгновенно преображалось: сами отношения между людьми, оценки их поведения, ситуации. На сцене что-то стиралось, что в жизни больно резало глаз, слух, а что-то, наоборот, становилось более емким и выпуклым. Так, репетируя сцену из пьесы Толстого «Живой труп» со своим дорогим Львом Леонидовичем, Анна не раз ловила себя на мысли, что и любит его совсем иначе, и говорит с ним, и держится по-другому. Ну, совсем не как в ее обычной жизни. Да и ограничивалась эта обычная жизнь редкими походами в магазин, возвращением домой через любимый Алайский и сидением дома. Ходить в гости она не любила, предпочитала одиночество или общество Светки. Гости иногда, конечно, собирались, как без этого в театральной среде. Но Анна не была большой любительницей шумных застолий. В ролях, в том, как она подбиралась к ним, была своя прелесть. И одиночества этого участия, этого уклада жизни она не хотела бы лишиться ни за что.

Григорьевич сидел после седьмого ряда за своим столиком и с неизменной папиросой. Ничего с ним не могли поделать ни товарищи, ни дамы, остерегавшиеся дыма, ни даже пожарники: он все равно, даже и давая клятвы, возвращался к своим папиросам. Курил он исключительно «Казбек», и звук открывающейся новой коробочки был его слуху милее всякого музыкального инструмента.

Он осмотрел присутствующих в зале актеров, удостоверился, что его обожаемая Анна тоже здесь, и на всякий случай сказал, чтобы другим не повадно было.

— Дорогие мои! — Это было излюбленное его обращение. — Дорогие, скоро премьеры, прошу вас не опаздывать и тем более не пропускать репетиции. Важен каждый день. Все ждут эту пьесу. Вспомните Вахтангова с его «Принцессой Турандот»! И это — в двадцать первом году, в холодной и голодной Москве, когда солдаты и матросы в холодном зале сидели, затаив дыхание, и слушали и смотрели великолепную сказку. На улице была совсем другая жизнь, все разделилось: устои, статус, вера, надежды, правительство, Москва стала большой неприбранной шелупонью. Какая сказка, какие принцессы? А он — гений — берет и ставит. И попадает в яблочко. Сто лет скоро, а сказка все идет. Все просто: человеку нужна сказка, выдумка, игра, без них он не может. Пусть и в голодном городе, пусть и в разрухе, но — чтоб красиво и не как у всех! Прошу вас, соберитесь, это ведь тоже своего рода сказка. Только на цыганский или на извечно любимый русский манер, но все же сказка. Конечно, как и все у графа Толстого, с поучительным уклоном. Давайте, Лев Леонидыч и Анна Васильна, с вашего места. Ну, где остановились тогда. Начали.

ФЕДЯ. А меня любишь?

МАША. Видно, что люблю.

ФЕДЯ. Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе?

— Стоп, стоп, стоп, — закричал с места Аркадий Григорьевич, — ну что вы, мои дорогие? Какая ж тут

любовь? Нет этого у вас! Анна, что вы такая потухшая? Что за обреченность? Давайте еще раз.

Лев Леонидович постоял, оправил свой сюртук и молча подошел к Анне. Долго стоял так же молча, а потом снова спросил: «А меня любишь?» Возникла пауза, и никто не решался даже пошевелиться. Наступила такая тишина, что слышно, наверное, было, как бьется сердце и у Анны, и у ее Федора, и у самого режиссера.

Анна сидела, не шевелясь, и словно и не смотря на Федора, и даже не зная, здесь ли он еще или ушел. И вдруг порывисто обернулась, сглотнула слезы, отбросила платок и тихо-тихо, под стать образовавшейся тишине, сказала: «Видно, что люблю». И только тогда уронила голову на грудь и заплакала. И тоже тихо, без всхлипов и причитаний.

Это было так неожиданно и так против выстроенного мизансценического рисунка, и так по-своему, что все еще больше замерли. Григорьевич не произнес ни слова. И только когда Федя-Платов стал на колени, наклонился к Анне совсем близко, взял ее за руку и действительно удивился, но как-то восхищенно, как-то не веря даже в признание женщины, все словно очнулись и Григорьевич произнес: «Все, спасибо, сцена готова, повторять не будем. Оставляем так до премьеры».

Видно было, что и сам он был сильно взволнован, не ожидал, видимо, такой силы и такого сильного чувства от своих актеров. Он, конечно, догадывался, даже и знал об их сложном романе и о том, что скорей всего Лев Леонидович вскоре покинет их, но щадил, очень щадил и их чувства, и задумывался о том, что ждет самих героев и его театр, и конкретно этот спектакль, если герои разъедутся. Трудно будет найти замену такому мощному актеру, настоящему большому русскому актеру. У Григорьевича посему была своя печаль и своя драма, разрешения которой он пока не видел.

— А теперь дальше, но только пропустим финал этого действия. Не хочу трогать, можно загнать. — «Загнать» — было одно из любимейших словечек режиссера, и он действительно боялся «загонять» только что

рожденные хрупкие сцены или отношения. Он не стремился их закреплять, понимая, что искусство актера — отнюдь не спортивная гимнастика, где требуется фиксация каких-то моментов, их даже нарочитая декларация. Нет, здесь все обстояло сложнее, было делом деликатным. Вот и стремился Аркадий Григорьевич так холить и лелеять свой коллектив, что порой становилось страшно: а вдруг это когда-нибудь закончится, придет другой человек, который не так будет любить актеров, не так вникать в их переживания и жизненные личные коллизии? Плохо, тогда станет по-настоящему плохо.

Анна вдруг поймала себя на мысли — и сразу укорила себя, — что не ценила до конца такого замечательного человека. Вот и вчера: как можно было пропустить репетицию, тем более накануне прогона? Сделалось неуютно и стыдно. Нет, ничего подобного допускать нельзя. Вот сыграй несколько спектаклей, не завали работу театра, а потом и... Словом, потом можешь хоть чулок использовать, хоть что покрепче, но репетиция — дело святое.

— Дорогие мои, а теперь хор. Кто у нас хор? Прошу вас, — он обратился к маленькому оркестру, — начинайте.

Зазвучала цыганская мелодия, которую, кажется, на всех концах земли любят и понимают одинаково. Не зная слов, особенностей быта и жизни этого народа, люди с удовольствием слушают их песни. Такая в них мощь и тоска по лучшей доле, что сердце заходится. И сейчас три человека — это и был хор — затянули песню, совсем не напоминающую счастливую, а, скорее, тревожную и зовущую куда-то в неведомое. Голоса певцов вибрировали, призывая и настаивая на чем-то таком дорогом каждому, что и впрямь захватило сердце. «Час роковой» — называлась песня. Потом Федя слушал «Размолодчиков моих» и все же просил «Не вечернюю». Анна-Маша вступала, цыгане, повинувшись какой-то внутренней подсказке, отступали, давая возможность солировать именно ей. Как это они все здо-

рово чувствуют, понимают: где когда вступить, где напротив, уступить.

— Вот, сегодня точно поете, — сказал неугомонный режиссер, ни слова не знающий по-цыгански, но верно угадывающий нечто такое, что отличало фальшь от правды. Он брал в работу отдельные куски, фрагменты спектакля, которые на его взгляд были еще недостаточно отшлифованы, и кропотливо вникал в партитуру слов, роли Феи и Маши, в группы, которые образовывали то офицеры, то цыгане, почти все действие стоящие тут же, рядом. Да и само действие для непосвященного человека могло показаться каким-то насквозь порезанным, комканым. Но это именно на первый, непосвященный взгляд. На опытный же — все что делал Аркадий Григорьевич со своими артистами, имело вполне определенный конкретный смысл. Он выверял каждое мгновение пребывания человека на сцене, набирал «доказательства» своей правоты. И действительно, спустя пару часов та же сцена, где были задействованы и Федя, и офицер, и цыгане, и сама Маша, вдруг стала обретать рельефность, слаженность, точность. Она и непосвященному человеку уже не показалась бы расколотой на кусочки, так все было завязано и сшито.

— Анна Васильевна, как ваше самочувствие после этого куска? — Имелось в виду то место, когда Федя просит ее спеть «Хоть час» и заставляет взять гитару. А потом и «Не вечернюю» еще просит.

— По-моему, хорошее. Вам виднее, — привычно закрылась Анна. — Но сегодня есть что-то, что кажется новым, непривычным даже.

— Что, говорите? Это очень важно.

— Ну, наверное, свобода и трагедия сошлись вместе.

— Вот, точно, точно, моя дорогая. Что ж вы вчера-то не явились? Уже дальше бы двинулись, а сегодня еще лучше бы было. Что так?

— Извините, Аркадий Григорьевич, так получилось. Очень важное дело было.

— Неужели важнее театра?

— Нет, важнее театра нет ничего, вы правы.

— То-то!

— Спасибо.

— За что же?

— Сами знаете. Правда, спасибо.

— Видите ли, Анна Васильевна, именно сегодня вы особенно точно схватили ее суть, Машину. У нее разлад. Текста вроде и немного, но все — между словами, вы это уловили. Она чистейший человек, просто ребенок. И не знает, что есть долг, ответственность, вся наша привычная атрибутика. Она верит только в правду: в любовь. Этим она определяет все. И необходимость Феинового возвращения домой и говорит, что надо ее, жену, пожалеть. Это, скажете, современная дамочка могла бы такое себе позволить? Нет, нет и нет! Один сплошной эгоизм. А тут — жертвенность. Она вроде бы не русская девушка. А полна именно этим, исконно русским чувством: жертвенностью, необходимости принести себя в жертву любимому. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю.

— Конечно. Так мне кажется.

— Вот и хорошо. Мне тоже так кажется. Теперь Федя. Вы, Лев Леонидович, ведете свою линию не вполне уверенно. Другое дело, что ваш Федя сам точно не знает, как быть, сам мечется, ищет подсказки. Но эти метания надо точнее обозначить, раскрыть. Задача у вас непростая: вы не только текст должны говорить, но действительно обнаружить смятение. Вечный вопрос русского интеллигента: выбор. Как быть? Что дороже? Он и не поехал бы, да долг, будь он неладен. И себя недаром называет «дураком». «Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю». Видите, и кается, и признается открыто, что не из-за любви спешит к жене. На что ему Маша говорит: «Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть». И что Федя отвечает? Правильно: «Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо». Понимаете?

В этот момент произошло неожиданное: Платов резко сбросил свой сюртук, как он называется у Тол-

стого, и выбежал со сцены. Все застыли в недоумении. Многие, конечно, были в курсе происходящего, но не подозревали, как тяжело дается актеру его личная, жизненная ситуация. Конечно, шептались, сплетничали, как без этого в театре? Но как-то по-доброму все же, не злословили, не пакостили. Никаких там анонимных звонков или записочек, напротив, все чинно-благородно. Не люди, что ли?

Через несколько минут, преодолевая напряжение, следом за Платовым вышел и главный. Он прошел через курилку, но актера там не оказалось, и поднялся вверх. В своей гримерке Лев Леонидович сидел, обхватив голову руками. Главный стал в дверях, не говоря ни слова. Потом медленно подошел к артисту, присел рядом на стул и предложил:

— Лев Леонидович, может, ко мне в кабинет пойдем, давно хочу вас пригласить. Поговорим. За жизнь, так сказать. Как вы на это смотрите?

Платов оторвал руки от лица, провел ими по голове, спустился ниже, потом встряхнул руками, словно стряхивая груз и возвращаясь к себе.

— Извините, не сдержался.

— Так как, идем?

— Да вы не жалейте меня, не надо, я сильный.

— Кто же сомневается? Я просто поговорить хочу. Идемте. Сделаем перерыв. Жду вас, заходите.

Он вышел из гримерки, снова спустился на сцену и из кулис крикнул: «Перерыв сорок минут». До своего кабинета он шагал скорым, совсем не театральным каким-то шагом, все обдумывал, что скажет Комиссарову.

В кабинет надо было пройти через секретаршу, которая, как казалось, не отрывалась от машинки никогда. Ну, то есть не ела, не выходила поболтать, она шлепала своими руками на ней целый день до позднего вечера. Но — странное дело — умудрялась при этом знать все и обо всех! И была не злой, а, напротив, очень милой дамой, худенькой, в кудряшках, приехавшей в Ташкент из Москвы. Ее главреж очень ценил и люби-

ли почти все члены труппы. Она, продолжая печатать, подсказывала, как составить какое-нибудь заявление, занят ли главный, кто у него и когда освободится. Она проработала в театре еще до Ташкента лет пятнадцать, знала все о его устройстве и поэтому никогда не нарушала какие-то внутренние водоразделы: знала, что можно, что — нет. Ни с кем никогда не ссорилась, никого ни с кем не сводила, была предана главному и уходила из театра после окончания вечернего спектакля. Что она делала вечерами, что печатала в нехитром театральном производстве тех лет — трудно сказать. Но работала она всегда, или так: всегда была занята делом. Это было особенно приятно на фоне артистов, которые, конечно же, любили в фойе и посидеть-поболтать, и косточки перемять, и иной раз опоздать. Только иногда она могла позволить себе выйти в фойе (наверное, с благословения главного) и напомнить о предстоящей репетиции. Вообще-то это входило в обязанности Светки, именно она считалась завтруппой, но добежать до фойе было не так-то просто, да и Светка вечно что-то углубленно решала у себя в крошечной каморке: то расписание утрясала, то на доску объявлений вывешивала новости. Поэтому часть ее функций и брала на себя Виктория Алексеевна, так звали секретаршу.

Лев Леонидович, подойдя к двери приемной, несколько ступешевался, но все же переступил порог и сразу увидел неизменно сидящую на своем рабочем месте Викторину. Она взмахивала своими тоненькими ручками и вдохновенно молчала. Он поздоровался, она ответила и кивком головы дала понять, что актера ждут. Платов открыл дверь и увидел, что приставленный к большому столу маленький, гостевой, как его прозвали артисты, стол был уже накрыт и на нем стояла бутылка коньяка.

— Проходите, Лев Леонидович, жду вас. Садитесь. Давайте пригубим немного. Не помешает.

Актер сел, хотя чувствовал себя не вполне уютно. Главреж разлил по рюмкам и сказал:

— Что хочу отметить. Роль выстраивается. Ваши жизненные обстоятельства, как ни горько это сознавать, оказываются здесь на руку. Уж не взыщите, такая горькая у нас с вами профессия: все из себя сотворяем, не шадим. Вот и вы, я вижу, себя не шадите. Ничего, может, все и наладится? Как ваше-то мнение?

Он, наконец, замолчал и увидел, как Платов только пригубил свой коньяк, не стал пить до конца и что чувствовал он себя явно плохо.

— Не привык, знаете, в дневное время. Да и сумбур на душе.

— Ох, и гады мы, режиссеры: нам как раз того и надо. Ну, чтоб у человека какая драма разыгралась, пусть себе помучается, потоскует, значит, лучше сыграть. Не смотрите так, это я нажимаю, конечно, не совсем ведь я злодей. А если всерьез, то какие ваши планы? Хотелось бы знать.

— Думаю. И думаю, что придется через какое-то время уезжать. Как у Толстого, только не так романтично, да и без цыган. Но... долг превыше всего.

— А можно я вас спрошу? Напрямую так сказать?

Он разлил по рюмкам напитков из пузатой, почти круглой бутылки и продолжил.

— А может, и не стоит этого делать? Вы вполне убеждены, что правильно поступите? Разве вам простят здешнюю жизнь? Наверняка начнутся распри, уж я-то знаю.

— Может быть. Но поехать, видно, надо. А там... там посмотрим.

— Ну хорошо. Хорошо, что сказали, а то, знаете, неизвестность, она давит, покоя не дает.

— Вот и мне не дает.

— Но вы-то сами можете все наладить: на известность, на правду, на четкость своей линии. Не блуждать, одним словом? Можете? Хотя, наверное, я не прав.

— Я подумаю, — сказал Платов и залпом осушил свою рюмку.

— Хороший вы актер, Лев Леонидыч, но иногда параллельность жизненных ситуаций и коллизий пье-

сы не на руку, а, скорее, наоборот. Пропадает что-то важное. Вот и вы, вы не идите от себя в данном случае, я про Федю. Ищите в нем сильного человека. Он никакой не труп, добрый очень, вот и ищет выход из положения, удобный для всех. А для всех хорошим быть невозможно. Угодить всем нельзя. И вы, мне кажется, делаете одну ошибку: в своих размышлениях пытаетесь примирить уже непримиряемое. Вы не хотите никого обидеть, вот и, как ваш герой, можете натворить ошибок. Как бы вам это сказать? Плюньте на Федю и идите своим путем: вы сами — сильная личность, вот и поступайте в роли так, как поступили бы в жизни. Уехать собрались? Но мне кажется, вы хотите очень уж просто решить проблему: уехал, и вроде бы ничего и не было. Но ведь было, да и есть. Не прячьтесь, любите себе, идите до конца. Тогда и Федя получится не слабаком, а идущим до конца, сражающимся человеком. Тогда он не гуленой предстанет, не ищущим выход через пистолет мужчиной, но сильным, действительно сильным. Это в нем поискать надо. А есть, точно есть. И с судебным следователем это проявляется, и в разговорах с другими героями, с Сашей, например. Не бойтесь его силы, она вам в роли не повредит. А в жизни... Да я и не имею права в это вторгаться.

— Отчего же? Мне и поговорить-то не с кем. Говорите. Я слушаю.

— Все равно решать вам. Одному ли, вдвоем. Но именно решать, а не тянуть резину. И другой человек страдает, я вижу. Надо принять решение, от этого, от вашей позиции, многое зависит. Попробуйте поступить не по правилам, а против них. И даже не как душа просит, это еще труднее в вашем случае. А наперекор вашим соображениям о чести и прочему. Вы пытаетесь начать жить разумом и всем только страдание доставляете. Вы плюньте на правила, точно вам говорю, будьте эгоистом, тогда, как ни странно, все на свои места и станет. Когда вы станете поступать, как чувствуете, тогда ясность и образуется и всем легче станет. Представьте себе! Не надо угождать всем своими

разумными поступками, глупость это: отказался во имя любви, бросил во имя любви, уехал во имя ближнего... Глупости все это! Во имя любви можно только любить и больше ничего. Заявляю вам ответственно.

— У меня нет решения.

— Это-то и плохо. Вы хотите остаться?

— Конечно, хочу.

— И что же? В чем вопрос? Поезжайте, поговорите с женой, все точки поставьте. Когда честно и от души — придет и понимание. Пусть не сразу, но придет. Человек, знаете, так устроен: он все равно, рано или поздно, но правду оценит. А если без любви вернетесь, вас же еще и осудят и укорят, что, мол, вот, не любит, а живет. Живите легко, по любви, других рецептов дать не могу. Их и нет.

— Значит, после премьеры отпустите на пару дней?

— Зачем на пару? Езжайте по-человечески, на сколько потребуется. Бегом не надо.

— Благодарю вас. Я пойду.

— Правильно, идемте, нас уж заждались там. И смотрите, без фокусов!

Главный прошел в зал через фойе, сел к своему столу и сказал, что надо пройти сцену со следователем. Вот с этого места, когда Федя входит «грязный, опустившийся», как сказано у Толстого. «Егор Петрович, вы здесь? — спросил главный, поворачиваясь в темноту зала и услышал, что Егор Петрович ждет давно на сцене. Это сказала Света, которая очень аккуратно смотрела за тем, кто, где и с кем и чтоб вообще все были на месте и никто не опаздывал. «Это хорошо», — заключил почему-то довольный режиссер и продолжил репетицию.

Все это время Анна находилась в правой кулисе, не отлучаясь никуда. Ни в буфет не пошла, даже когда ясно стало, что главный с Платовым ушел, ни к себе в гримерку. Стояла и ждала.

И думала, что же будет дальше. Она так погрузилась в свои раздумья, что не заметила, как прошло довольно много времени. Она словно очнулась от од-

ной мысли, а скорее, даже от ощущения, что именно сейчас она хотела бы и смогла бы сыграть главную сцену с Федей, когда в четвертом действии она вырывает письмо и обрушивает на Федю сумасшедшее предложение съмитировать смерть. Она стояла и твердила фразу: «А потом, потом уедем и будем жить во славу». В ней самой бушевали противоречивые чувства. С одной стороны, она, как и ее Маша, понимала, что отъезд неминуем, а с другой — готова была пойти на все, чтобы этого не случилось.

Когда ее Лев появился на сцене, главный тут же отменил сцену с приставом и, словно почувствовав что-то, попросил сыграть финал пятого явления, когда Федя пыгается разорвать письмо. И Анна так страстно, так горестно, на таком накале всех чувств провела сцену, в особенности место, где ее героиня говорит: «Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься», что Григорич не выдержал и зааплодировал и даже выкрикнул: «Молодцом!»

Анна стремительно ушла со сцены, так же скоро поднялась к себе в гримерку, взяла вещи и покинула театр, ни с кем не прощаясь и не разговаривая.

Она пошла пешком через сквер, который в разное время по-разному назывался. Но в конце пятидесятых и потом еще много лет его называли «Сквером революции». Земля в этом месте была вовсе не землей, а песком красного цвета. Даже песок, и тот словно подчеркивал символику названия.

Через сквер, потом по Пушкинской улице, затем, свернув налево, на улицу Гоголя, которая и привела ее на Алайский базар. Бывать здесь она очень любила и часто шла, чтобы просто отвлечься, даже не за продуктами. Сегодня был, похоже, такой день.

Она подошла к мешкам с рисом, которых было с десяток, и стала смотреть, как продавцы перебирают, а точнее, пересыпают рис, предлагая его покупателям. Она смотрела как замороженная на таинство и мастерство, с которыми корейцы и узбеки рекламировали свой товар, и не устояла: тоже подошла и попросила кило-

грамм. Ее пытались переманить, но ей очень понравилась пожилой узбек, который был сдержан и молчалив и не нахваливал продукт впрямую. Он просто стоял и время от времени любовно прикасался к рису, пересыпал его, поправлял свой мешок и очень заинтриговал Анну.

— Мне в пакет, один килограмм.

— Сейчас. Что-то вы печальная очень. Не надо, это нехорошо. Надо все принимать, и горе тоже. Даже его больше, чем все остальное.

— У меня нет горя. Но кое в чем вы, пожалуй, правы.

— Возьмите сдачу. И желаю не горевать. Так лучше. И правильно.

— Но ... как бы это сказать... вы так говорите, будто что-то знаете.

— А я и правда знаю. Потому и советую: не надо уныния, это и Аллахом, и Богом не приветствуется.

— Откуда вы знаете?

— Да как же не знать? Что ж тут трудного? Вот, войну прошли, вернулись, продуктов сколько угодно, работа есть, вы — молодая и хорошая! Что еще надо? Только детей. Заводите, заводите.

Господи, ну откуда он мог знать, что у нее еще не было детей и что этот вопрос ее очень занимал и не давал покоя, особенно после отчетливого понимания необходимости разлуки со Львом.

«А что, если просто родить? Взять и родить?» — подумала Анна, но смутилась и укорила себя: что это она, как можно без согласия Льва? А вдруг и он этого хочет? Надо, непременно надо будет спросить у него, не откладывая. Действительно, карьера — это замечательно, но годы-то идут, что тянуть?!

Она выходила с базара все той же гоголевской улицей, затем, уже на Карла Маркса, повернула направо и вскоре оказалась у себя дома.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ДОМ ВО ДВОРЕ

*И вдруг, как это обычно бывает возле воды, любой воды — речной, морской, — что-то такое вспенилось, закрутилось, нависли облака и хлынул ливень. Вода словно ошетичилась, будто она сама не желала такого продолжения дня. Дождь лил и лил, и было непонятно, кончится ли он когда-нибудь или так и будет заливать все вокруг вечно. И он снова неожиданно увидел птицу. Уж теперь-то как и откуда она взялась? Однако стал испытующе глядеть на нее, но не сумел удержаться: струи дождя заслонили все, и он только по какому-то особому движению понял, что все, она улетела, и он опять остался один. И так и стоял еще долго-долго.*

Номер дома, а точнее, двора, в котором она жила с двенадцати лет, был 65. Чтобы дойти до их палисадника, нужно было сначала войти в большие коричневые ворота, которые редко были закрыты, и по заведенной давным-давно привычке детьми всех поколений этого двора, они катались на одной створке ворот, чем изрядно вымучивали тетю Аню и ее семью, квартира которой находилась прямо за створками этих ворот. Мешали они и другой семье — Труш, которые, наоборот, жили перед воротами, но скрип одной из половин был столь мучительно тонок и пронзителен, что только в ту пору, наверное, люди еще умели так терпеть. Детей, конечно, гоняли, но не жестоко. По крайней мере, никто истошно не орал. Жалоб не подавал. В крайнем случае обращались за помощью к родителям. И то в форме вполне дружелюбной. Ссор, скандалов во дворе вообще не было, за исключением тех случаев, когда немка тетя Катя выскакивала на середину двора и кричала знаменитое «сволочи» на всех детей, на эту жизнь, на все, что так или иначе имело отношение к живому и цветущему. Она даже умудрилась ополчиться на роскошный куст сирени: видишь ли, он закрывал ей вид

из окна. А на самом деле все знали, что она меньше видит того, что действительно творится во дворе. Когда она готовила, да и готовила ли вообще, чем занималась — трудно сказать. Она всегда воевала, это точно. Никто не знал, откуда она взялась в их дворе, благо он был настолько интернациональным, что об этом попросту не думалось. Люди были так утомлены годами войны, кто-то — эвакуацией, что проследить судьбу другого человека — да кто ж этим станет заниматься? Никому не нужно! Пусть все живут себе и живут — так спокойнее. Действительно, откуда взялась эта тетя Катя, сказать никто бы не взялся. Были у нее две дочери, внуки, но их почему-то не особенно любили тоже, хотя они не кричали, но было и в них нечто ущербное и неприятное. Даже в телосложении, в особенностях речи, в поведении. Например, Светка, ее младшая дочь, была горбунья и всегда недовольна всем на свете. Был и внук, хотя ни одного мужчины в доме не водилось. Откуда их столько понабралось? Тетя Ира, ее старшая дочь, ходила по соседям и делала маникюр, выщипывала брови, красила ресницы. Такая важная ее роль не шла почему-то тоже в зачет: ну не принимали их и все. Хотя маникюрша и старалась быть доброй.

Вообще двор дети привыкли делить на добрых и злых. И даже когда Анна стала совсем взрослой, привычка так разделять людей сохранилась. Так, например, рядом жила соседка, которую она толком никогда и не видела, только всегда слышала ее злую собаку Бульку. Девушка даже не помнила, как ее зовут. Квартиранты, которые появились вскоре после войны и были музыкантами, являлись вполне приятными людьми, имели имена, которые все знали, а вот саму хозяйку — нет.

Отец Анны, дядя Василий, которого во дворе не просто любили, но считали чуть ли не самым главным, был на редкость щедрым человеком. Он успел вымостить весь длинный-длинный двор дорожкой из кирпичей, насадил много деревьев, провел водопровод не только в их сад, но и помог тете Марусе, например. Это была семья из Белоруссии, и их дочь Любочка,

погодка Анны, так и не вышла замуж, а, окончив институт, осталась почему-то с ребенком в доме своих родителей. Так и жила. Была она, как и ее мама и отец, дядя Павлик, доброй, отзывчивой. Ее все любили и всегда приглашали на все праздники, дни рождения ко всем детям двора. Вот уж неконфликтный она была человек. Так и жила потом, уже повзрослев, не изменяя своему характеру, дружелюбному и смешливому. И рос с ней сыночек Костя, который так ее любил, что уже во взрослой своей жизни только и делал, что заботился о ней и опекал ее.

Но были не такие уж и рядовые граждане. Например, в одном из рукавов двора жил дядя Сережа, который работал где-то в таком месте, которое все очень почитали и вообще считали дядю Сережу очень важным человеком. Даже несмотря на то что он часто пил и выходил по утрам из своего «рукава» с довольно помятым лицом. От него так разило одеколоном, что резкость этого запаха выдавала скрытую причину что-то затушевывать, перебивать. Конечно же, это был запах водки. Но он не кичился этой своей большой работой, часто выходил погонять мяч с детьми или даже побегать. На что неугомонная тетя Катя выходила из-за своей незапирающейся калитки, вставала, подбоченясь одной рукой и все-таки выдыхала свое знаменитое «сволочь». Чем он-то ей не угодил, понять было почти невозможно, но никто на нее не обращал внимания. Даже собственная дочь Ирка и ее дочка Светка. Наверное, в этом слове содержалась не только ненависть к жизни, вполне мирной и безмятежной, но какая-то зазубрина: может, память о чем-то, например о войне, которая вынудила ее, немку, оказаться в Ташкенте, да еще и жить в нем. А ей, наверное, очень хотелось к себе на родину. Так думалось, но уже много позже, а играя и проказничая, дети только посмеивались и делали порой нарочно что-то из запрещенного тетей Катей. Она запрещала все: купаться под водой из-под крана, вытирать сопли ее внуку Юрке, кататься на санках по двору, лазать за сиренью, которая, ко все-

му прочему, ей и мешала жить. Все! Но и ее терпели и даже видели разговаривающей с кем-нибудь из соседей. Но даже мирная такая беседа в какой-то момент обрывалась, и тетя Катя находила-таки к чему «прикопаться» и закричать любимое слово. «Сволочью», скорей всего, была для нее сама жизнь, лишённая смысла и хоть какой-нибудь радости, которую изобретает, как правило, сам человек. Она же отвергала все и была потому глубоко несчастным человеком.

Были еще соседи, которые относились к этому же двору, хотя и жили с внешней его стороны. У одних из них, по фамилии Зильберглейт, был особенно богатый дом, со старинным креслом, множеством старых ваз и даже унитазом в коридорчике, которым они по какой-то причине пользовались крайне редко, предпочитая ходить в центр двора в общую уборную. Бергли, что ли?

У них же была штука, которая по тем временам была большей диковинкой, нежели ваза 1812 года. Это был импортный пылесос. Они дружили с мамой Анны и иногда давали напрокат эту штуковину чистить единственный, но текинский ковер, который был в доме Аниных родителей.

Это много позже Анна и ее сверстники столкнулись с тем, что называется неприязнью соседей, нежелание видеть и слышать, даже здороваться с живущими рядом, а в то время, да и много позже все обстояло иначе.

Люди не разделялись на национальности, более того, все знали, кто есть кто, то есть кто какой национальности, и так и говорили: «Пошли к бабке армянке». Имелось в виду попробовать ее яблочек. Тайно, конечно. Понималось, и какой национальности тетя Шура и тетя Галя Зильберглейт с их дочкой Лялькой, в семье которых тоже, однако, не водилось мужчин. Но во дворе это почему-то не осуждали, наоборот, тетя Галя, которая в ее немолодые годы решилась завести ребенка, считалась чуть ли не героиней за свой такой смелый шаг.

Всегда, во все времена люди перешептывались и отрицательно относились к матерям-одиночкам. И здесь тоже, конечно, шептались, но нет, не осуждали, не говорили гадостей. Все понимали: война, что поделаешь, если нормальных мужиков было так мало и все они к тому же были разобраны, что только и оставалось, как рожать детей.

На самом деле Ляльку звали Лариской, но в доме ее любимые мама и тетушка называли так. Вот и прицепилось на всю ее жизнь — Лялька.

Эта семья не отделялась от общего двора, тоже посиживала у ворот, что-то там рассказывала.

Но самое главное событие, которое сплотило и без того дружный двор, было связано с печкой. Именно ее решили соорудить, да не где-нибудь, а прямо возле уборной, стоящей посреди двора. Вот, пожалуй, это было единственным раздором, установка печки. Все понимали, что нужна какая никакая, а середина двора, чтоб всем удобно было. На своей территории делать этого не полагалось, все понимали. И не нашлось ничего лучшего, как прилепить печку чуть ли не впритык к уборушке, как ее называли во дворе. Смягчала ситуацию, которую назовешь, мягко говоря, пикантной, урючина, что хоть как-то отделяла сортир от русской печи. Она впихнута была аккуратно посередине двух объектов людской надобности и скрашивала общее смехотворное впечатление.

Ну, скажем, идет тетя Лена из армянского двора в туалет, а тут пироги пекут. Всем неловко. Но что поделать, желание справедливости и отыскание дворового центра опередили здравый смысл и соображения гигиены и просто эстетического впечатления от сооружения для выпечки пирогов и куличей.

Именно приближающаяся пасха дала главный стимул и придала ускорение всем долгим намерениям для установки печки. Соорудили печь — страшно подумать — за двое суток. Именно суток, так как трудились не покладая рук, даже ночью. Пасха приближалась, и до нее оставалось четыре дня. Предстояло еще опробо-

вать печь, да установить хоть какую-то очередность для выпекания всем: чтобы управились все семьи. А дело это было ох какое непростое. Верили или хотя бы придерживались обычаев по празднованию пасхи почти все жители двора. И армяне, и Зильберглейты, и соседка тетя Сима с сыном Аликом, и латыши Берги с сыном Вовчиком, и даже тетя Катя, которая только в этот день неожиданно притихала и ее вездесущий клич «сволочи» не раздавался целых три дня.

Больше всех на постройке печки трудились два человека: дядя Коля Беседин из армянской части двора и Анин отец. Конечно, месили глину, таскали воду, обмазывали сооружение и другие активисты, но основные строители были они, два крепких человека, прошедших войну и занимавшихся совсем противоположным в жизни делом. Дядя Коля был настоящим профессионалом, столяром, а дядя Вася — актером и военным. Пусть и в запасе, но все же.

В своих садиках, как называли каждый индивидуальный участок домика-квартиры с небольшим количеством земли с цветами и фруктовыми деревьями, женщины готовили тесто, красили яйца, что могли не из крупного пекли дома. Дело это было святое, как и сам праздник пасхи. Запрещали его — нет слов, но и под бравурную комсомольскую музыку и даже под мощным натиском коммунистического субботника люди умудрялись делать свое верное дело: верили, пекли, ждали Пасху.

Все успевали. И даже умудрились испечь довольно много куличей, благо их в печь помещалось около пятнадцати штук. Распределили очередность. Двор чуть ли не пел от восторга перед предстоящим событием. Люди не только готовились встретить Пасху, но совершали целый ряд таинственных, столетиями закреплённых обрядов. И конечно же, вопреки всем предостережениям на работе шли в церковь, освещали куличи и каким-то непостижимым образом успевали совместить таинство прихода церковного праздника с нашествием комсомольского субботника. С утра бежали на рабо-

ту, чтобы перемыть окна и полы, откупорить бутылочку в честь завершения субботнего трудового дня, а сердцем уже были дома, где предстояли самые главные, самые душевные приготовления к предстоящему светлomu дню.

Как бы весело ни относились жители к двойному празднику, как ни исхитрялись отметить и то и другое, но столь же постепенно и вкрадчиво происходили другие процессы: формировалась двойная мораль. С одной стороны, делалось откровенно и торжественно то, что позволялось и приветствовалось властью и что тоже являлось частью жизни, и, может быть, делалось людьми это трудовое субботнее дело искренне и с отдачей. Но сохранялась и вторая сторона жизни, которую старались не афишировать, но которая тем не менее крепко сидела в православной части населения города. А он и был сформирован в годы войны и перед нею именно гражданами со всей большой Советской страны. Отсюда — и многонациональность, и, конечно, преобладание русского населения, и, стало быть, вопросы веры складывались органично и сами собой: народ верил, не особенно стремился скрывать это, но внешние лозунги жизни и труда были совершенно иные. Церковь не стала частью обычной бытовой жизни, о ней не принято было говорить откровенно, в нее ходили, даже и крестили вечерами своих младенцев, умудрялись и венчаться, но все по большей части скрыто, тайно, наспех. Это была территория табу, закрытого существования в государстве таинственного величавого института, который не признавался, но тем не менее существовал в реальности.

Когда до главной ночи оставался всего один день, случилось непредвиденное. Ближе к вечеру, когда самым активным образом шла выпечка куличей и оставалась всего одна семья, которая вот-вот должна была приступить к замечательной своей работе, кто-то из детей, толпившихся здесь же, у главного места события, неожиданно почувствовал неладное. Сначала пахнуло запахом дыма, на который и не особенно-то обра-

тили внимание, поскольку все равно пламя, дым сопровождали выпекание сдобы. Но тут кто-то крикнул: «Уборюшка горит!» И действительно, пламя увидели все и сразу, и оно стало быстро распространяться вокруг. Благо, что вокруг, кроме мусорных баков, урючины, а за ней и печки, ничего не было. Но печка-то и была основной заботой жителей. Ее только что сложили, так заботливо вымазывали и всячески оберегали, да и событие надвигалось особенное! Как можно было допустить, чтобы все труды оказались напрасными? Нет, нужно было срочно принимать меры. Все, наконец, увидели злополучное пламя и стали голосить, предлагая, что скорей всего и правильней сделать. Подошел и отец Анны, Василий, с мнением которого считались во дворе. Он на ходу, мгновенно поняв, что случилось и что ожидает его детище, крикнул, что побежал к Пантелеевым звонить. Кто-то тоже рванул, но к автомату вызывать пожарку. Дети, однако, не растерялись и гурьбой двинули к самой пожарке, которая располагалась за углом и до которой было бегом минут десять. Словом, с разных сторон бросились вызывать пожарную команду, чтобы потушить огонь и спасти печь.

Дети, конечно, не вполне отдавали отчет, насколько переживали взрослые и как опасались потерять недавнее сооружение. Да и уборюшку было жалко: как без нее? И правда, что было бы, если бы ее не стало? Катастрофа!

Телефон во дворе был только у Пантелеевых, поскольку хозяйка, тетя Полина, сама работала на телефонной станции. И вот, в какой-то момент, когда счет шел уже на секунды, во двор въехали сразу три пожарные машины. Приехали они и правда очень скоро, и уборюшка, ввиду своего специфического устройства и предназначения, горела не так интенсивно, и пока урючина оставалась нетронутой. Пожарные быстро размотали свои шланги, подключили к водопроводу, на что даже тетя Катя ничего не могла сказать или крикнуть, а ведь именно она была его верной храни-

тельницей ото всех, и прежде всего от детей. Но тут — дело общее, касающееся всего двора, какие уж крики!

Истинное удовольствие получали, конечно, дети, которые не отрывали глаз от действий пожарных и на все их крики отойти и не мешаться, не реагировали, а только прибывали из соседних дворов и их становилось все больше и больше. Жаль, уборюшку потушили довольно быстро. Снизу она еще попыхивала, но самого огня уже не было видно и стали пускать в нее первых нетерпеливых желающих.

Дети и в этом увидели повод для смеха и забаву для себя, так как несгоревшими и целыми остались только две двери, все остальные кабинки были распахнуты настезь. Дети выжидали, когда же кто-то не выдержит и зайдет хоть в одну из них. И наконец, дождались.

Толстая тетя Соня, белая и пышная, медлительная и не обращающая внимания на хихиканья и возгласы детей, оглядевшись и убедившись, что свободных и закрывающихся кабинок нет, вошла в открытую и присела. Дети заготовали и хотя близко и не решились подойти, но от объекта приключений все же не отошли, так и остались подсматривать за Сонькой. Она ведь тоже не проявила деликатности: не закрылась хоть чем-нибудь, той же газетой, к примеру. Она попросту не обращала на собравшихся внимания. Это и подогрело интерес детей к ее посещению. Они, стоя на расстоянии, выкрикивали глупости, смеялись, но Сонька была невозмутима. Посидев какое-то время, она направилась к водопроводу — крану, как его называли во дворе, — ополоснула руки и так же медленно прошествовала к своему дворику.

Эту семью не жаловали все. За строптивость, неуважение к окружающим, высокомерие, что ли. И не только дети, но и взрослые. Они были каким-то особнячком во всем огромном дворе с его разными рукавами-разветвлениями. Старший, дядя Сема, был портным, а Соня была его дочерью, но хотя ей уже было далеко за тридцать, ни мужем, ни детьми так и не обзавелась. Ее мать

была единственной во всем дворе, кто не вышел печь куличи. Что они там о себе думали?

Наконец пожарные закончили свою работу и, обтирая лица, стали собирать оборудование. Тут вышла тетя Маруся и сказала, что хотя еще и не время, но пирожок хочет им вручить. Это, мол, не кулич, а потому пирог можно. Тогда опомнились и другие соседи и тоже заспешили за подношениями. Кто-то из мужчин преподнес бутылочку, и всем стало весело: надо же, горела себе их уборушка, да так и не догорела. А урючи-на — оплот экологии и всепобеждающей природы — стояла почти незадетая. Уж не говоря о печке! Ну что уборная! — всем миром навалятся граждане и соберут недостающие дверцы. А пока можно и очередь пособлюдать!

Пасху двор встречал дружно и шумно. Нет, оковы невосприятия церкви государством еще не пали, однако думать — думать-то ведь никто не запрещал. Вот и думали. Кто как мог, конечно. И все же праздновали, несмотря ни на какие запреты! Разве выветришь русский дух из народа, который хотя и находился на территории Узбекистана, но помнил и свое происхождение, и назначение, и чтит обычаи, которые никакими расстояниями и границами не смьгь, не перекроить. Надо же, даже война не помешала, скорее, даже объединила людей в этом отношении тоже. И праздник святой Пасхи люди любили больше, чем светлый Первомай, усматривая в нем, уже нащупывая некоторые ложные черточки, что-то такое, что проявится в полной мере много позднее, уже после 50-х годов и даже после 60-х.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ОТЕЦ

*В какую-то минуту он даже подумал, что с такой птицей можно поговорить и что она даже сможет ответить ему. С чего взялась такая мысль, трудно сказать, но он, однако, попробовал. Цоканьем позвал птичку поближе, осмотрелся почему-то и сказал: «Ты ведь не простая, скажи мне, я не выдал тебя». Но птичка только взглянула на него, как ему показалось, насмешливо и улетела. А он, давно просохнув, но не покинув своего поста, все ждал и ждал чего-то.*

Василия Никифоровича Клеймёнова, своего отца, Анна помнила, наверное, с двух лет. На полу лежал из Азии привезенный текинский ковер, уже и тогда изрядно потертый, и когда отец брал ее на руки и начал ходить по комнате, она все смотрела на этот завораживающий рисунок. В нем не было ничего особенного, спокойные треугольники и какие-то ромбы вокруг. Но он почему-то действовал успокаивающе. И когда Аня подросла, она уже точно понимала, что именно цвет, своеобразный рисунок, чередование ромбов, которых было всего четыре, были такими, что тут же хотелось спать. Этот рефлекс сформировался еще тогда, в детстве, и потом, уже во взрослой жизни работал именно таким образом: как снотворное.

Однажды они с папой играли в прятки, на Аниной голове был большой красный бант, и она юркнула на кровать, успев укрыться одеялом. И вскоре услышала совсем близко: «Чей это там бант торчит?» С тех пор бант на голове тоже был прикреплен к определенной ассоциации — к пряткам и к кровати.

Ковер имел долгую семейную историю и начинался еще со времен деда Анны, который и привез его из Бухары. Он частенько навещался в Среднюю Азию, строил мосты, был известным мостостроителем и вот однажды вернулся с таким замечательным рулоном. Ковер

был новенький, говорили, что он настоящий, и Аня долго не могла понять, что это означает, но всегда прикасалась к ковру и щупала его на предмет его всамделишности. Он и правда был настоящим. Даже ребенку это было понятно. И вот по этому самому ковру ее и носил ее отец, чтобы она заснула. А после сна — на нем играла. Ковер был центром их большой коммунальной квартиры, он занимал едва ли не всю площадь комнаты и он же являлся ее украшением, так хорош был.

Последующие годы переездов почти не сказались на нем, и даже когда Анна была взрослым человеком и имела собственную квартиру, и когда ковер устилал ее пол, он все также был красив, свеж и полон жизни. Ну и руки же его вышивали!

Отец к семейной достопримечательности относился с почтением и всегда помнил, откуда она и кем привезена. Хотя и говорили о ковре, что он настоящий, но особенно топтаться на нем не разрешали, все как-то бочком обходили и снимали тапочки, на пример самих восточных жителей.

Анна помнила, как однажды мать пролила на ковер чай, который несла к столу. Отец, человек достаточно сдержанный, вскочил, взмахнул как-то странно рукой, но, помедлив, снова сделал взмах и сел. Молча так сел. Мать промокнула пятно, но следа не осталось и в помине. Ковер и впоследствии удивлял своей стойкостью ко всякого рода напастям. То кто-то из домашних кошку запустит, и она начнет о чудесную ткань точить когти, то снова что-то прольет, то попросту погрузит, свернет и долго-долго заставит его ехать из северного города в южный. Но и в пыли, и на солнце он выдерживал все передрыги и оставался таким же невозмутимо прекрасным и поражающим своим спокойствием и неизменностью цвета. Вот ведь вещь! Сорок лет как живет, а все как новая! Что за руки его ткали, шили, вышивали! Что еще там с ним делали?!

Ковер был главным материальным достоянием семьи. Именно поэтому, когда пришлось отцу перебираться

в Среднюю Азию, вопроса, что брать, не стояло: ясно было, что ковер отправится с домочадцами.

Отцу дали комнату, отдельную, не как в Ленинграде, на улице Карла Маркса, 65. У каждого был садик, как это там называлось и своя отдельная квартирка.

Но это случилось много позже, после фронта, после победы, когда отец, целый и с одним небольшим только ранением, вернулся в их родной дом. А то, что Ташкент, сама Азия стали таким дорогим гостеприимным домом, и думать было нечего.

Все верно, это потом, но сначала был город Ленинград, житье-бытье там и жизнь отца еще до рождения Анны.

Василий Никифорович Клейменов родился в самом центре Ленинграда, на улице Казанской, в квартире, из окон которой был виден Казанский собор. Квартира была огромная, целых семь семей, а у них просто богатейшая комната — аж 42 метра. В Ленинграде Вася закончил школу и поступил в горный институт на факультет геологии, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, сокращенно — РМ — разведка месторождений. Всю юность он мечтал именно о таком вузе и таком факультете. Еще в детстве Вася обнаружил склонность не только к обычным экскурсиям. Его интересовала местность и то, чем она может быть примечательна, что скрывается у нее внутри. Он смотрел не только на то, чем обнесена та или иная достопримечательность, но главным образом — из чего сделана решетка, оградка, к чему прикреплена. И видя такую пеструю палитру, он фантазирует, откуда пришел такой или иной камень, что это за минералы, одни из которых прозрачные, а другие — нет? Чем объясняется, что в одном и том же населенном или ненаселенном месте может быть разное скопище минералов? И они сами по себе — тоже разные! Откуда они? Сами, по природе здесь оказались или заброшены стихией, ледниками, при горообразовании? Глядя и анализируя увиденное в многочисленных своих походах вместе со взрослыми, у него складывались картинки, которые

множили и множили вопросы. Почему одни камешки ровные, а другие — напротив, со сколами, с зазубринами? Он видел грани кристаллов и задавался вопросом, отчего так и чего в таком процессе больше: действий самой природы или рук человеческих? И сознавал, что, естественно, сама природа так отшлифовывала свой же природный материал, но процессы были разные: процессы выветривания, разрушения горных пород, нечто такое еще, что было покрыто тайной и не вмещалось в рассказы учителя по географии, который знал столько и так любил свое геологическое дело, что не одного только Васю заразил страстью к поиску красивых минералов, горных пород и, главное, — великой надеждой открыть свое собственное месторождение и установить законы его происхождения.

После школы Василий поступил в знаменитый тогда вуз — горный — и проучился пять лет. Провел три экспедиции, побывал на Камчатке и в Средней Азии, на Тянь-Шане, много выступал на разного рода конференциях с докладами, и все шло к тому, что он станет ученым, исследователем. Да он им и становился постепенно.

На пятом курсе он повстречал Анину маму, тоже студентку этого института, которая училась курсом ниже, и они поженились очень быстро, буквально через четыре месяца после знакомства.

Но не в институтских аудиториях произошла встреча. Валентина Васильевна участвовала в художественной самодеятельности, туда однажды и заглянул Вася. Но так, просто за компанию с другом, не стихи какие-то там читать. И увидел Валю. Она-то как раз и читала стихи. И не какие-нибудь, а неизвестного Васе Есенина и Анну Ахматову. Почему в те годы подобное можно было услышать, оставалось загадкой, которую ни потом мама Ани не могла раскрыть, ни сам Василий так и не понял, что это за чудо было такое: читать запрещенных поэтов, да еще в институте, который к театру и литературе не имел никакого отношения. Но так

было, и Василий был напрочь сражен и самой Валентиной, и ее голосом, и стихами, конечно.

Валя читала так на разрыв, на таком обнаженном нерве, что у Василия уже в первый же раз что-то сдавило в горле и он едва не заплакал. Ну, читал стихи, не особенно их любил, но чтобы они пронзили его насквозь?! У Вали была особенная привычка такая — дергать себя за косу. А коса у нее была длинная. Иногда она обвивала ею всю голову, как было модно в ту пору, и тогда казалась Васе красавицей просто необыкновенной, сошедшей с какой-нибудь старинной картины. Дело в том, что ни в живописи, ни в поэзии Василий в те годы не был силен. Он считал, что есть самая необыкновенная красота в его любимых минералах, всех этих материалах, из которых потом человек создавал то или иное изделие. Для него экспедиция была — что для Вали грезы о театре. Он мог часами, сидя на корточках, очищать маленьким веничком пыль с того, что еще не обозначилось в качестве предмета искусства, а было простым обломком. Осколком чего-то. Но это для непосвященного. Для Василия же всякий такой обломочек, извлеченный из почвы, был редкостной радостью. Он, словно мальчишка, чуть ли не вопил от радости, а случалось и такое, когда попадалась руда или находился минерал. Он строил свои гипотезы, представлял, что это было много веков тому назад, что были за люди в то время, и наслаждался своей работой, своей причастностью к прошлому, ко времени, которое давало такую пищу уму!

Они повстречались, а потом поженились без всяких болезненных ухищрений, недомолвок, без мучений друг друга. Это было их обоюдное согласие, и никто не сожалел, что не пришлось бороться за любовь, что вот тебе, не накрыли с головой страдания. Нет, такого не было и это сразу придало их молодой семье здоровую, энергичную силу. И все годы, что жили вместе, они просто любили друг друга, а не играли или еще хуже — не издевались, не прятались, не изменяли. Так бывает очень редко, но вот бывает же. Двое людей поняли,

что друг без друга — не полное существование, что жить поодиночке — просто глупость, и больше вопрос, кто главнее, кто любит больше, никогда не стоял вообще.

После учебы Валя попробовалась в театр — не приняли, пошла еще в один, и там ей сказали, что есть все в ней: и темперамент, и эмоциональность, и прекрасный голос, но нет школы. И это очень мешает. Тогда Валя стала посещать курсы актерского мастерства, и там ее заметил режиссер, тоже пришедший туда случайно. Заметил и сам предложил Валентине придти в его театр и прослушаться.

То, что не спала ночь и что, глядя в окно, они с Васей проговорили, решали, как лучше показаться, что читать, — это ясное дело. Но когда утром она собралась идти, и Вася решил, что пойдет тоже, — это уже было нечто чрезвычайное. И правда, отправились вместе. Это был судьбоносный поход.

Когда Валя подошла к столику режиссера, которого звали очень странно — Евлампий Сидорович, он глянул на нее поверх очков так, будто видел ее впервые и совсем не приглашал в свой театр. Она, конечно, несколько растерялась, но потом разозлилась и все же решила читать во что бы то ни стало. Режиссер в какую-то минуту присмирел, опустил плечи и спросил: «Вы что хотите читать?» Валя уже поднималась на сцену и на ходу сказала, что это будет Анна Ахматова. Режиссер покачал головой и почему-то спросил, а нет ли у нее чего-нибудь из классики, ну, из пьесы какой-нибудь. Валя уже не тушевалась, ей было даже интересно, чем все это закончится. — Нет, — сказала она весело. — Могу, если текст какой-то найдется».

— Текст-то найдется, а вот партнер, — протянул Евлампий Сидорович.

— А у меня есть партнер, — осмелела Валя и жестом показала в зал, что он там и находится.

Режиссер оглянулся, увидел здорового человека совсем не театрального вида, присмотрелся в полутемном зале и сказал:

— А, это вы, молодой человек? Так прошу вас, текст я вам сейчас дам.

Василий оторопел: ему текст? Да что он может? Но надо было выручать Валентину, и он неожиданно для себя самого сказал: «Давайте ваш текст». Послали к помрежу за текстом, а пока шла какая-то возня, Василий, все еще находясь в полубессознательном состоянии, но четко все понимая и оценивая, вдруг сказал: «А хотите, я вам тоже прочитаю кое-что?» режиссер не успел додумать, надо ли это ему или нет, а Василий уже взбирался на сцену в своей косоворотке с вышивкой, в широких штанах и белых, намазанных порошком туфлях. Он встал во весь свой большой рост, развел руками, будто проверяя, хватит ли ему места на сцене, которая никак не была маленькой, и вздохнул. Он широко раскинул руки, хитро улыбнулся и начал:

«Я не люблю цветы с кустов,  
Не называю их цветами,  
Хоть прикасаюсь к ним устами,  
Но не найду к ним нежных слов».

Трепетные эти слова в устах большого красивого человека, впервые шагнувшего на сцену, были такими убедительными и сильными, будто он стремился убедить в этой своей нелюбви невидимого оппонента.

«Я только тот люблю цветок,  
Который врос корнями в землю,  
Его люблю я и приемлю,  
Как северный наш василек».

В устах какого-нибудь менее колоритного человека эти строки могли бы прозвучать вполне тривиально: нежно и зазывно. Но Василий и в них вложил всю недюжинную свою силу. Он так налегал на каждое слово, так отстаивал свою любовь и стремился поделиться ею со всем слушающим его миром, что не оставалось

никаких сомнений: этот человек способен убедить кого угодно и в чем угодно. И когда настал черед читать прекрасные строки «и на рябине есть цветы, цветы, предшественники ягод. Они на землю градом лягут, багрец свергая с высоты», он так представил перед собой рябину и так ее воспел, что это было похоже на последнюю экспедицию, в которой он нашел интереснейший фрагмент старинной чаши и поднял хрупкий осколочек, держа его в руках как запеленатого ребенка. Затем передал находку руководителю и, отойдя от раскопок на приличное расстояние, воткнул в землю кол, причем сделал это победно, почти по-царски.

И сейчас он так всплеснул руками, так ухватился за свою любовь к северным красным цветкам, что сомнений не оставалось: на земле в эту минуту росли и благоухали только одни цветы, и назывались они рябиной. «Они не те, что на земле, цветы рябин — другое дело, они — как жизнь, как наше тело, делимое в предвечной мгле». На финальной точке голос Василия взлетел совсем-совсем высоко, за колосники и даже за самую крышу театра, и только закончив стихотворение и немного отдышавшись, он понял наконец, где находится и что делает. И услышал тишину. Она стояла такая, что через мгновение стало слышно, как режиссер положил свои очки на столик и еще долго не мог ничего сказать.

— Вы сами как, хотите у нас работать?» — задал вопрос режиссер, к которому Василий не то чтобы не был готов, но он всерьез и не мог думать о подобном.

— Я?

— Вы, вы, конечно.

— Я...я не думал. Но у вас хорошо. Тихо как-то. Почти как у нас на раскопках.

Послышался смех, и наконец что-то сломалось в воздухе, то, что казалось совсем не материальным, но все же имело какие-то физические параметры. Это была атмосфера, так трудно достижимая и такая хрупкая, которая иногда складывается, иногда — нет, но вот теперь она была, чудесная и трепетная. И уже никто

не мог больше выносить напряжения, и смех явился самой замечательной разрядкой.

— Так как, решается?

— А как же Валя?

— Валя! Мы и Валю вашу возьмем, и вас, только соглашайтесь, дорогой мой!

— Но ей сказали, что школы маловато.

— У вас ее тоже не густо, но мы что-нибудь придумаем.

— Ладно, готов учиться. Если Валя, конечно, не против.

— Ваша Валя против не будет. Уверен!

Молниеносность такого поворота дел несколько не обескуражила семейство, скорее, напротив, придало новый импульс отношениям. Через недели две после этого знакового события Валентина сообщила, что у них будет ребенок. Оба радовались и несколько не сомневались, правильно ли это, вовремя ли. Такое было само время, что так вопрос чаще всего не стоял. Послано судьбой — значит так надо, значит надо рожать. А что до театра — ну что ж? То же самое время покажет.

Василию сразу дали роль, почти главную. Ставить взяли Чехова Антона Павловича, пьесу «Вишневый сад». И Васе досталась роль Лопухина. И правда, такая в нем была силища, что никакая хилая концепция не смогла бы смириться с Васиным сокрушительным темпераментом. Он в этой роли так хотел новой жизни, причем для всех сразу, что сомнений не оставалось: произведение русского писателя будет прочитано по-новому, неожиданно и роль Лопухина не будет связываться с каким-то только насильственным действием бывшего чуть ли не крепостного. Нет, он предстанет сильным и умеющим не только крушить и рушить, но и предлагать новое. Вот такой новый человек на российской сцене. Это было очень важно и для режиссера, и для всего коллектива. Уже до того надоели пропагандистские пьесы с откровенным пафосом борьбы, не оставляющие не малейшего простора для подтекстов, сложных жизненных переживаний, просто про-

странства отношений, к которому писатель Чехов очень тяготел. И коллектив вместе с режиссером верили и знали, что именно такая пьеса теперь нужна театру, что в ней по-новому откроется лицо и самого театра, и главрежа, и прочтение пьесы станет поворотным в репертуарной политике труппы.

Самая первая сцена, в которой Лопахин с Дуняшей дожидаются поезда, на котором прибудет их барыня, была понята, схвачена им мгновенно. Он и на Дуню уже едва ли не покрикивал, и на ее ужимки и стремление подражать барыне смотрел не просто с укоризной, но уже как хозяин почти что, не как ровня какой-то там Дуняше. То есть, попросту говоря, Вася уловил верный тон. А на репетиции режиссер сам говорил, правда, про другого персонажа и из другой пьесы, «Чайка», что Треплев никак не может найти верный тон. А вот он, Вася, нашел, мгновенно уловил самый что ни на есть дух и характера, да и самой пьесы.

Это приносило такую огромную радость, сравнимую разве что с найденным осколочком из очередной экспедиции. Он внутренне даже сокрушался: ну как же так, был себе горным инженером, которые тоже нужны в экспедициях, хоть и археологических, а теперь, в один какой-то день взял и стал артистом. Как это возможно? Но Василий не долго тушевался и мучился. Новое дело захватило его настолько, было таким заманчивым и даже мистическим, что он сделал выбор быстро и в пользу театра.

Валентина должна была играть роль Дуняши в той же пьесе Чехова. Решили пока режиссеру ничего о своих семейных новостях не сообщать: может быть, успеют хоть премьеру сыграть? Так и репетировали.

Первая сцена была как раз на двоих, на Лопахина и Дуняшу. На первых репетициях Василий очень тушевался, потому что обращаться к своей родной жене, да еще беременной, да еще с замечаниями и поучениями было как-то трудновато. Но странное дело, трудности заканчивались тогда, когда начинался сам процесс репетиций. И с первых реплик Вася уже не чувствовал

себя мужем этой тоненькой девушки, а смотрел на нее именно как на вовсе не родную, пришедшую вместе с ним встречать поезд прислугу. И так он в это начинал верить, и такой у него появлялся верный тон, что и сама Валя по окончании репетиций долго не могла прийти в себя и все задавалась вопросом: да действительно ли он — муж ей? Настолько Вася был убедителен, что ни у кого не возникало сомнений относительно того, помешает или нет семейный союз творчеству? Актеры собирались, чтобы посмотреть, как работает Василий Никифорович, а именно так его стали называть в театре, и убеждались, что никакая школа не может помешать или помочь — кому как — истинному таланту. Ну не выучился он, но зато правда и наполненность чувств, мыслей были такими, что вопрос о школе просто больше не поднимался.

В те годы много хороших артистов приходили в театр из самых разных профессий, совсем не связанных с театром. Прекрасно работали труппы на Волге, городов там было много, вот и театров хватало. Накануне войны что-то такое творилось с народом, что им бесконечно хотелось праздника, игры, представления, песен и всего того, что радует сердце. Слово в предчувствии скорой беды люди стремились надыхаться необычным, сказочным воздухом подмостков.

Как-то именно на Волге, в Саратове, будучи на гастролях, они познакомились с одной супружеской парой Алексеевых, которые тоже не заканчивали театральных училищ, а пришли в театр из строительного техникума. Да не просто строительного, но со специализацией по кораблям, то есть будущими кораблестроителями. Но встретились, Дмитрий Алексеевич уже состоял на службе в театре, а юная его жена Ниночка только ходила смотреть на его спектакли. Так вот, после одного из них она, оказавшись за кулисами, встретила носом с режиссером, который внимательно посмотрел на нее, поздоровался, поцеловал ручку и понял, что какая-то очаровательная тайна скрыта в этой молодой девушке. Так бывает: режиссеры порой очень точно

чувствуют, кто перед ними и что из них может получиться со временем.

Вот и с Ниной Петровной Алексеевой, ставшей впоследствии народной артисткой, произошло нечто подобное. Один в один Васина история, только пригласили жену, Ниночку, а здесь — его.

Они потом — так уж сложились судьбы — неожиданно пересеклись совсем не в волжском городе и даже не в России и продружили многие годы. И когда уже на свет появилась Анна, чета Алексеевых признала в ней свою дочь, которую любила и пестовала до конца своих дней, поскольку своих детей не было у этой пары. Но это было много позже, когда Алексеевы приехали в Среднюю Азию, в Ташкент, где оказались и Вася с Валец. Там и продолжились их совместное и творчество, и дружба, связавшая на всю жизнь.

А пока Вася репетировал Лопехина, и ему Дуниша пыталась противоречить, говоря, что она и есть сама по себе такая и ни в чем барыне не подражает. А Лопехин то хмурился, то в ус тихонько посмеивался, а сам знал свое, свое такое, отчего его Валя-Дуня играла так хорошо, так задиристо и весело, что и всем становилось хорошо.

Дожили и до премьеры, и никто еще в театре не знал, не догадывался даже, что за тайну берегут эти двое. В самый день премьеры Валец сильно тошнило, но она держалась стойко, и Вася только мог догадываться, как ей тяжело.

В сцене, когда они ждут барыню, хозяйку поместья, которое скоро, совсем скоро откупит Лопехин, Вася сквозь свою роль и понимание не себя конкретно, а другого человека, все же увидел, учувствовал, что его Валец плоховато. И он выручил. В тот самый момент, когда он делал ей замечание, укоряя в подражании хозяйке, он взял и подстелил прямо на сцену, на пол, можно сказать, шарф с шеи. Валя-Дуня села, вытянула ноги, немного, совсем немного прислонилась к Васе-Лопехину, вздохнула, словно освобождаясь от какой-то боли, пощупала и шарфик, и даже слегка фыркнула:

мол, какой он неказистый, шарфик-то. Однако именно находка Васиц, который понял, что Валец нужно сесть или она упадет в первой же сцене, спасла положение. Режиссер отметил находку и сказал, что ее следует закрепить.

И на это раз все прошло незамеченным, да еще и целых два месяца тоже, когда самочувствие Валец выправилось и ее уже так не тошнило, не донимали поясничные боли, в особенности по утрам.

Так они дожили до пяти месяцев, когда утаивать очевидное стало невозможно, да и бессмысленно. Сначала Валец оставили, решив, что и в пьесе девушка могла быть в интересном положении. Но кто-то все же перечитал внимательно произведение Антона Павловича Чехова и заметил, что это непорядок и так дело не пойдет. Что нужно подбирать новую актрису.

Так постепенно Валя выбыла из спектакля, а потом пришло время рожать.

Приближался сорок первый год и в канун его, в декабре месяце, а именно 17 числа, Валя родила дочку, которую назвали Анной. Тогда особенно было принято вспоминать бабушек и дедушек и в их память, в их честь называть их именами детей. Так вышло и на этот раз. Валецину маму звали Анной, вот и дочка тоже стала Анечкой.

Рожала Валентина так долго и тяжело, что думали, и вовсе не разродится. Но все же ближе к ночи девочка появилась на свет. Молока у Валец было столько, что даже соседскую девочку Лилю, у матери которой молока совсем не было, она кормила запросто, да и то еще оставалось.

Театр остался прелестным воспоминанием: разве до него было, когда столько забот появилось, да и Василий целыми днями пропадал то на репетициях, то на прогонах, то на вечерних спектаклях. Однако семья по-прежнему жила дружно и такое разделение на быт и праздник — каждому свое — не привнес разлада, а может быть, даже в чем-то скрепил брак. Во всяком случае обоим было интересно знать, что случилось у

каждого за целый день, и оба охотно делились своими событиями ближе к ночи, когда дела уже были позади, ребенок спал и наступала та трогательная, та доверительная тишина, в которой сказать можно было многое и многое. И они говорили.

Наступил июнь, а потом началось то, что даже назвать было сначала страшно, произнести это. Однако обстановка становилась все более и более грозной. И ближе к осени стало понятно, что оставаться очень опасно в городе, появились слухи, один страшнее другого, и решено было уезжать. Выбор не был долгим: позвонили саратовские друзья и предложили приехать к ним в Ташкент, куда они год как перебрались. Знали о Васиных успехах, связь-то держали — и даже с театром тоже обещали помочь.

И осенью, когда в Ленинграде стало совсем-совсем холодно, семья отправилась на юг, в Среднюю Азию. Но Василий до поры не говорил Вале главного: что он оттуда уедет прямо на фронт. В первые дни его не призывали, у него была бронь, но он сам, по собственному своему разумению, по своей натуре не мог оставаться дома, отсиживаясь, когда Родина была в опасности. Слово «Родина» для них, для всех — жителей, имеющих бронь, и просто солдат в запасе — значила очень многое. Никого не смущало само употребление этого слова. Оно было священо. И по приезде, как только смогли расположиться и устроиться у Алексеевых, Вася сказал, что пора, что он уже был в военкомате и послезавтра уезжает. До годика Анечке оставалось совсем немного, но Валя понимала, что удерживать мужа бессмысленно и надо просто по-человечески расстаться. Обещали друг другу писать, помнить, верить.

Накануне устроили ужин, прощание по всей форме. Дмитрию Алексеевичу только в октябре сделали операцию в связи с прободной язвой, и он не мог идти на фронт. Однако сказал, что, как только оправится, тут же найдет Василия, попросится в его часть.

Нина Петровна была, как всегда очень хороша и не особенно разговорчива. У нее был такой сильный ха-

рактер, она все несла в себе. Потому и говорила немного. Зато работала замечательно, и Димочка давно смирился с тем, что вот она-то и есть настоящая актриса, а он хотя и обладал великолепной внешностью настоящего русского барина, хрестоматийно, конечно, настоящего, запомнившегося по фильмам и спектаклям, растиражированного ими, и потому несколько не переживал, что в их семье он — на вторых ролях. Зато он имел великолепное чувство юмора, мог и припечатать (и нецензурно тоже) кого угодно. Языка его немного побаивались в театре. И было у него еще одно неоспоримое достоинство: он мог пробить все, что угодно. И впоследствии жизнь доказывала не раз, что ему по плечу любые развороты событий: его гибкий ум, цепкая память, умение разговаривать с людьми вершили чудеса. Дима мог все или по крайней мере почти всё. И касалось это не только его самого или Ниночки. Он охотно хлопотал о товарищах, мог и роль выхлопотать. Но только не для себя. И так всем было известно, что Дима справится с любой ролью и что его великолепная внешность доиграет то, что неподвластно ему, как артисту. Наверное, закончи он свой кораблестроительный техникум и начни работать по специальности, был бы незаменимым руководителем. Ему требовался размах, техника, народ. Это он в театре был одним из инициаторов создания студии молодых артистов, он выбивал путевки для пожилых. Он, проработав всего год в ташкентском театре, мог запросто прийти на прием к самому высокому чину. Точно, он мог все. И все это знали, и, если что, обращались к нему за помощью.

Вот в этой славной компании и проходил прощальный ужин перед отъездом Василия на фронт.

Стол был накрыт роскошно по тем временам. Селедка под шубой, которая подавалась в те годы как изысканное кушанье, вареная картошка, зелень самая разная, которую еще вполне можно было купить на Алайском базаре, салаты, винегрет и, конечно, водка.

Дмитрий Алексеевич мог накормить кого угодно и в каком угодно количестве. Такого радушного хозяи-

на было поискать. Из простейшей картошки он сотворил невесть что: так обкладывал ее зеленью, помидорами, веточками укропа, что саму-то уже и не видно было, а только красовалось ветвистое кружево на столе. Однако особенно веселиться не могли: повод был слишком тяжелый, чтобы веселиться и праздновать. Сначала вообще не могли разговориться и только после Димочкиного тоста все как-то взбодрились и принялись есть и пить.

— Ты, дорогой Вася, уезжаешь, а я, к сожалению, остаюсь. Правда, к сожалению. Но думаю, что это не надолго. Заживет моя язва или что там после нее осталось, и поеду тоже. Узнаю сначала, где ты. Раз тебя под Москву, то и я — туда же. Так вот, я о театре. Видел я в Ленинграде твою работу, удивительного Лопухина, и должен тебе заявить прямо и благородно: ты — артист. В самом наивысшем значении этого слова. Артист. А гордое это звание дано носить не всякому-каждому, его еще заслужить надо. Знай, театр в тебе заинтересован. Начали уже репетиции, ждем тебя. Но не просто возвращения я тебе и все мы тут желаем. Непременной победы! Только ее и будем дожидаться. Слышишь? Будем! Верь в это и знай, что есть на свете люди, помимо твоей семьи, которые тебя очень любят. Вперед, за победу! Возвращайся!

Все выпили залпом и Нина Петровна, до этого молчавшая, вдруг сказала, что видела сон.

— Смешной такой сон. Но по-моему, он вещий.

— И что же там вещего? — спросил Димочка, муж.

— А то хотя бы, что видела я огромное спокойное море и нас, плывущих на белом-белом корабле. Он шел тихо так, словно в сказке. И впереди виден был не просто берег, но очертания не менее сказочного города, с какими-то башенками, петушками на шпилях. Именно сказка была. Но мне показалось, что именно мы и выплывем в какую-то другую чудную жизнь, которая непременно наступит. Я точно знаю. А сны я вижу редко, но если уж вижу, то точно сбываются.

Воцарилось молчание, и каждый обдумывал услы-

шанное. Всем, несомненно, хотелось в сказочную страну и как можно скорее. Но путь до этой сказки предстоял долгий, ох какой долгий.

— Когда ж тут первый снег выпадает? — неожиданно для окружающих спросил Василий. — Да и выпадает ли?

— Не горячитесь, молодой человек, все у нас тут выпадает. Вот вернетесь с фронта, обживетесь, узнаете, что, бывает, и до 25 градусов доходит.

— Да ладно!

— Нет, верно. Слышали, тут писатель Алексей Толстой неподалеку проживает? Ну, так узнаете. Он так эту зимнюю пору ташкентскую полюбил, страсть как. Тем более что она резко отличается от московской. И здешние 25 — совсем не похожи на российские.

— Не такие холодные, что ли? — пытался пошутить Вася.

— Вот именно.

В это время Валя уложила девочку и присоединилась снова к сидящим. Она похудела и стала очень грустной. Понятное дело, ведь муж, ее единственная опора и любовь, направлялся на фронт.

— Валюш, ты же с нами, — словно услышала ее Нина Петровна. — Ну, так не грусти. Лучше споем, пожалуй. — И она первая запела. Голос у нее был не просто великолепный, но с какими-то низкими погружениями в нечто таинственное и непостижимое. Она пропела первую фразу, и сидящие подхватили. «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян...» Было в этих строчках что-то такое раздольно-мощное, вызывающее к самым потаенным силам души, что всем делалось на время свободно и хорошо. И каждый мечтал о своем, и каждый верил, что вот так же они встретятся, сядут за этот же стол и споют. Что-нибудь другое, может быть, но непременно споют.

У молодых — так называли их Алексеевы, приютившие Васю и Валю, — была просторная комната, совсем в другом от хозяев краю квартиры. Когда они оказались вдвоем, то даже не пробовали ложиться спать, а

сели почему-то рядом у окна и долго молчали. Потом Валя спохватилась и сказала, что мужу надо бы поспать. Но Василий покачал головой, придвинулся к ней совсем близко и так сидел, молча, обняв жену. Говорить не хотелось, оба понимали, что слова сейчас — лишние. Заворочалась в кровати дочка, встал Вася, подошел, покачал колыбель и долго стоял так. Девочка, надо сказать, была на редкость спокойная и какая-то понимающая, что ли, в ее крошечном возрасте. Она словно сознавала, чувствовала, что плакать не время и что лучше не беспокоить родителей, когда и так трудно.

Наутро, совсем рано, лишь только проглянули редкие лучики, Василий поднялся, долго стоял, глядя в глаза Валечке, и пошел. Даже собака Алексеевых — Гирей, — словно учуяв что-то, не лаяла, не выскакивала, а только тихо, молча смотрела, лежа на терраске. На прощанье Вася сказал только одно: «Все будет хорошо, вот увидишь». Это была его собственная приписка. Так он говорил почти всегда, когда ясно становилось, что дело плохо или что поджидают какие-то трудности. Валя тоже держалась: никаких женских истерик, причитаний. Время не позволяло распускаться. Расстались, ушел. Хлопнула калитка, и стало тихо-тихо, так тихо, как бывает только в Ташкенте в любую пору, а уж осенью — тем более.

Алексеевы спали, и Василий шел по маленькому переулку к военкомату, уже примериваясь к новым ощущениям, которые зрели, постепенно прорастали в его душе.

Он ушел на фронт, где пробыл три года и вернулся лишь в связи с ранением в сорок четвертом, ни разу за эти годы не встретив ни Валю, ни своего друга Дмитрия Алексеевича, который по состоянию здоровья так и не смог прибыть на передовую, хотя и рвался, и в военкомате его уже знали, но разводили руками и все показывали на заключение врачей, оспорить которое не смели.

Тема войны уже потом в доме на многие годы была запретной. Вспоминать то время Василий не то чтобы

не любил, но видно было, что просто не мог, так трудно оно далось. Да и что говорить, если будни и не будни были похожи один на другой, если за все три года было получено им всего пять писем, если уже в ту пору он понемногу стал переосмысливать все, что было связано с этой войной, включая какие-то такие скрытые мотивы и причины, о которых в ту пору говорить, думать было запрещено. Да и еще долгие годы тема эта, тема войны, ее начала, подготовки, необъявления, оставалась вне закона. О ней могли думать, а лучше и вовсе не рассуждать, могли принимать, соглашаться, но находились такие, сомневающиеся, которые видели несколько иной смысл в военных действиях, в неготовности населения, в том, что был какой-то непонятный умысел в том, что никто ничего, оказывается, не ожидал, что народ не предупредили. Что народ, который в итоге победил, не знал равным счетом ничего.

Что за страна такая! Вот, не рассуждали же: шли и знали, что так нужно. Какие тут рассуждения?! Это потом уже, задним числом стало возникать, множится понимание каких-то просчетов, неувязок и со сроками, и с неподготовленностью во всех отношениях. А тогда!.. Нет, тогда шли, умирали, но верили, что так и нужно, что кто-то там умный, умнее его, народа, все решил и предусмотрел. Ну не доглядели, ну не знали, что так внезапно, не распорядились вовремя сообщить населению. А население поверило сразу и безоговорочно в справедливость и правительства, и действий военных. Не все же знали, сколько погибших случилось даже в первые, особенно в первые дни этой бойни. Да и кто тогда прямо информировал?! Вот то-то и оно.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ЭВАКУАЦИЯ

*Он ушел и думал, что больше не вернется. Что с него хватит, что он свое испытал сполна. Но в тот же момент до его плеча кто-то дотронулся. Он оглянулся и увидел ее. Да, это снова была она, птица. Он попытался понять, что это была за порода. На чайку вроде не похожа, хотя так же ловко летает над водой и даже ныряет головой, чтобы, наверное, полакомиться рыбкой. Но и у того дома он тоже видел ее. И понял, что там у нее гнездо. Что она и кто? Но понять не мог, потому что видение, или сама правда, внезапно исчезло, и он снова остался один на один со своими нерадостными мыслями. Что оставалось делать, если повсюду одни препятствия?*

Самое основное, пожалуй, чувство было — растерянность. Не только в самые первые дни и даже месяцы. Люди не могли привыкнуть к мысли, что вот та их прекрасная страна, где всем было тоже прекрасно, хорошо, где в магазинах было все, а в кино и в театре — еще более замечательно, что вся эта огромная машина вдруг даст сбой и люди окажутся совсем в другом мире. Мире, где не будет уже безоговорочной веры в действия властей, где начнет она постепенно утрачиваться как основной инстинкт и смысл жизни человека, где человек, бывший до поры другом и братом, вдруг покачнется в этой своей вере. А потом станет разрастаться, сначала медленно и малозаметно, но все же пропасть между тем, что говорится на самом верху, и тем, что происходит на самом деле внутри, «в народе».

Эта же растерянность покрывала сначала и далекий азиатский город, хотя там не было грозных боевых действий и люди, молодые и не очень, слабо представляли, что такое война, как долго им придется жить вне дома, что будет с их урожаем, кто его станет возить на базар вместе с испеченными лепешками, кто будет возиться с маленькими своими братишками и сестренка-

ми, так, как это всегда было принято у узбеков, таджиков, у всех народов Средней Азии. Кто? Только они и могли это сделать, поэтому следовало скорей покончить с этой войной и вернуться.

Ташкент, почти русский город, не воевавший впрямую, все же ощутил на себе сполна все лишения, все сложности войны. Начались какие-то карточки, а вместе с ними и обманы, прежде невозможные в этом краю. Люди научались потихоньку хитрить, заниматься приписками, ловчить и изворачиваться только для того, чтобы выжить.

Добрый, по-настоящему добрый край был тоже ввергнут в мерзкую воронку, где сначала было страшно, потом притерпелось, потом как-то обмякло все, и выходило, что затягивает в эту воронку не на миг и не на день, а состояние это становится обычным, повседневным, и чтобы не умереть от ужаса переживаний за своих близких, за единую тогда еще страну, приходилось терпеть, плакать и становиться все молчаливее и печальнее.

Даже то, что в город съехалось так много хороших людей из Москвы и Ленинграда, что работал театр, русский театр драмы, что кино никто не закрывал и что на Алайский можно было ходить каждый день, не убавляло печали из человеческих сердец.

А город и правда словно был взбодрен новой кровью той интеллигенции, которая влилась в него, а уже после войны так и осталась и никогда не изменяла этому краю. Это были не только актеры, имеющие бронь и оставившие свои столицы, но и ученые, преподаватели, их было много, и они стали трудиться в САГУ — Среднеазиатском госуниверситете, в консерватории, в других местах, где элементарно не хватало рабочих рук: на заводе, где строили самолеты и где вырос городок «Тапоич», на ламповом заводе, где выпускали, конечно, отнюдь не лампочки для военной промышленности, и на многих предприятиях, где инженерная мысль требовала выхода и применения.

Перед самым Новым годом, то есть в канун 1942 года в гости к Алексеевым пришла еще одна пара. Он был уже ранен и уже вернулся в город — ему отхватило на войне три пальца правой руки, — высокий статный мужчина с хорошими манерами, гладко выбритый и с прямыми волосами. Был он очень ухожен, и чувствовалось, что в их паре лидирует вовсе не он, а жена его Надя, татарочка, весьма привлекательная невысокая женщина, смело курившая, здорово ругающаяся и веселая. Он был поляк, даже фамилия у него была польская — Ксендзов, а она — Надежда Хусайновна Дивеева, из Подмосковья. Встретились они уже в Ташкенте, оба имели семьи, долго и настойчиво боролись за соединение и победили. Вячеслава вызывали в ЦК и грозили отнять партбилет, потому что вообще нехорошо уходить из семьи, тем более из такой, где жена тоже воевала и лишилась ноги. Но Слава был непреклонен, и именно отсутствие колебаний и неуступчивость довершили дело: им разрешили наконец брак, но после мучительных разбирательств с мужем Надежды, малосимпатичным низкорослым татаринком, который почему-то смог избежать отправки на фронт и стал торгошом. Таких не уважали, но что делать, и они в какой-то мере были нужны.

Они явились в гости, еще не будучи мужем и женой, еще в самом разгаре была их бракоразводная эпопея, но казалось, что особенно на Надю это не оказывало никакого печального воздействия, так она была дерзка и вызывающе смела. Она тут же закурила, и это тоже не вызвало отвращения, поскольку в войну закурили все, кто только мог, засмеялась своим особенным, переливчатым каким-то смехом и сказала, что теперь всем им будет гораздо лучше.

— Это отчего же? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Карточки у нас будут, и в другом количестве, — откликнулась весело Нажия (именно такое у нее было настоящее имя) и потрепала по голове своего Вячеслава, словно застоявшуюся лошадь. Он молча кивнул и закурил сам. Надо сказать, что разговорился он толь-

ко после второй или третьей рюмки, а так все больше молчал. Это и впоследствии было его привычкой, и все постепенно к этому привыкли. — А тебе, — она обратилась к Вале, — тоже пора находить свое место под солнцем. Или луной — как угодно. Будешь у меня работать, карточками население обеспечивать. Вижу сразу, а у меня глаз наметанный, что ты женщина честная, мне такие и нужны.

— Но у меня маленький ребенок, — возразила Валя, на что Надя резонно возразила:

— У всех дети. Вот у Славы тоже есть сын. Пришел даже к нам разочек. Но я сразу условие поставила: или я, или он. Слава не выбирал, сына мы не видели больше. Пусть себе живет, на фронт собираться пора.

— Надя, ему только двенадцать, какой фронт?

— Ничего, все горе мыкают, пусть хоть знает, что на свете делается. А то все хотят, чтобы им хорошо было. Так не бывает, чтобы всем. Правду я говорю, Нинуль? Ты что приуныла? Открыла бы баночку икорки, не печалься, я законно. Все-таки Новый год наступает. Нам выдали. Правда, не тупуйсь! — И обратилась снова к Валентине. — Значит так. Послезавтра, нет, даже завтра после обеда приходи ко мне, скажу, куда и что делать надо. А ребеночка пристроим, не пропадать же ему. Дежурство устроим, помогать всем надо.

Она снова засмеялась, закурила и сказала, что выживать надо в любых условиях, раз такое испытание людям дано. И что она вообще-то хорошая, просто боевая.

— Я вот посижу тут, посижу, да и попрошусь сама на фронт, тесно мне в карточном бюро, так бы и преобразовала его в пункт отправки товаров солдатам. — И снова Вале. — Ты не дрейфь, завтра пришлю свою тетюшку, будет пока сидеть с твоей лялькой. Она старая, уже под пятьдесят, восьмерых подняла, вроде меня — все кипит у ней. Но не бойся, она добрая, дочку не обидит. Так что, договорились.

Валя не успела сказать и пары слов, как за нее все и решили. Но что делать, она не могла не понимать, что работать надо, что век на шее у добряков Алексеевых не просидишь и что муж тоже будет доволен, если узнает, что она, Валя, работает.

После третьего захода с тостами Вячеслав начал странно шмыгать носом, на что Надя отреагировала моментально и тоже странно.

— Норма, дорогой, все, на сегодня все!

— Но, дорогая, еще одну, только одну рюмочку.

— Я сказала — все, значит, все! Иди, полежи. Нина, можно, он приляжет?

Но последние слова были сплошной формальностью, поскольку ответа хозяйки Надя дожидаться не стала, а сама указала мужу, где прилечь. Здесь же, в комнате, был диванчик, на который Славочка и лег. И надо сказать, уснул мгновенно. Так и стало известно, что его норма — это три рюмки. Иногда супруга позволяла ему перебрать, но случалось это крайне редко и в особенные для нее минуты, когда могла она вспомнить, как было до войны в ее деревне Дивеево и как все счастливо тогда жили.

— Ты, Валюш, не печалься, что поделать, может, Надя и права? — сказал миролюбиво Димочка.

— Права, права, я всегда права, — сказала уверенно Надя, и все подумали, что, может, так и надо, что должен же кто-то в этой жизни знать, как надо, а как — нет.

Помолчали, и Надя снова сказала.

— Вы вот думаете, наверное, что я такая, ну, громбаба. А я, может, нежная.

— Успокойся, Надюш, — сказал Димочка, — никто так не думает, ты просто расстроена, как и все мы. Не на век же эта война. Через полгода, глядишь, закончится?

— Сказал, тоже мне — полгода. Смотри дальше. Не закончится не через год, не через два. Я кое-что слышу у своих военных, что нет-нет да заглянут. Плохо дело. Много наших полегло. Ржев. Теперь Москва,

а там Украина — сплошной кошмар. Нет, надолго это затянется, это я точно знаю, — проговорила Надя, и все замолчали, так как в глубине души знали сами, что что-то не то происходит с этой войной, не все так, как передают в сводках. Уж очень много расхождений. И очень много раненых, о которых становится известно и в городе, и в аулах. Вести такие быстро разносятся, их не скроешь. Но делается это тоже почему-то не совсем открыто, а словно скрывая, утаивая что-то. Может, саму правду об этой войне? Может, то, как она началась и как стало косить людей, стало распространяться с такой бешеной силой, что решили там, наверное, попрिдержать эту самую тайну?

Все может быть. А на войне тайн ох как много, разве за всеми доглядишь, разве отсортируешь, где чистая правда, а где так, пропаганда одна? Нет, приходится самим что-то соображать, домисливать, опираясь на факты, на недомолвки, на рассказы людей, уже успевших побывать за короткое время там и просто из писем. Сначала-то письма, наверное, не особенно шерстили, это потом спохватились и стали отшелушивать.

Вот на таких «сходится — не сходится» и собиралась по крупицам правда о битве за Родину, общую на всех: что у русских, что у узбеков. Разделения тогда не существовало. Все знали, даже в самом старом закоулке Старого города (так называлась и впрямь старая часть Ташкента), что пришел возраст — надо на фронт и поблажек не делалось ни для кого. Да самое главное, что их никто, ну, почти никто и не хотел, не ждал. Вот так-то!

— Ты, Валюш, приходи прямо завтра, потолкуем. И не бойся, прямо тебе говорю, нечего меня бояться. А работы — тем более. Дело не сложное, но ума требует. Не всем подряд и не всем одинаково — вот какой должен быть подход. Эта наука не хитрая, сама научишься распознавать людей. А знать их надо, везде пригодится, даже картошкой если торговать.

Было понятно, что Валя, конечно, придет и что опыт

этот для нее будет не самый приятный в жизни. Но что поделаешь, разве тут до выбора?

И действительно, рано утром, совсем рано в калитку постучали, оказалось — та самая тетушка Нади, толстая, симпатичная Флора пришла посидеть с ребенком. Никакая она была не старая и сказала, что своих у нее, да и не своих — полным-полно и что работу свою она любит.

— А дети — они и есть работа. Их понимать надо, а не только попки им выгирать, да кашу варить.

От этих слов Вале стало как-то полегче, и она стала собираться на работу. Было это недалеко, на Первомайской улице, в самой глубине двора. Крохотный домик, похожий на сарайчик, которыми наводнены были довоенные и даже послевоенные ташкентские дворы, совсем не похожий на важное заведение, коим в сущности являлся и значимость которого смогли оценить все значительно позже, когда именно карточки и право на них определяли жизнь.

Руководила там всем тетя Надя, которую именно так там и величали, а не просто Надя или по отчеству. Был у нее еще один помощник и вот Валя, в обязанности которой было выписывать карточки и сортировать их по разным категориям. Категории эти устанавливал кто-то неведомый, поэтому по всему выходило, что главной была опять-таки тетя Надя.

Потом уже, значительно позже стало понятно, что золотое это во всех отношениях место доставалось дорого, как и дорого за него приходилось платить. Работали с утра до самого позднего вечера. Народ шел, кто-то ругался, кто-то был недоволен, и к каждому нужно было найти подход и слово. Вот слово и было той важной особенностью, которой сполна владела Валентина. Она так умела подобрать его, сказать в нужный момент то самое, единственное, что становилось легко и радостно: откуда эта совсем еще девчонка так научилась разгадывать, распознавать людей? Всем находилось единственно нужное и адресованное именно ему. И в итоге все были довольны.

Валентина, зная, что муж в самом пекле, работала не покладая рук. Ей хотелось быть с ним вровень, хоть и не на самой войне. С утра приходила Флора, которая действительно замечательно управлялась с ребенком, и Валя уходила в свое картбюро. Возвращалась, еле донося себя до калитки Диминого дома, так уставала. Но согревала мысль о Васе, что и она не только по дому хозяйничает, но и какое-то важное общее дело делает. Для людей дело. А то, что для людей, — согревало больше всего. Так уж они были воспитаны, так росли, вбирая эту мысль с молоком мамы, со школой, со всем обществом, которое дышало одним воздухом и думало примерно так же: что для людей жить — это благо. А ведь воистину так и было. И когда спустя десятилетия закон этот стал рассыпаться и разрушать самые основы жизни этого общества, когда расслоение его достигла всех возможных пределов, стало понятно, что тот далекий лозунг, да даже и не лозунг, а, скорее, заповедь, по которой они тогда жили, была самой естественной и справедливой.

Надя недолго присматривалась к новой сотруднице. За свою бойкую жизнь она успела повидать разного-всякого и в людях разбиралась неплохо. Ей было понятно, что Валя чужого не возьмет, никого не выдаст, если что, да и вообще на нее можно было положиться во многом. Она и за чистотой присмотрит, и не нужно держать лишнего человека, а значит, лишних глаз. Да и с обедом тоже хлопот меньше: Валя прекрасно готовила, а что оставалось, Надя забирала себе домой, поскольку готовить никогда не любила.

Денег Вале хватало. Надя ее особенно не баловала, чтобы избежать лишних вопросов и подозрений. Говорила, что сама еле концы с концами сводит. А Валя особенно ничего и не просила, достаточно было того, что за ее Анечкой присматривает Флора, женщина строгая, большая и обстоятельная. Но совсем не злая, и это самое важное.

Однажды Надя сказала, что может помочь с отдельной комнатой для Вали, что жизнь у чужих людей —

не самая лучшая вещь. Валя и сама это понимала, но не видела для себя ни малейшей перспективы в этом вопросе. А тут такая возможность. Но Надя не была бы Надей, если бы не выдвинула одно условие. Даже и не условие, а так, маленькое одолженьице. У них, мол, много лишнего хрустала, ставить особенно негде, да и собственная дочка слишком резвая, уже пару ваз кокнула. Так вот, не могла бы Валюша разместить сначала у Алексеевых, а потом, дай Бог, и у себя несколько таких вещей. И еще несколько пакетиков. Так, по мелочи: платья, ночные рубашки, ерунду, одним словом.

— А откуда это? — спросила Валя.

— Да как «откуда»? Слава с фронта привез, куда ж добро-то девать?

— А вы бы кому отдали, так, насовсем, не на хранение.

— Ну, ты скажешь, — рассмеялась Надя, даже не подозревая, каким бременем на всю оставшуюся жизнь наградила свою сослуживицу-подчиненную. Не догадывалась, что та ни в какие самые беззаботные свои годы не смогла забыть унижение, которое испытала, беря на сохранение Надино добро. Понимала ведь, что что-то в этом есть нехорошее, но была связана, многим уже связана: и работой, и няней, связями и даже сплетнями, которые нет-нет, да все же просачивались сквозь неутомимую Надину броню.

Однако вещи взяла, и так они лежали: часть — на дне сундука, который из немногого Валиного добра был с ней долгие годы; хрусталь, так и стоял, парадный и величественный, на столе и на буфете. Сначала у Нины с Димой, затем уже в собственной своей комнате, которую действительно выхлопотала ей Надя.

Располагалась эта комната в большом дворе на улице Карла Маркса, в одном из разветвленном уголков этого двора. На одной общей терраске соседствовали две комнаты, одна из которых была уже занята Серафимой Михайловной, регистратором в ближайшей поликлинике, с сыном Аликом, а та, что рядышком, — по документам пустовала, а фактически тоже была

завалена Симиным барахлом, какими-то банками, мешками, прочим хламом. Самое интересное, что когда его весь выбросили на мусорку, а он заслуживал именно такого отношения, сама Сима удивилась, зачем это она так долго хранила все это барахло. Комнату быстро помыли, поставили даже горшок с цветком неизвестного названия и стали думать, как быть с мебелью. Сима соображала быстро, что впоследствии очень выручало обеих соседок, и предложила свою старенькую кушетку. Она на ней почти и не спала, а так только, сидела, отдыхала от своей регистрационной деятельности. Так вот, эта потертая кушетка вскоре оказалась на Валиной половине, а еще через пару часов уже комната наполнялась всякой другой мебелью, разными предметами, посудой, ложками, абажуром, занавесками. Часть принесла Сима, а остальное — соседи, которым именно Сима сообщила о новой соседке с ребенком, и народ понес. Несли все, что было не только не нужно, но и дорого в какие-то времена, и что совсем не являлось рухлядью. Так, буквально за какой-нибудь день комната Вали оказалась не только полностью укомплектованной всем необходимым, но к вечеру нашлась и маленькая кроватка, которую принесли из противоположного угла двора незнакомые люди, однако с которыми Валя впоследствии прожила еще тридцать лет.

Так и сложилось, что за короткое время Валя устроилась, обрела соседку с сыном, узнала, что двор, в котором она поселилась, не только огромный, но еще и населен хорошими, добрыми людьми. Радости ее не было предела, она вся светилась, чего не случалось уже давно, с тех самых пор, как ушел на фронт ее Василий.

Письмо от него она в ту пору получила очень скоро, не прошло и трех месяцев. Было оно таким теплым и сердечным, что Валентина больше плакала, чем радовалась. И решила, что станет работать еще лучше и даже пойдет куда-то учиться, чтобы уйти с работы, где были одни только карточки и где Надя все туже затягивала свои узелочки. Она так и норовила привязать

Валю всеми возможными способами, где пока присутствовали подарки, некоторые шепетильные просьбы, но не угрозы. На какое-то время Валя расслаблялась и забывала об опасности, которая — она понимала — подстерегала ее всегда с этой женщиной. Но она полагалась на свою интуицию и верила, что далеко не зайдет в своих отношениях с Надей, что в случае чего сумеет убежать, порвать все и просто исчезнуть. Иногда же чувство настороженной внимательности изменяло ей, и она снова начинала верить новой приятельнице, и ощущение опасности покидало ее, она видела только добрые намерения и черты характера Нади и погрязалась в этот омут все глубже.

Отмахиваясь от возможных сложностей, которые когда-нибудь, но все равно настигли бы ее, она отодвигала от себя все возможные сомнения и не желала видеть то, что когда-нибудь грозило обернуться тревогой, зависимостью, неравноправием.

Как-то Надя предложила зайти вместе на Алайский базар, прикупить чего-нибудь. В этом предложении не было ничего удивительного, и Валя согласилась. Когда они прошли к рядам, где продавались сухофрукты под навесом, заметили женщину, стоящую обособленно, в облике которой явно читалась скорбь и грусть. Она что-то теребила в руках и не особенно замечала тех, кто проходил мимо. Было понятно, что она не из местных, скорей всего, ее привела в город все та же эвакуация. Она выделялась и своим видом, статью, совершенно седыми волосами, а главное — той невозмутимостью и спокойствием, которые были в ту пору большой редкостью.

Надя подошла первая и увидела, что в руках женщины — ювелирные украшения. Тогда это не было какой-то редкостью: приехавшие из далеких российских городов часто выносили на базар то, что могло быть продано и что так или иначе помогло бы жить им или кому-то из близких.

Разговорились. Но тон в разговоре задавала, конечно, Надя, стоявшая больше молчала, сообщила толь-

ко, что вещи старинные и что крайне нужны деньги. Любые причем. Надя стала рассматривать колье и кольцо и спросила Валю, не хочет ли та купить что-то. Валя замахала даже руками, так далеко она была от самой мысли о каком-то приобретении, тем более — ювелирных изделий. Однако Надя не отходила и все рассматривала прелестные вещи. И вдруг зорко глянула на Валю.

— Ты не смотри, что война. Не век же ей быть. А ты молодая, красивая, муж вернется, обрадуется такой красоте. Бери.

— Нет, Надя, я не буду. Да и равнодушна я к этому.

— Это сейчас ты равнодушна. А времена могут и другие наступить. Недорого же. Я помогу, да и у тебя есть. Что ты все копишь? Трать и на себя, когда жить-то?

Она полезла в сумочку, выгащила кошелек и уже по-свойски предложила женщине совсем другую сумму, не ту, что та называла первоначально, значительно ниже.

— Держите, это тоже хорошие деньги, — сказала Надя и уже отводила свою подружку от седой ленинградки.

— Держи, потом спасибо скажешь. У меня этого добра полно, а тебе надо. Потом отдашь.

Все произошло так молниеносно, что Валя не успела осмыслить, что произошло. А они уже выходили с базара почему-то ничего не купив из продуктов. Надя спешила, словно за ней вот-вот могли побежать и отобрать покупку.

— В другой раз мяса купим, да у нас и есть, Слава принес. Я тебе отрежу кусок. А зелени — хоть продавай, тоже дам. Да что ты такая опрокинутая, словно мокрая курица? Что не так? Женщину жалко? Но ведь мы фактически выручили ее. Ты что, разве не поняла?

— Да, но деньги...

— Что деньги?

— То, что она просила больше.

— Это базар, здесь торгуются, поняла? На, держи и Славке не говори. И вообще...

— Что?

— Не все подряд надо сообщать мужикам.

— Я думала, ты его любишь.

— А при чем тут это? Люблю, конечно, вот и от Алексея своего ушла, и Славке жизнь повыкручивала. Значит, люблю. Но свои секреты быть должны, ясно? Вот так и живи, еще вспомнишь меня. Надевай кольцо.

Они шли по становившейся родной улице Карла Маркса к дому номер 65, и на душе у Вали было холодно. Так, как бывало иногда в Ленинграде, когда дул порывистый ветер и небо было непрозрачным или когда шел дождь и не прекращался несколько дней кряду. Но тогда был театр, и все казалось прекрасным. И в тот момент Валя подумала, что надо что-то менять в жизни. Неужели так и зависнуть с этими карточками? Такая мысль уже не раз посещала ее, но теперь она подумала об этом с такой четкостью и так стало ясно все, что она решила действовать завтра же.

«И зачем мне это кольцо? И что я скажу Васе? Вот ведь как завладела мной, хуже мужика прямо. Если б не этот липовый отчет, завтра же и ушла бы. Ладно, что-нибудь придумаю». Так думала Валя, когда подошли к ее двору и когда стало очевидно, что Надя зайдет и станет долго пить чай. «Какая ж это любовь, — думала Валя, — если домой не тянет?» Однако и тут подчинилась и повела свою мучительницу и спасительницу одновременно к себе домой. По тропинке, ведущей к их садику, Надя успела еще сказать, чтобы соседке тоже не говорить о покупке. «Зачем ей знать? Одна зависть будет, и только».

Валя же хотела лишь одного: любимыми путями освободиться от этой опеки, которая становилась похожей на петлю, затягивали которую медленно и постепенно.

Ночью Валя вспомнила об одной женщине, которую видела у Симы. Та приходила к ним в гости и запомнилась Вале своим изяществом, хорошими манерами и низким голосом. Кто она и откуда, не знала, но решила сегодня же утром расспросить об этом Симочку.

Вышла на терраску развесить белье, потому что накрапывал дождь, и увидела соседку, которая сидела там же. Было два часа ночи, обеим не спалось, и Валя понимала, что и у Симы свое горе, своя боль на душе. Они не особенно делились своими переживаниями, у кого их в ту пору не было?! Но увидеть ночью Симу, да еще в полном одиночестве, а не в окружении женщин — было удивительно. А то, что Сима молчала, — удивляло вдвойне.

— Сим, ты что сидишь?

— Так вот, сижу, думаю.

— И о чем же ты думаешь?

— Не о чем, а о ком.

— Я и не спрашивала тебя никогда, неловко, хотя полгода прошло, а я ничего о тебе и не знаю.

— А что знать-то? Живу и живу. Хочешь спросить, откуда я? Да здесь, в Ташкенте и родились. И вот Альку своего родила, только муженька не удержала, ушел он. Хотя почему ушел? Он и не был моим, чужой он, только что отец Алика.

— Но он где, на фронте?

— На каком фронте! Сидит он, если не в штрафбат определили. Ничего не знаем, так, слышали кое-что. Все-таки поликлиника, место — сама знаешь какое. Все про всех все знают. Вот и про него говорили, что забрали его, что растраты делал. Нет, он не по бандитской части, не хулиган. Жизнь красивую любил, рояль мой — это от него. Кто-то чем-то раплачивался с ним. Так и поставили у меня. Знал, что я петь люблю.

— А где ж ты научилась? И играешь, и поешь ведь.

— Да где-где... В родном доме своем, у родителей. Семья нормальная была, даже зажиточная, музыке меня учили. А тут он встретился. Я совсем девчонка была, шестнадцати не было, как он появился.

— И что же?

— Да что? Недолгим было мое счастье. Но до сих пор помню. Никого кроме него у меня и не было больше. А как родителей схоронила, так и вовсе одна осталась. Алька только и спасает. Он у меня умный. Все

считает и считает, прямо счетовод. Но больше все какие-то огромные числа, я и не знала, что есть такие. С третьего класса только и считает.

— Я знаю, он и мне помогает, когда дело до математики доходит.

— Ты это... не обижайся, но Надька твоя... она же хитрая, втянет еще тебя куда...

— Да знаю. Сама хотела тебя спросить. Помнишь, Люся к тебе приходила? Она где-то то ли в театре, то ли...

— Вот именно. Но она не артистка, а в администрации, по кадрам. Тоже из нашего города, из хорошей семьи. Андижанские мы. Там тоже много русских и было, и есть.

— Я хотела уйти от Нади, бросить эти карточки. Все-таки театр — это мое. А Алексеевых просить не могу, и так много для меня, для нас сделали. Да и форму уже потеряла. Мне бы по бумажкам, я уж так насобачилась. Как бы мне к ней на работу, ты не знаешь?

— А чего не знать? Завтра и поговорим. А от тата-рочки своей беги, пока не поздно.

— Знаю. Сим, поговори. Хочешь, я чаю сделаю?

— Нет, спать пошли, завтра с утра к анкетам мне. Как без них-то? Вечером и скажу тебе все. Иди спи, а то Анята твоя тебя совсем избаловала: не пискнет ночью, спит милая.

Утром Валя, как обычно, отправилась на Первомайскую в свое бюро. Но что-то в ней окрепло за эту ночь, а может, и раньше еще. Словом, шла она спокойно, думая только о вечере, когда Сима скажет ей, что там у Люси.

День она торопила, как только могла. Все делала легко и быстро, что даже Надя удивилась ее настроению и связала это со вчерашней покупкой. Как же она ошибалась!

Вечером Валя бежала домой, едва переводя дух. Флора быстро засобиралась домой, и Валя постучала к Симе. Но дверь была заперта, и дома не было нико-

го. Алик, как обычно, все сидел в школе и бесконечно считал.

Валя расстроилась, но пошла к себе заниматься ребенком, готовить и ждать соседку. Каждые пять минут она выглядывала в окошко, не появилась ли Симочка, но уже становилось темно, сгустились сумерки, а соседка не возвращалась.

И только в первом часу ночи Валя услышала характерный скрип калитки на терраске и выскочила из комнаты. Она даже не могла сдержаться, чтобы потянуть время, дать Симе отдохнуть, так велико было ее нетерпение.

— Ждешь? — спросила Сима и села на маленький истертый диванчик, что стоял тут же, на террасе.

— Жду, как я жду, Симуля, — выдохнула Валя. — Ну, что? Говорила? Видела?

Симочка закурила «Беломорканал», вытянула ноги в тонких носочках, откинулась и сказала:

— Если Сима что обещает, то выполняет всегда, будьте спокойны. Можешь завтра не ходить к своим карточкам, а направляться напрямик к Люсе. Возьмет!

Это было счастье! Какое же это было счастье! Не надо будет видеть этих странных мужиков и баб, с которыми шепталась Надя, выписывать им несуществующие цифири и брать деньги. Главное — не надо будет брать деньги! Счастье! Она закружилась и сказала, что у нее есть спирт, еще с давних времен и что надо это отметить. Сима покачала головой, что означало «нет». Однако Валя принесла бутылочку, кое-что нарезала, разлила по рюмкам жидкость и предложила тост.

— Знаешь, за что? Не только за твою Люсю и за работу. За мое освобождение. Вот за это. — И она залпом осушила свою рюмочку, которую подарил ей Вася в ее день рождения. Рюмка была серебряная, на ней Вася попросил сделать надпись, которая никак не вязалась с только что налитой жидкостью. Там было написано: «Пей виноградный сок».

Сима простилась с Валей и, гордая и величествен-

ная от проделанной работы, пошла в свою комнатку. Так наступила ночь, которая поделила Валину жизнь в эвакуации на «до» и «после». И она очень надеялась на это «после», и очень ждала следующего дня.

Когда она ехала из своего центра в ту часть города, где был театр, в котором работала Люся, она задала сама себе вопрос, на который сразу и не смогла ответить. «Ты же сыта, няня есть, что еще надо в это страшное, непредсказуемое время?» Однако душа требовала, просила чего-то другого, связанного не с одними материальными радостями и сытой едой. И Валя знала, что это «что-то» она найдет только не у Нади. А там, где есть свет от другого. Не от денег. Свет какой-то иллюзии, чуда, в которое верить хочется всегда, а в военное время — тем более.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ВАЛЕНТИНА

*Он так и не понял, да и как он мог понять, что свет порождает свет, что преступать законы не следует, что истина всегда остается истиной? Откуда ему было это знать, если готов был на все, только бы вернуть прошлое, то, что ушло, что осело известковым налетом на всех его мыслях, на самой памяти? Ее, эту известку было не считать, не соскрести: так въелось! Он подумал, что самое время свести вообще все счеты и больше не думать, не мечтать, не оборачиваться к прошлому. Какая же страшная штука, эта память. Так и ковыряет, так и настаивает на своем присутствии. И что ей надо?! Один выход — это позабыть все и на этом поставить точку. Но даже самое крошечное прегрешение, самая малая заусеница греха всегда дает понять, что вот она, на страже, ждет!*

В далекое-предалекое время, когда город звался Ленинградом и все еще были живы, и была вера в безраздельное, бесконечно длящееся счастье, Валя любила мечтать. Она мечтала всегда, с самого раннего детства, не забросила это чудесное занятие и в институте, и когда участвовала в самодеятельности, и даже когда пришла в театр. Но главное — она мечтала и в войну, и это спасало ее от многого. Но и лишало характер чего-то такого, что было нужно и важно проявлять. Например, бойцовские качества, умение не поддаваться влиянию, особенно такому настырному, как у Надежды. Еще многое. Мир иллюзий, который был близок и привычен для Вали, в жизни, в ее реальном воплощении оказывался подчас тесным, и она мало что понимала, как быть, как обходиться с теми обстоятельствами, которые все накатываются и обступают со всех сторон. В мечтах, будучи оторванной от действительности, было куда проще и удобнее. А уж когда появился Василий, стало совсем хорошо, потому что именно он брал

на себя решение каких-то бытовых проблем, решал непременные в жизни заморочки, освобождая Ваю от ежедневного участия в самой жизни. Именно поэтому так трудно давалась ей ташкентская жизнь. В особенности первая осень, первая зима и весна без мужа. Она или полностью подчинялась Надежде Хусаиновне, или, наоборот, витала где-то в облаках, так и не умея ступить на землю и как-то начать приспособливаться. И впоследствии она никогда не приспособливалась: терпела, терпела, а потом принимала какое-то такое решение, которое и уводило ее от проблемы. То есть вроде и не решала вопрос, не устремлялась к сложностям, но здорово умела от них избавляться. Но не сразу.

Ее оба родителя были замечательными хирургами, пропадали на работе дни и почти ночи, и все воспитание на себя взяла бабушка, мать Веры Павловны. Она тоже была когда-то врачом, и родители не опасались, что с девочкой может что-то приключиться и бабушка растеряется. Нет, они полностью положились на бабу Соню, а сами исправно лечили граждан. Резали, бинтовали, а о девочке своей только мечтали и видели ее ночью, когда та уже спала, розовая и кудрявая.

Жили хотя и в достатке, но старались не баловать ребенка, все делать сообразно разуму и здравому смыслу. Все было в доме распределено на рациональные зоны, где каждому находилось место и каждый за что-то отвечал. Так, бабушка отвечала за хозяйство, за стирку-готовку, за чистоту в доме, за весь домашний уют и, конечно, за Валечку. А родители до какого-то времени считали, что так и должно, вероятно, быть. Сидит же человек дома, должен же он чем-то заниматься. Вот и грузили этого человека по полной программе.

Баба Соня, как и положено, исправно читала и более всего — сочиняла свои собственные сказки и каждый вечер рассказывала их девочке, тем самым еще больше закрепляя ее в ее стремлении видеть жить в ирреальных образах. Она и росла именно так, почти не осознавая, где проходит грань между настоящим, реальным и фантастическим. И ей больше нравилось

жить в сказке. Своих кукол она наряжала не в одежды, похожие на современные, а в причудливые одеяния, где каждому персонажу не только находилось место в больших ящиках, но и составлялась биография, и даже были семьи, и Валя точно знала, что это не просто Катя или Маша, но что перед ней принцесса Катерина с сестрой Марией и что они, к примеру, ждут из дальнего похода возвращения своего отца. У каждой был принц и одет он был тоже сообразно Валиным выдумкам.

Когда же она подросла, то школа стала настоящим испытанием. От нее требовали конкретного исполнения чего-то: урока, рассказа, изложения. А ей нравилось прибавлять что-то от себя, и рассказ становился весьма далеким от того, что был в учебнике. Даже в задачках по математике она умудрялась присоединить то еще какое-нибудь число, то лишний знак, то попросту убирала из условия какую-нибудь деталь, добавляя свою, от чего учителям становилось плохо. Они никак не могли взять в толк, что с этой девочкой происходит, отчего это она растет такой фантазеркой. И только одна учительница по русскому языку, Антонина Михайловна, всегда принимала то, что придумала и написала Валя. Она услышала, сумела разглядеть ее необычную природу и не сопротивлялась ей, а, напротив, всячески поощряла.

Так, однажды, в классе шестом или седьмом она дала задание написать небольшой рассказ по картинке, которую предложила. На ней была изображена часть веранды, залитая дождем, покосившийся столик, на котором стояла и не падала почему-то ваза с розами. Все дети так и написали, в основном перечисляя все подробности, фрагменты картины. Но только Валя придумала целую историю о том, кому принадлежал дом, кто в нем жил, где во время дождя находились хозяева и что это был за столик. Оказалось, что в доме находился всего-навсего один дедушка, все же остальные пошли в лес, там-то их и застал ливень, но все равно возвращались они по своей тропинке, ведущей к

крылечку радостные и наполненные увиденным в лесу. Он зачаровывал, как и их тропинка, и зрелище, что предстало перед ними в виде залитой дождем терраски и наклонившегося столика, который смастерил давным-давно их дедушка, так и оставшийся в доме. А цветы они успели нарвать еще до прогулки, и они не все облетели, а так, отдельные лепесточки. Именно поэтому пол веранды был так живописен: по нему разбросаны были отдельные веточки, нападавшие с деревьев, и розовые лепестки. Ваза же чудесным образом удержалась и не упала, почему-то удерживая равновесие и напоминая о саде, который был весь в цветах розового цвета.

Все ахнули не столько потому, что из трех атрибутов картины возник большой рассказ с биографией и житейскими подробностями, но еще и потому, что сама Валя не считала, что сделала нечто особенное. Напротив, она сказала, что может сочинить еще два или больше рассказов по этой картине и что в этом нет ничего необычного.

Фантазии захлестывали ее воображение, и со временем она стала слышать, что ее путь — напрямую или в артистки, или в писатели. Однако к классу десятому она точно знала, что пойдет не в театр, а на поле или в горы, где можно будет разыскать, увидеть то, что составляло когда-то для человека его смысл жизни, да и саму жизнь с ее подробностями домашнего обихода, но где непременно найдется и место для додумывания и составления такой живописной картины, где оживут в ее, Валином воображении, не только отдельные люди, но и целые города, и даже страны.

Так и был выбран геолого-разведочный факультет, в который она поступила на удивление легко, хотя и там требовались знания весьма конкретные. Но к тому времени Валя уже научилась разделять: что требуется конкретно кому-то, а что необходимо именно ей. Так, балансируя на грани выдумки и конкретных знаний о городах и странах, она покорила приемную комиссию тем, что начала рассказывать такие подробности, о

которых не все педагоги даже знали. Конечно, и здесь не обошлось без фантазий, однако на это махнули рукой и решили, что такой студентке прямое место в будущих экспедициях. Валю приняли, и она вскоре и там нашла для себя душевный выход: пошла в художественную самодеятельность и стала самой главной артисткой горного института той поры.

Она училась как-то странно: ходила не на все занятия, потому что пропадала в драмкружке, но даже то, что успевала прослушать на лекциях, входило в нее прочно и опять-таки с собственной интерпретацией. Без этого она не могла. Так и училась: зимой совмещая лекции и сцену, а летом тоже деля практику со студентами и постижение горных пород, почв с гастролями по области. Она с удовольствием в числе бригады самодеятельности ездила по клубам в колхозах, по деревням, повсюду, где только мог собраться народ, которому можно было рассказать стихи, сыграть сценки из разных пьес и просто подружиться. А на втором курсе на одной из репетиций она и увидела красивого юношу, которого и прежде иной раз встречала в коридорах института, но не особенно обращала на него внимания. Напротив, это она больше привыкла ко всеобщему вниманию и проявлению симпатий. Однако увидев, как он среагировал на ее чтение, она уже не могла не думать о нем. Узнала его имя и ждала, когда он снова появится в зале. И вышло, что их сближение уже было подготовлено и ее ожиданием, и его реакцией. Он был попросту сражен ее артистическими данными и увлекся сценой сам именно благодаря ей, Валентине.

Когда она решила выйти замуж, то не совсем точно понимала, что за этим стоит. Жить так, как ее родители, почти не бывая дома, очень не хотелось, вот Валя со временем и приняла совсем другой уклад жизни. Мечтала-то по-прежнему, но полюбила дом, все меньше отдавая внимания и времени драматическому искусству. А когда поняла, что станет мамой, и вовсе ее интересы стали все настойчивее группироваться вок-

руг мужа, дома, будущего. Вот о нем еще долго она мечтала и представляла себя если уж не принцессой, то по крайней мере самой лучшей, самой заботливой и красивой мамой Ленинграда. И, конечно, когда такая мечтательница оказалась в пожарище страшной трагедии, настигнувшей город, страну, их дом с Васей, она и растерялась, и потом уже не всегда могла противостоять испытаниям, дружбе, делам, которые искушали ее. Давала слабину, не умела порвать обременяющее общение, становилась зависимой.

Однако все это бывало до определенной поры. Как и в случае с Надей, которая так искусно заманила ее на работу, потом и вовсе одаривала или закабаляла, оставляя свой хрустальный скарб, который с войны привез ее Слава. В какое-то время то замечательное, что было в ее характере, что заложено было родителями, бабушкой, все же взошло, и она, Валентина, сумела порвать обременяющие отношения, хотя по жизни они и сохранялись еще долгие годы. Но уже совсем в другом качестве. Уже не так закабаленно и грубо. Уйдя на работу в театр, но не артисткой, она тем самым и проявила характер, и заняла нишу. И так и жила, с удовольствием делая свое дело.

В одно из первых свиданий с Васей, когда они только встретились в самодеятельности и потом чуть ли не всю ночь гуляли, он сказал ей, что так и знал, что встретит именно такую девушку.

— Как это? И почему ты мог знать?

— Чувствовал, вот так. Думал, правда, что случится это где-нибудь на последнем курсе, а оно вот как вышло. Главное — доучиться. Нет, главное — чтобы мы были вместе. Ведь так? Что скажешь?

— И доучиться, и быть вместе.

— А что главнее?

— Самое главное — это не перестать мечтать.

— Ты это любишь, я заметил.

— Как?

— Ну, еще на сцене, тебе режиссер говорит, а ты

будто и не слышишь его, плывешь где-то. И где это ты плаваешь все время?

— Я? Ой, я даже не знаю. Но правда, иногда мне кажется, что я только и делаю, что плаваю. То на море, то по небу. Приходи завтра к нам.

— А твои дома будут?

— Ну да, знакомиться.

— Ясно. — Вася пожегся. — А не страшно?

— Вот глупый! В горах не страшно, а домой прийти — ужас. Так, что ли?

— Не совсем. Прийти к родителям — это уже ответственность.

— Но ты же не боишься?

— Я? С чего ты взяла?

— Не бойся, руки просить не надо.

— Почему это?

— Так, они у меня умные.

— А, может, ко мне пойдем?

— Так не принято.

— У кого?

— У всех нормальных людей.

— А мы с тобой нормальные?

— Думаю, да.

— Тогда приду.

— Понимаешь, я не формального прихода хочу, а чтобы...

— Чтобы на белом коне?

— Почти.

— Ладно, будет тебе конь. Но учти, приду просить твоей руки.

— Но ты еще у меня ее не попросил.

— Да зачем руки, да еще у тебя? Вот она, я ее держу, крепко, надо сказать, держу.

— А удержишь?

— На всю жизнь удержу.

— Честно?

— Я никогда не вру.

— И я.

— Вот и не станем. Так и будем жить. Распишемся и будем.

— А фата?

— Будет тебе фата.

После этого разговора и знакомства с родителями Вася исчез. Его не было видно ни в институте, ни в коридорах его, ни в драмкружке, куда его приняли с великой радостью. Пропал. Так продолжалось почти десять дней. А когда однажды утром печальная и похудевшая Валя вышла из своего подъезда и увидела не менее исхудавшего Василия, то остановилась и не смогла проронить ни слова. Он сам подошел, держа в руках пакет.

— Что это? — спросила девушка.

— Фата, ты же хотела.

— Так ты?..

— Ага, на станции. Но только не в Ленинграде, а подальше. Но это не важно. Держи.

И он обнял, впервые сильно обнял свою Валю и сказал, что через два дня у них свадьба. И что он заработал. Она заплакала от счастья, но на все согласилась и действительно, через два дня, под субботу, была самая настоящая свадьба. Купили все быстро, без всяких подготовок, машин. Просто все пришли, сели, друзья и родители и стали праздновать свадьбу своих детей и друзей. И конечно, кричать «горько». Как без этого?!

Потом было то, что все называют странным словом «счастье». Только она не совсем понимала, что так оно и было и что именно счастье сопровождало ее, их совместную жизнь. Всегда, где бы они не находились, в Ленинграде, в разлуке, в азиатском далеком городе, — везде. Просто, наверное, это был тот редкий случай, когда люди совершенно, ну просто-таки до капельки совпали и не надо было ссориться, чего-то там выяснять, жить в непонимании. Нет, такого не было, и это воистину было счастьем. Причем Валя воспринимала все повороты судьбы не просто с каким-то таким смирением, а потому что другого на тот момент жизнь, судьба не преподносили. Так было с переменами в театре, когда из-за

рождения дочери она оставила театр, так случилось, когда они какое-то время жили у Алексеевых и потом муж ушел на фронт. Так было и в соседстве с Серафимой, соседкой и в дальнейшей ее работе. Не было бунта? Что это было? Действительно смирение, покорность или что-то другое? Скорей всего, она просто принимала то, что в такой-то момент становилось перед ней как данность, как очевидная истина. И она шла к ней. Вот только с Надей ей многое в себе не нравилось. Но вот же, сумела освободиться, уйти!

Когда она шла по улице Карла Маркса, а потом садилась в троллейбус, чтобы ехать на Шайхантаур, в другую, не центральную часть города, она точно знала, что сумела освободиться от прежнего: опеки, недоговоренностей, странных вещей, которые нужно было сохранять. Сумела! И была уверена, как давно, еще тогда, в горном институте, что она все сможет. В особенности на сцене.

Так она впервые увидела Люсю, работавшую в театре, который занимался в основном концертной деятельностью, гастролями. То есть это был не драмтеатр, но особенный организм с приглашенными артистами, подвижной труппой, знаменитостями. Такой театр эстрады, где все менялось слишком быстро, чтобы можно было удержать, проанализировать происходящее. Сменяемость людей, афиш, действия — вот что составляло его особенность. Это не сразу поняла Валя, да она толком и не знала, что это за театр такой, но приняла его, а потом и полюбила.

Люся, высокая худощавая женщина с кудряшками, была прямой противоположностью Надежде Хусаиновне. Она тут же предложила Вале сходить в обед вместе в столовую и поговорить еще там. Дальше она спросила Валю о ее жизни, что и когда заканчивала и что умеет и — главное — хочет делать. Только после этого сообщила, что у нее есть должность, но официально она называется очень неинтересно — инспектор по кадрам. А на самом деле в театр нужен человек, который смог бы общаться с приезжими знаменитос-

тями, а также с местными артистами. Было бы хорошо приобщиться к знанию нравов и обычаев, культуры края и выучить язык. «А вообще работа интересная, просто у самой не все получается, времени не хватает. А у тебя, мне кажется, получится. У меня глаз наметанный. Тебе сколько лет, двадцать шесть?» Валя кивнула, подивившись такой прозорливости и в свою очередь собралась спросить Люсю о возрасте, но та ее опередила и сказала, что ей на пять лет больше. Еще она поведала, что прибыла с матерью из Андижана, что у нее есть комната на Пушкинской улице и что они, скорей всего, подружатся.

Валя вся светилась от такого поворота событий. Люся понравилась ей сразу. Своей открытостью и одновременно строгостью, какой-то выраженной деловитостью и четкостью суждений. Она увидела комнату, в которой сидела Люся и в которой предстояло работать и ей, и тоже осталась довольна.

За обедом, когда они пошли в соседнее здание, где кормили работников театра и многих других сотрудников других зданий, Люся сообщила, что у нее есть сын, Юрка, очень красивый и смышленный мальчишка, и ему семь лет. Валя тоже разоткровенничалась. Она и не собиралась скрывать, что у нее есть девочка, и оставлять ее вскоре будет не с кем.

— Это мы решим, — сказала Люся и добавила, что есть на примете девушка. Очень хорошая и добрая, в положении, но на месяцев семь можно будет не беспокоиться о ребенке, она посидит.

— А вообще-то нет. Я поговорю с мамой. Если с Юркой сидит, то почему и твою не взять? А через пару месяцев сын уже в школу пойдет, так что маме будет легче.

— Ой, сразу сколько хлопот со мной! Может, в ясли ее отдать?

— Нет, без яслей обойдемся. Там болеть начнет. Не время, рано. Муж пишет?

— Было два письма, но вот уже третий месяц ничего.

— Будет, у меня тоже так. Только дольше, уже полгода — ничего. Ты меня на «ты» называй, так удобнее. Ну вот, кажется, договорились.

— А вы... ты придешь к Симе? Ко мне заходи.

— Я к тебе специально приду, даже если Симы и дома не будет. Обязательно приду. Может, прямо завтра.

— А сегодня?

Люся засмеялась, да так звонко и заразительно, что Валя удивилась: надо же, муж на фронте, тоже не все благополучно, а она вон какая сильная, смеется как!

— Ты тоже смейся, смеяться надо, без этого пропадем. Поняла?

Валя кивнула, и на душе разлилось что-то такое теплое и обволакивающее, что захотелось делать все и даже больше: класть кирпичи, красить заборы, общаться с местными артистами и зазывать приезжих. И даже засесть за язык!

Люся заметила, что девушка радуется такому повороту событий и еще подлила то ли киселя, то ли просто чего-то сладкого, трудно сказать.

— Язык я выучила за три месяца, надо просто не дома сидеть, а с людьми разговаривать, общаться. Видеть в каждом человека. Поняла?

Это слово, как стало ясно потом, было ею особенно любимо. Она таким образом проверяла и силу сказанного ею самой. И себя проверяла, и как до собеседника дошло все, что ей хотелось. Очень она понравилась Вале, и она решила, что вот подруга ей на всю жизнь!

Домой она шла по своей Карла Маркса и впервые за долгое-долгое время у нее на душе было тихо и безветренно. Спокойно, словом. Она рассматривала привычные места с таким восхищением и любопытством, что сама в какой-то момент подумал: «Надо же, столько месяцев проходила как в тумане, ничего не видела!» А тут надо было подняться на маленькую горочку, как раз на пересечении с улицей Хорезмской, где начинались огромные дубы. Их было четыре, и занимали они почти весь остаток улицы вплоть до Первомайской. Еще приметой этого участка дороги домой были два дома.

Каждый словно опоясывали круглые ступеньки, а потом начиналась веранда или что-то похожее на нее. И только после этого дверь и звонок. Там жил доктор Слоним, его все знали и знали, что у них очень много родственников и что все жили вместе и дружно. А не доходя до дома Слонимов стоял за забором и без всяких ступенек еще один совсем таинственный дом, где жил академик, с сыном которого впоследствии училась дочка Валентины Аня. К ним не приходили гости — так, по крайней мере, всем жителям казалось. Они вели закрытый от чужих глаз образ жизни. И даже мальчишка этот, которого, кажется, звали Улутбеком, был маленького роста, в очках, страшно ехидный и насмешливый. Потом, после этих двух знаменитых домов располагался обыкновенный двор, в котором много позже открылось ателье, где шили все подряд, включая пальто, и где дочке Вали тоже многими годами позже справили серого цвета пальто.

Эти два объекта на одной улице, под одними и теми же деревьями так контрастировали друг с другом, что создавалось полное ощущение того, что в этом городе и правда все перемешано: изысканность и простота, неряшливость и вполне пристойное окружение. Причем всего, чего бы это ни касалось: одежды, убранства улиц, их чистоты и полноты (без этого было никак нельзя, все улицы города к вечеру поливались жителями. Просто ведрами черпали из арыков воду, стоя поперек этих арыков и поливали), базаров, конечно. Как без них? Без них никак. Это была главная достопримечательность города, прибежище сытости и относительного благополучия.

Валя шла и видела вековые дубы словно в первый раз, а ведь частенько проходила мимо. Но так, будто и не видя красоты, шла, так погружена была в свои мысли, которые настойчиво сводились к одной: почему нет писем от Васи, что делать с Надей и как вообще жить.

И вот впервые за долгое-долгое время засветил какой-то лучик: ей показалось, что все еще может нала-

диться, вот и вести с фронта, и рассказы вернувшихся говорили о переломе, о том, что война не затянется надолго.

Да, это было заблуждением, и она длилась и длилась, но все же! Все же была надежда на скорое избавление от страшной напасти. И трудно было сказать, где они с Васей окажутся, здесь ли останутся, вернутся ли к себе — это все было не самым главным. Главное заключалось в том, чтобы знать, твердо знать: Вася непременно возвратится. Никуда он не денется, и ничего с ним не случится. Да, очень хотелось, чтобы было именно так!

Когда она подошла к своим воротам на уже любимой улице, то снова глянула по сторонам и с волнением обнаружила, что дерево, мимо которого ходила столько времени, разрослось еще больше и выдавалось своими уступами, которые годились в качестве маленьких скамеечек. Да на них и правда сидели дети, только все это проходило словно сквозь саму Валю, не касаясь и не задевая ее. Ну не видела она этого, и все! А, оказывается, прямо под боком столько красот! Она подошла к дереву, названия которого не знала и только вспомнила, что в институте на курсе географии рассказывали им про баобаба. Чем-то оно его и напоминало, этот самый баобаба. Такое же неохватное, развесистое, но все же не африканское, а свое, почти русское, только на узбекской земле.

«Вообще-то узбеки добрые, — пронеслось в голове. — И чего они так нас любят? Привыкли что ли? Не различают, русский, их, местный ли, все равно им. Продают одинаково, не скупятся. Что за народ?! Всегда бы так было!» Так думала Валя, еще не догадываясь, не предполагая, что когда-нибудь и впрямь могут настать другие времена и что изменится отношение к русскому брату и что не все станет так безоблачно. Жаль.

Жаль, что не удастся удержать тот великолепный климат человеческих взаимоотношений, так любовно накрывший людей в ту пору. Да и еще много дольше.

Нет, не все удалось удержать. Но это снова потом, не теперь.

А теперь во дворе по-прежнему кто-то кухарил, жарил, кто-то слишком громко общался, переходя едва ли не на крик, кто-то сидел тихо возле своего садика на стульчике. Лавочек, как в России, не было во дворе, не принято было. Каждый выносил что-то вроде стульчика или табуреточки. Вот они-то и были в ходу больше всего. И у Вали была такая же, оставленная Симочкой. И Валя все думала, что когда-нибудь придет ее дорогой Вася и непременно смастерит такую же. Но уже свою.

Сима была уже дома и ждала, что скажет соседка. Однако первая разговор не начинала. Напротив, взяла папиросочку, раскурила, села на свою кушеточку и спросила:

— Чай будешь? Чай али нечай? — Это Сима любила иной раз пошутить. — Твоя-то сегодня первый зубик показала. Вот так-то, мамаша. А тебя все где-то носит. Когда ребенком займешься?

— Симочка, я сегодня такая счастливая, что хоть в театре играй, хоть в экспедицию собирайся. Счастливая, понимаешь?

— И кто ж тебя так осчастливил?

— Жизнь! — завопила Валя. — А может быть, ты. Да еще твоя Люся.

— Неужто понравилась?

— Очень, Симочка, очень. Даже не знаю, как тебя благодарить.

— Ой, отстань, да не тискай ты меня, артистка из погорелого театра. Скажи лучше, машеву кашу будешь? Кашу-машу?

— А как же, я все, все-все буду. Давай.

— Ты сегодня особенно кудрявая. А не остричь ли нам тебя? Как считаешь?

— А что? Вполне даже, сейчас это модно.

— Дуреха, модно. Не смей! Волосы не смей никогда резать. Пока... пока Вася твой не отыщется. Тогда можешь хоть на лысенькую.

— Согласна. А каша у тебя — ну чудо. Ой, не Нюрочка ли? Нет, кажется. Спит. Как тебе кажется, она спокойная вообще?

— Вообще. Все тебе — вообще. Она у тебя под стать фамилии вашенской — Кремнева. Или Кремнёва, так, что ли?

— Так, именно так — Кремнёва. Кремень, одним словом.

— Это правильно, так надо. Время, сама знаешь. Иди уже, иди к своей Нюрочке. А потом снова выходи, посидим. Подышим.

— Ладно, пошла я.

Нюрочка, Аня стала смыслом жизни. Но вот времени, которое могло быть отдано ей и только ей, не хватало хронически. Вечером, когда она возвращалась из своего карточного бюро, успевала только погулять около дома, да иногда сходить в соседний парк. Но вечерами там было очень неудобно, поэтому приходилось довольствоваться прогулками возле своих окон. Одно из них выходило на Карла Маркса, и мама Валя все показывала дочке, где они живут, надеялась, запомнит.

Когда же наступал совсем-совсем вечер и приходила пора ложиться спать, Валя укладывала девочку, и это из всего дня были самые счастливые минуты. Аня, правда, росла не капризной, без причины не плакала, не тревожила болезнями. Постепенно стали вылезать зубки, они и чесались, и болели, но и в этом случае дочка терпела. Даже иногда удивляла Валу своим не детским мужеством. Она иной раз думала, что фамилия не зря дается человеку. Вот и здесь — Кремнёва, не просто так. Стало быть, сильная, не болтушка.

Потом уже, когда совсем наступала ночь и девочка спала, Валя вынимала картонную коробочку, завернутую в платочек и доставала оттуда колечко с синим-пресиним камушком, который назывался сапфиром. Долго его разглядывала, вздыхала и снова прятала. И начинала вспоминать. Больше всего она любила вспоминать Васю, их первые встречи, институт, самостоятельность, сам город. Как же она любила Ленинград!

И только и думала, что, наверное, ей уже не вернуться туда, что война и приезд в азиатский город — это на-долго.

Но и этот город Валя действительно полюбила. Пусть и злая эта Надька со своим поляком была, но все же помогла в какой-то период. Понятное дело, что ей самой так было надо в первую очередь, а тут Валя попалась, наивная и доверчивая и кем можно было легко управлять. Так какое-то время и просуществовали вместе. Да еще и долгие годы, но уже Валя не была забитой и покладистой, плечики распрямила, стала самостоятельной, в себя поверила.

И, конечно же, Алексеевы. Это была настоящая отдушина. В любой свободный день или часть его Валя напрашивалась к ним, а частенько они и сами заходили и всегда звали ее к себе. И было это очень искренне, тем более что они все больше привязывались к Ане, дарили подарки, приносили гостинцы.

И еще Симочка. Тоже все-таки нескучно. Рядом жили, бывало и ночами можно было посидеть, поговорить, повспоминать. Сима мастерски умела рассказывать и все наставляла Валюшу, чтобы от профессии не удалялась. Поэтому и с Люсей охотно познакомилась.

Валя стала работать в филармонии, где заведовала кадрами ее новая приятельница. И так втянулась в это дело, что никакой театр не стал нужен. И не какой-нибудь месяц-год провела там, а несколько лет, уже и после войны. Встречи с интересными артистами, которые приезжали в Ташкент, сама работа, живая и деятельная, была как раз по характеру Валентине. Это у Нади она все больше чахла, а тут развернулась. Дела шли, Люся, весь коллектив, все гастролеры были ею довольны, и все было бы хорошо, если бы не молчание Васи.

Шел месяц за месяцем, уже стали поговаривать, что главный перелом в военных действиях уже случился, что война пошла на убыль и что нужно только потерпеть. А писем все не было и не было. А шел одна тысяча девятьсот сорок четвертый год.

Однажды вечером, когда она возвращалась из своей филармонии и по излюбленной своей привычке шла по улице, а не ехала на трамвае, что-то кольнуло в сердце и она остановилась около своего окна. Но видно ничего не было, и Валя пошла к воротам. И снова что-то екнуло, и она уже очень быстро, почти бегом пробралась по двору, через все знакомые арычки, палисадники, горочки и — к своей калитке. Та была не заперта, что тоже показалось Вале странным. Когда она зашла на терраску, то увидела... нет, она увидела то, что даже сердце ее не сразу поняло и откликнулось. Прямо перед ней, на ее маленькой терраске, где стоял стол и шкафчик и еще Симочкина кушетка, так вот, на ней сидела сама Симочка, которая разговаривала с... Васи-лием. От неожиданности что-то сжалось в груди, снова подпрыгнуло сердце, и Валя опустилась на ступеньку, которая была возле терраски. Вася обернулся, понял все, подбежал, схватил жену на руки и, повертев головой, в дом не понес, а положил тут же, на кушетке. Симочка встала, побежала за водой, принесла что-то пахучее, от чего открылись глаза и было понятно, что нет, это вовсе не сон. Перед ней и правда стоял Вася, ее муж, который был бледен, что-то говорил, но вот что Валя пока разобрать не могла. Она смотрела на мужа, и ей казалось, что он слышит, просто не может не слышать то, что делалось у нее внутри, как беснуется ее сердце и как много-много слов выливаются потоком из груди. Но, судя по всему, ничего Вася не слышал, а только вместе с Симой хлопотал над потерявшей сознание женой и приводил ее в чувство.

Слезы полились сами собой, и она только проводила рукой по его лицу и так и не могла заговорить. И лишь спустя время спросила: «Это ты? Это правда?» Сима засмеялась и сказала, что еще какая правда и что Вася уже сидит-ждет целых три часа. Что он успел поесть, поиграть с дочкой и даже немного вздремнуть.

— Выспаться ему нужно, вот что, — подытожила

Сима. — Все, приходи в себя, будем ужинать. Я успела на Алайский сбегать, и плов вот-вот будет готов.

Валя приподнялась, опершись на локоть и обняла одной рукой мужа. Затем поднялась, оправила платье и прижалась к нему, и так стояла долго, пока Сима снова не призвала к порядку.

Потом был плов, водка, которую вытащила опять-таки тетя Сима, а потом наступила ночь, принеся освобождение. Его оба так долго ждали. Вася рассказывать начал много позже и то весьма скупо и неохотно. Он все больше смотрел на жену и спрашивал, как она.

— А письма, почему их не было?

— И не могло быть, вряд ли из того пекла, где я был, они бы дошли. Но и известить — тоже не мог. Надеюсь, поймешь, дождешься.

— Скоро-то все закончится? Мы тут чего только не слышим. Кто говорит, что все знали, ну, там, из правительства, что просто не поверили и что даже так надо было...

— Ты не особенно доверяйся слухам. Мало ли что болтать будут еще долго. Война пришла, надо было действовать. Вот и сражались. Сначала — как могли, потом уже по уму.

— Это как?

— Ну, с планами, анализом, расчетами.

— Почему же люди не были готовы?

— Так бывает. В истории бывает. Но теперь все идет как надо. Уверяю тебя, скоро все закончится.

— Когда?

— Ну, числа не знаю, но еще полгодика, не больше.

— Ты молчишь, и я не знаю, ты... тебя почему отпустили? Навсегда или как?

— А ты что же, шрам мой не заметила?

— Я все заметила. Только смолчала. Боялась спросить.

— Ну вот, два месяца в госпитале проболтался, так и отпустили.

— Страшно там?

— По-всякому. А бывало, что и не страшно. Спи, завтра тебе снова на работу, а я с Алексеевыми договорился, в театр пойду. Пора. Пора к другой жизни приобщаться.

— Так ты и у них уже побывал?

— Ну, конечно, а кто ж мне подсказал, где тебя искать? Они! В театре меня ждут, так Дима и сказал.

И действительно, Василий снова устроился в театр, его взяли с удовольствием, и семья постепенно приходила к пониманию того, что мир вот-вот настанет и что не надо будет ждать страшных сообщений с фронта. Валя рассказала, что от родителей, которые эвакуацию прожили в Куйбышеве, она изредка получала письма, и что им тоже было тяжело, хотя писали они об этом весьма скупо. Жить далеко от войны еще не значило защиту от трудностей, ожидания скурых вестей и неясности. На войне ее было больше, наверное, этой ясности и определенности. Но пока приходилось в глубоком тылу поспевать за тем, что для всех людей превратилось в испытание. Для кого — чем: любовью, умением ждать и терпением, осознанием чувства долга и преданностью, да и попросту новым, ранее не так остро понимаемым чувством беззаветной любви к Родине. Это было для многих действительно чем-то новым. И люди по-новому оценивали это чувство в себе, чаще всего молча принимая его неожиданные, такие острые проявления.

Жили, работали и... ждали. Ждали конца, который становился все ближе и ближе и наконец наступил. И только тогда все, даже в далеком Ташкенте, вздохнули свободно и задышали, заработали так, как никогда прежде. И полюбили не одних только ближних, но совсем чужих и незнакомых, и стали совершенно братским сообществом, городом, где не было страшно, где цвели бульданежи и даже майское солнце пропекало так, что День Победы был жарким во всех отношениях.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ДЕТСТВО

*Гадалка сказала, что жизнь будет длинной, но со счастьем будут проблемы. И то, что окажется совсем рядом, может остаться незамеченным. И еще, что надо остерегаться воды. Боже мой, а он от нее не отходит, его так и тянет к ней словно магнитом. И именно рядом с ней он находит успокоение и согласие с собой. Так, оставаясь один на один с ее поверхностью и будучи поглощен ею, он все сильнее осознавал, как непереносимо одиночество. И виной всему то окно, за которое он так и не мог проникнуть. И занавеска никогда не шевеллась, и только однажды вышел оттуда легкой походкой человек, поправил волосы и куда-то отправился. Это была женщина.*

Уже несколько лет девочка Аня, родившаяся в Ленинграде и всю войну проведшая в Ташкенте, не ходила в детский сад, не ела пирожных, не знала, что такое настоящие конфеты, три года из своего детства не видела папы и помнила из детства только текинский ковер с бордовыми фигурами, по которому еще в родном городе выхаживал ее отец и который благополучно переехал и в Азию. Где, собственно, и родился. Она не знала, что такое шумные детские праздники, поездки на летние месяцы с детским садом на отдых, ей не удалось поносить белые носочки и красивые сандалики, и что такое надувные шары — она тоже не знала. Зато она могла свистеть в свистульки, которые мама иногда приносила с базара, и часто играла разноцветными бумажными складными фигурками, которые раскладывались в виде веера и закрывались, становясь какой-нибудь образом. И еще была любимая игрушка — заяц с одним ухом. Точно уже никто не знал, куда и когда подевалось второе, но такого, одноухого, она любила еще больше.

Ощущения отнятого, неполного детства не осталось, как не осталось претензий к родителям, что они чего-

то не доделали, не докупили, чего-то лишили. Была подруга Любочка, жившая по соседству, были другие дети, с которыми было замечательно, весело и хорошо. И что такое война, понималось плохо, скорее всего, это слово связывалось с тем, что нет пока папы и что он вернется, как только эта война закончится.

А радости были, и их было не так уж мало. Дети всегда отыщут что-то веселое в самом обычном и будничном. И это спасает детство от многого, что во взрослой жизни становится непреодолимым и грозным. Дети играют, воспитывают и наряжают кукол, где-то достают мяч или то, что им было когда-то, наряжаются в мамини одежды, рисуют себе то угольками, то известкой все, что придется, но все атрибуты обычной, мирной жизни, все, что ей соответствует и что характерно для мира, так или иначе присутствовало и в те годы, в военные. Были походы с мамой на базар, когда покупалась неизменная лепешка, когда кусочек сахара навата желтого цвета был слаще самой дорогой конфеты. А летом и осенью наступала пора фруктов, так же благоухал виноград и дыни были такими же сочными, как и в самое мирное время.

Другое дело, что отношение, внутреннее осознание того, что происходит это все не по-настоящему, что ли, что за каждым воротами и каждым садиком таится чья-то боль и беда, что большинство жителей молодого возраста, русских и узбеков, покинули город и на базаре остались одни лишь старики, а на улице женщин и детей больше, чем молодых людей в тубетейках и рубашках, — все это накладывало свой неповторимый отпечаток на сами отношения, на то, что исподволь присутствовало в городском укладе, отражалось на быте каждой семьи, касалось каждого разумного человека.

Слава богу, война закончилась и детство продолжалось, и даже удалось один год пробыть в детском саду, где было просто замечательно. Аня, привыкшая к опеке бабушки Влади, мамы тети Люси, стала за свои пять лет совсем взрослой и садик восприняла тоже по-взрос-

лому. Раз маме так удобнее, лучше, раз оба они с папой так решили — значит так и правда хорошо. Это не значит, что Аня совсем уж не капризничала, нет. Она могла и поплакать, и посопротивляться каким-то родительским требованиям. Но беспричинно капризничать и топтать ногами — это было не про нее.

Однажды она очень хотела остаться дома и просила, чтобы и мама не ходила на работу. Ну так хотела, что даже расплакалась. И что с ней стряслось, трудно сказать. Но мама нашлась:

— Вот ты плачешь, я на работу уже опоздала, а меня там дядя Саша ждет, он у нас петь будет, знаменитый артист. И ты же еще запросишься на него посмотреть, послушать. Правда же?

— А когда? — вытирая слезы, спросила Аня.

— Когда? Да скоро, завтра и будет петь. Пойдем? Все вместе?

Аня утерла нос, шмыгнула и протянула руку, готовая идти в свой сад. А дорога снова была по Карла Маркса, затем пересекала Первомайскую, потом Хорезмскую и спускалась под горку. В последнее время, когда уже была пройдена последняя дорога (так тогда в Ташкенте называли проезжую часть), можно было помахать рукой и бежать до садика самостоятельно, без мамы. А это было прилично, почти полквартиры. Эту часть утренней прогулки Аня особенно любила: она чувствовала себя самостоятельной и впоследствии, уже во взрослой жизни, множество раз вспоминала свой путь до калиточки детского сада. Тогда она казалась себе взрослой и умеющей все-все, ну или почти все!

Наверное, именно война, да и что-то внутри самой девочки сформировали ее характер таким образом, что уже в детстве чувствовалось, что она станет сильным человеком.

А радости? — да сколько угодно. Например, на зиму всем семьям привозили уголь, которым в ту пору топили печи. Голландки они назывались. Круглые, у всех почти одинаковые. И уголь свозили каждой семье в свое условленное место, да и не в один день всем под-

ряд. Клеймёновым сгружали в самом центре двора, около мусорки, где до их кладовочки было совсем недалеко. В кладовку можно было попасть, только миная калитку Васильевых, трех сестер, которых сторожил огромный, непрестанно лающий пес. Их не любили, как и их собаку. Все они были страшно злые. И мимо них и надо было пробираться в свою кладовку. Странная такая конфигурация на местности.

Да и само помещение кладовки было не менее грозным, чем семья Васильевых. Там содержался всякий хлам, что-то висело по стенкам, впечатление было ужасающим. Словом, страшно там было, темно и страшно. Вот туда-то и сгружали уголь. Таскали все — так было принято. А потом, через день-другой все работали на Вовчика, на Любочку. И почему-то для всех детей это была страшная радость. Взрослые суетились, были возбуждены и даже встревожены всеми хлопотами, и только дети были совершенно счастливы от таких забот.

Печь топилась не только зимой, но и тогда, когда Аню предстояло мыть. Это был целый ритуал. Сначала затапливали, затем сдвигали табуретки, чтобы поставить на них ванночку, наготовавливали воды и только потом приступали к собственно мытью. При этой процедуре всегда присутствовала тетя Сима, потому что одной маме было не справиться с кувшинами, тазами, полотенцами и обливанием.

Папа, как правило, был в театре, и соседка сопровождала это радостное действие своими неизменными шуточками и поговорками. Аня страшно любила и даже ждала помывку еще и потому, что уж тут можно было вволю побаловаться и накричаться. Она вопила что-то вроде странной песни, с мотивом, но слова которой стройными и зарифмованными назвать было трудно. Как песнь акына была ее музыка: она, смеясь, пела про все, что видела перед собой и кого видела. Например, она вопила: «Симуля, кошечка, дорогая брошечка, приди, мой цветочек, укрась меня платочек. Спи, мой мышонок, куда побежал, голышонок? Зайчики белые со-

нечки, где ваши зонтички, отчего вы не ели кашку, а пили одну только бражку? Симуля, забери меня на работу, я живу в субботу, хожу по роялю, всем галкам подпеваю». Песня была бесконечная и про все на свете, что так или иначе попадало в поле зрения Анечки: соседка, игрушки, звуки какие-то и весь белый свет.

В тот год было замечательно. Единственное, чего не любила Аня, это манную кашу и кисель. Еще, правда, суп с клецками. Но это с тех самых пор, когда с едой дома было не очень и приходилось и маме, и тете Владе придумывать нечто такое, что разнообразило бы меню. И именно тогда возникло у Анечки стойкое отвращение к этим самым клецкам. Она думала даже, что когда вырастет, ни за что не станет варить подобный суп, а уж есть его — тем более.

И вот в саду проблемы если и были, то только с этими блюдами. Все дети порой уже уходили на дневной сон, а Аня сидела, о чем-то мечтала и перед ней все стоял нетронутый стакан с киселем. Однако воспитатели были не под стать нынешним, и обстановка очень напоминала домашнюю. Если ребенок чего-то не любил или даже капризничал, с ним разговаривали. Вот что было важно! Говорили, объясняли, но не кричали и не принуждали.

Так, однажды, просидев какое-то время и заметив, что уже приближается Лидия Григорьевна, Аня решила, что скажет всю горькую правду про этот кисель. Но не успела, потому что воспитательница заговорила совсем про другое, а не про остатки тягучего напитка, что остались в стакане. Она сказала, что скоро утренник и она знает, как Аня хорошо читает стихи, и что стоит подготовиться и что-то прочитать.

— А я тебе помогу. Будем репетировать. Ты же знаешь, что такое репетиция? Дома твой папа учит роли?

Хорошо, что Анечка не ела в этот момент, а то бы точно подавилась. Ей — целую роль? Ну или почти роль.

— А какое стихотворение? Мой папа сейчас как раз репетирует роль со стихами.

— Да нет, мы возьмем, пожалуй, что-то другое, не папино. Ты слышала о Пушкине, был такой великий поэт?

— Да, мама читала сказку о рыбаке и рыбке.

— Так вот, есть у него и еще одна сказка, о Людмиле, так и называется «Руслан и Людмила». Я даже отрывочек оттуда присмотрела. Сегодня после сна читаем. Это — поэма. Почти то же, что и сказка, но смысл там посерьезней, ты поймешь, когда услышишь.

— Я понимаю. Сказка — это когда есть добрый и есть злой. Ну там, Кашей или Горыныч.

— Вот именно. А в поэме все значительно труднее, но смысл будет понятен и тебе, и всем детям. Ты вот любишь смотреться в зеркало?

— Не очень.

— А почему?

— Не знаю, что там интересного? Я же знаю, что я есть, и что у меня две косички, и что я худая, и мама даже переживает, что я такая худая.

— Вот, правильно. А ты даже кисель не хочешь пить. А он очень полезный. Ты попробуй.

Аня помедлила, потом поднесла стакан к губам и неожиданно залпом выпила все содержимое. Обтерла рот и не ужаснулась, наоборот, сказала, что не так уж и противно.

— Молодец, представляешь, как обрадуется мама?

— Представляю. Я теперь всегда его буду пить.

— Здорово. Может быть, ты и кашу начнешь есть. Уверю тебя, это совсем не противно.

— Я попробую.

Аня еще подумала, что интересно, наверное, совершить какой-нибудь подвиг, например, так, как ее любимый герой, сражающийся со Змеем Горынычем, и так, как папа, который добыл и привез своей доченьке аленький цветочек. Это хотя и сказки, но мама говорила, что там написана самая настоящая правда, только без змеев и чудищ. А когда есть люди, то все правда. Точно, утром завтра надо эту кашу будет попробовать.

И действительно, на следующее утро и потом уже почти каждый день Аня стала есть кашу, приучая себя к мысли, что это не самое противное на свете дело, есть и похуже. Например, когда мама и папа надолго задерживаются на своей работе, и приходится самой (ну, конечно, при помощи тети Симы) ложиться спать. А так хочется сказать «спокойной ночи», обнять их и быть с ними как можно дольше. Но и здесь она понимала, что значит так надо и с этим ничего не поделаешь.

Самые счастливые времена были, когда можно было вместе пойти в театр к папе или хотя бы просто прогуляться по улице. Тогда вместе с ними прогуливалась сказка — так здорово было придумывать разные истории, на которые все семейство было гораздо. У них в ходу была такая придумка, так они называли свои волшебные истории. Если мама хотела чего-то добиться и Ане это не совсем нравилось, мама тут же парировала: «Но это же не самая волшебная кукла (или улица, по которой предстояло идти, или игра, или платице), которую ты бы хотела. А вот самую настоящую волшебную мы тебе купим непременно, правда, Вася?» И Аня в скором времени соглашалась, что если потерпеть, то действительно окажется, что купленная попозже кукла, а еще лучше — сделанная и сшитая тетей Симой с мамой вместе, — действительно самая красивая. И что если идти по любимой Карла Маркса, а потом свернуть на Хорезмскую, совсем необязательно затем идти по Пушкинской, а можно дойти до сквера и не сворачивая с Карла Маркса. И именно так добирались они до тети Люси, которая жила на Пушкинской, если хотели маршрут свой сделать вполне волшебным, то есть попросту делали крюк, чтобы подольше прогуляться.

Мамина подруга, тетя Люся, с которой они вместе работали, стала самой любимой тетей Люсей и для Ани. Наиболее замечательный маршрут был именно по Пушкинской, на которой и жила Людмила Петровна Данилова со своим сыном Юркой, который был старше Ани на целых семь лет и уже учился в школе. Гово-

рили, что он страшный шалопай, но значение этого слова было Ане неизвестно, и она воспринимала парня как просто красивого молодого человека, который еще к тому же знал многих артистов, да и сам был очень похож на артиста. Или будущего артиста. Он доставлял Люсе немало хлопот, но умел так ловко и так играючи обвести ее вокруг проблем, что даже злиться на него было невозможно. Например, двойки, которые в изобилии украшали его дневник, он обводил красным карандашом и пририсовывал к ним какую-нибудь закорючку, что в итоге очень смахивало на пятерку. И иногда убеждал свою маму, что учительница ошиблась и что это действительно исправленная отметка «отлично». Маме очень хотелось верить, и она закрывала глаза на чудачества и изобретательность сына.

Так вот, именно к ним и ходили в гости мама с дочкой. Комната Люси помещалась в середине двора, перед входом в нее был, как водится, садик. Но в нем росла только одна вишня. Зато она была настоящая и на ней ягод всегда было много-много.

Перед комнаткой в четырнадцать метров располагалась кухня, а уж из нее вела дверь в замечательное жилище, где было так много необычного, что Аня всякий раз бывая в гостях, открывала для себя все новые и новые вещи. То портрет писателя, которого очень странно звали — Толстой. Аня никак не могла понять, что это такая смешная фамилия, и представляла себе очень толстого человека с бородой. То на этажерке какую-нибудь новую книжку, которыми была уставлена вся этажерка, но непременно появлялась и новая. То возникал на стене портрет тети Люси, которая смотрелась в зеркало, и казалось, что их на фотографии целых две.

На столе всегда были салфетки и роскошная серебряная хлебница. Тетя Люся ходила в халате до самого пола и трогала свои кудрявые волосы, на которые вечерами накручивала белые бумажечки. Однажды это увидела Аня, когда тетя Люся оставалась ночевать у них. Тогда девочка не могла сообразить, что эта про-

педюра связана с кудряшками, которые появлялись утром, а вечером их почти что и не было. Такое она видела исключительно у Люси, потому что ее мама, например, так не делала. У нее были длинные косы, которые она укладывала вокруг головы, и никогда не было кудряшек. И мама Любочки так тоже не делала, а просто заплетала одну косу и закалывала ее на затылке. А вот тетя Люся проделывала такие штуки, чтобы достичь кудрявости, это уже со временем стала понимать Аня. И ей очень хотелось потрогать иногда ее волосы, чтобы убедиться, что они самые настоящие. Но она не могла себе это позволить еще очень долго. И иногда ей даже казалось, что мамины волосы совсем не такие, что у тети Люси что-то по-другому устроено, но что именно, она не знала пока.

Еще ей нравилось у маминой подруги то необъяснимое ощущение, которое возникало всякий раз, когда она приходила в гости. Его навевала и сама атмосфера дома, и та серьезность, к примеру, с которой баба Влада, мама Люси, спрашивала Анечку, как у нее «продвигаются дела и что нового она успела сделать, выучить, узнать». И зная такой вопрос наперед, Аня втайне готовилась к нему, собирая все свои достижения вместе. Так, однажды она радостно выпалила, что теперь ест кашу и пьет кисель. И сама доходит до калиточки детского сада. И что совсем недавно их вывели на прогулку и сказали, чтобы к завтрашнему дню все принесли свои самые любимые книжки, и они начнут изучать буквы, азбуку.

— А я-то все буквочки уже знаю, но все равно принесла.

— И что же ты принесла?

— Как что? — Пушкина, сказку о попе.

— Что же тебе там понравилось?

— Ну что? Жалко сначала было Балду, потом я поняла, что он хитрый. Правда?

— Хитрый. Но так и надо было попу.

— Я знаю, это как наказание, да? Меня вот мама не наказывает. Ну, почти. Ставит иногда у шифоньера. А

там ящички выдвигаются, с моими игрушками. Я постоянно-постояно, потом играть начинаю.

— А мама видит?

— Конечно, я же не потихоньку. Но она думает, что я уже все поняла и что уже можно и поиграть.

— Хорошая у тебя мама, мудрая.

— Это как? Как умная, только еще больше?

— Вот-вот, именно так. А бываешь ты у тети Нади?

— Да, там моя подруга Лейла, с ней мы играем. Но она...

— Что же?

— Она задается. Говорит, что у них много конфет разных и что ее папа приносит много вкусного. Что они богатые.

— А ты не очень-то в это верь. Богатство не в конфетах. Вот твой папа богатый.

— Почему?

— Потому, что его все любят, он играет в театре, он работает для людей, не только для себя и для тебя. Пусть у тебя конфеты и не всегда бывают, но это и не главное. Ты согласна?

— А правда, что вы были учительницей, тетя Влада?

— Да, это так, тридцать лет проработала в Андижане. Потом сюда переехали.

— А я тетю Люсю очень люблю. Она красивая, и у нее кудряшки. А у мамы нет.

— Твоя мама тоже может отрезать волосы и завивать кудри. Только лучше не надо. Заплел косу и никаких хлопот.

— Моя мама самая лучшая.

— Ты права.

Аня любила беседы с тетей Владей, где она укреплялась в каких-то своих выводах и мнении. Ей казалось, что умнее тети Влади нет на свете никого. Она же была учительницей!

И еще Аня знала, что если они с мамой идут к тете Люсе, то, скорее всего, потом отправятся на прогулку в сквер, а может, и в кино пойдут на вечерний сеанс.

Там иной раз Аня засыпала, и ее, спящую, несла на руках домой мама, благо, что Анечка была худышкой совсем. Но, конечно, маме было не так легко, однако она несла и несла свою дочку.

До лета, последнего лета в ее беззаботном детстве оставалось совсем немного, каких-нибудь полгода. И однажды, дело было весной, но уже стояла совсем теплая погода, хотя был всего лишь март месяц, в их детском садике возникло что-то тревожное: все воспитательницы собирались вместе, что-то быстро-быстро и при этом почти тихо говорили, о детях почти забыли, утирали глаза платочками, а потом и вовсе всех позвали на улицу. Аня так и не поняла, почему именно на улицу. И только там открыли им страшную весть: умер их вождь, отец всех народов, Иосиф Виссарионович Сталин. Почему он был отец всех народов, Аня не поняла, но уловила одно: случилось и впрямь нечто страшное. Все плакали, и дети, глядя на своих чудесных воспитательниц, заплакали тоже. Так они стояли на улице довольно долго, и почему-то все не возвращались в садик. А потом раньше обычного пришли за ними их родители и повели домой. И мама тоже была заплаканная и говорила шепотом.

— Мамочка, а что такое «отец всех народов»? Он что, всех нас родил?

— Молчи, моя хорошая, потом.

— А тебе его жалко?

— Конечно. Всем жалко.

— Он всех любил?

— Всех, конечно.

— А про нас он знал?

— Он про всех знал.

— А почему мы его никогда не видели?

— Как не видели? А на портретах? На демонстрации? И у нас дома есть портрет, ты просто забыла.

— Это такой черный, с усами?

— Ой, молчи, доченька, лучше молчи и не обсуждай это ни с Любочкой, ни с кем во дворе, ладно?

— Ладно. Мама, ты плачешь и тихо говоришь. Это потому, что ты боишься?

— Вот еще, ничего я не боюсь. Но говорить не надо.

Так они дошли до дома, но во дворе и правда дети не касались этой темы, заигрались, наверное. Только однажды Вовчик крикнул: «Слышали, а Сталин умер?» Причем, трагически из его уст это не прозвучало почему-то.

Постепенно родители и их знакомые успокоились, тему эту никто не обсуждал, словно боялся, что может кто-нибудь услышать, как говорится, кому... Нет, не обсуждали. И даже портрет человека с черными усами куда-то делся, и Аня его больше никогда не видела. Только услышала однажды, как на терраске папа сказал, что теперь и правда наступит другая жизнь, что, мол, пора бы.

Летом родители взяли свою дочку и поехали в Куйбышев к ее бабушке с дедушкой. Там Аня впервые увидела лес и поняла, что не только ее двор — главный на целом свете, что есть и другие интересные края, на которых не так жарко, а вечерами и подавно и что в лесу растут грибы и много пауков, белочек и даже зайцев. Все они уживаются вместе, и никто никому не мешает.

Ей очень понравилось отдыхать, как говорили родители, и еще понравились бабушка с дедушкой. В особенности дедушка. Был он высокий, с бородой и совсем-совсем седой. Как и бабушка. У них была маленькая квартирка, которую дали дедушке взамен их ленинградской. А ту отдали другому сотруднику. «Поменялись», — как сказал дедушка, и это новое слово было тоже очень интересным. Аня знала, как они с Любочкой меняются куклами, когда играют, и даже на несколько дней отдают друг другу игрушки.

Вообще это лето перед школой было очень познавательным. Она узнала, например, что такое поезд, как люди с карточками приходят в магазин и покупают на них продукты. И еще она поняла, что у них куда лучше жить, потому что в Куйбышеве не было такого ба-

зара и все говорили, что этот голод на Волге никогда не кончится. Мама с папой привезли очень много еды всякой, но в какой-то день все равно не хватило и пришлось идти на рынок — так они называли базар — и покупать мясо. А это было дорого, так все говорили. Но ради приезда дорогих гостей и бабушка, и дедушка все же покупали на скопленные деньги продукты и угощали своих детей. На Анечку они не могли надышаться, так она им понравилась своей рассудительностью и в то же время доверчивостью и абсолютной верой в то, что ей говорили. Так, однажды старики рассказали, что, собирая в лесу грибы, натолкнулись на человека, который сдирал бересту с деревьев и складывал в корзину. Вдруг Аня закричала: «Ой, им же больно, деревьям. Они же дышат, я сама видела!» Просто она вспомнила, как однажды, когда поливали в их садике их единственную сливу, и нечаянно задела за ветку, папа в шутку сказал: «Прости, дорогая, я сделал тебе больно. Больше не буду». Так Аня запомнила это и навсегда усвоила, что деревья — как люди: им может быть больно, они могут плакать и даже скучать по своим хозяевам, если те долго не приходят и не разговаривают с ними. После этого случая Аня не упускала возможности подойти к деревцу и поговорить. Рассказать о чем-нибудь, погладить.

Последнее лето, как родители говорили «последнее детское лето», было особенно запоминающимся. И новыми впечатлениями, и новыми рассказами, а главное тем, что она познакомилась со своими родственниками.

— Дедуля, я всегда буду тебя любить. И ты приедешь с бабушкой к нам. Правда? Я покажу тебе театр, где папа работает, я там все-все знаю. И даже его роли.

Дедушка внимательно смотрел на внучку и поражался ее сообразительности. Как-то вечером, когда ее укладывали спать, она неожиданно заявила, что сегодня спать не надо, так как сегодня очень большая луна, и она тоже хочет, чтобы с ней поговорили. «Она не каждый день такая, только иногда, когда ей хочется, чтобы с ней поговорили. Вот я и буду говорить».

Ей отвечали, что луна может не слышать, что она очень и очень далеко. На что Анечка возражала:

— И пусть, все равно я скажу, а утром, когда ей совсем захочется спать, она на меня посмотрит и все услышит. Я уже говорила ей.

— Что же такое ты ей говорила? — спрашивал дедушка, поглаживая свою бороду и любясь внучкой.

— А то, что я хочу, чтобы тетя Сима поскорей вышила мне платице для куклы Кати, чтобы мама никогда не болела и чтобы больше никогда не было войны.

— Это правильно, что ты об этом думаешь и даже просишь. Только не к луне надо обращаться. Луна просто живет на небе, но вряд ли слышит тебя. А есть Бог, который точно тебя услышит, и в него стоит верить.

— Он что, правда есть? Я в садике слышала, Лидия Григорьевна говорила.

— Правильно говорила. Он есть. Но только, пожалуй, об этом говорить еще рановато.

— Нет, дедуля, не рановато. Я все понимаю. И знаю, что на небе живет Бог. Что он много страдал и что ему надо молиться. Но я пока не знаю, как это.

— А я покажу. Завтра пойдем в церковь, и ты сама все увидишь. Ты же еще не бывала там?

— Наверное, нет. А мама была, я знаю. Она шепчет вечером такое словечко, и я слышу, что она говорит «Бог». Особенно это часто я слышала, когда папа был на фронте и мы жили одни. Мама даже плакала, так ждала его. Но я точно знала, что папа придет.

— Это ты хорошо, правильно говоришь. И мама по-другому не могла. Вообще верить во что-то, лучше — во все хорошее и светлое — надо. А это и есть Бог. Поняла?

— Да. Я верю. Когда мама плакала, я думала, что обязательно вырасту и буду помощницей. И буду ей помогать. Как Бог, наверное.

Дедушка, Андрей Александрович Клейменов, засмеялся, обнял свою девочку и сказал:

— А начинать верить надо прежде всего в себя. Я вот людей лечил. Долго-долго. Бывало, что они и плака-

ли, и не верили, сомневались. А я приходил и говорил только одно: верьте в себя, в свои силы. Ты меня понимаешь?

— А как же! Я все понимаю. И я в себя, и в маму с папой верю. А про Бога я подумаю. Ты мне еще больше про него расскажешь?

— Непременно. С этого простого вся жизнь и начинается.

— Дедуль, а разве она не с мамы начинается? Я думала, мама — самая главная.

— Ты правильно думала. Но и мама, и все мы, все-все, еще верим в то, что есть над всеми нами.

— А его можно увидеть, Бога?

— Нет, еще очень долго — нет.

— Так надо?

— Да. Ты потом сама поймешь, что этого и не нужно, он у нас внутри. У каждого человека.

— Даже плохого?

— А что такое плохой? Живущий не по-божески, стало быть, не по-хорошему. Согласна?

— Плохой он и есть плохой, он что-то не так делает и не так думает. Надо думать хорошо, правда, дедуль?

— Умница, правда.

Этот разговор на долгие годы, может быть, даже на всю жизнь врезался в память Ани. С тех самых детских еще лет она усвоила, что Бог — внутри каждого, нужно только это понять и прочувствовать. И не только кукол просить, но и просить прощения, рассказывать о своих проблемах и радостях и желать, чтобы Бог тебя услышал, простил и помог.

А пока Анечка радовалась жизни, ездила со своими «большими родителями», как называли их дети, в лес, ходила на Волгу и постепенно взрослела. Так ей казалось, и так думали и ее родители, когда к концу лета стали собираться домой. И все уже понимали, что из Ташкента они вряд ли уедут и что их дом теперь там. А Ане и всегда-то верилось, что другого дома у нее нет и быть не может.

В последнюю ночь к ней присела мама и сказала, что надо будет собираться в школу, что это очень интересно и все должны учиться. И учиться всю жизнь: любить, хорошо работать, приносить пользу, растить детей и многое другое.

— А ты меня любишь? Ты над этим работаешь? — Мама засмеялась так задорно, и было понятно, что ей так весело, что Анечка тоже засмеялась, и тут вошел папа и спросил, что это здесь веселятся. Ему сказали, что сегодня всем особенно весело и что так и должно быть. Он подумал, постоял и оставил своих девочек одних.

— Мама, а мы с дедулей ходили в церковь. Там очень красиво, и я молилась. И там много портретов, на них и Бог, и еще много других, они все святые, так сказал дедушка.

— Тебе было интересно?

— Да. Мы с тобой дома пойдём?

Мама обняла свою девочку и уверила ее, что пойдет, везде с ней пойдет, и в церковь — тоже.

И действительно, через несколько недель Анечку покрестили в православной ташкентской церкви, и крестной стала тетя Тамара, с которой Анечка познакомилась не так давно, и это была новая подруга ее мамы.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ШКОЛА

*«Жить бы так, чтобы никто не мешал, не вползал в твою душу, не стреножил твои желания!» – думал он, приходя временами в полное отчаяние. И еще мечтал о том, чтобы кто-то и когда-то так согрел его душу, чтобы не пришлось просить защиты даже у птицы. Куда это она подевалась? Не успел он озаботиться этой мыслью, как прямо над ухом снова услышал, или, может быть, так просто показалось, два слова, всего два. Она сказала: «Нужно идти!» – и улетела. Куда, с кем, зачем – ничего этого он не знал. И эта путаница смущала более всего.*

*Однако он шел. Шел, и только временами ноги сами несли к заветному озеру.*

Как раз накануне первого сентября, когда все семейство, включая тетю Симу, готовилось к школе, когда дошивалась последняя оборочка на фартучке из белого сатина, гладились столь же белые бантики и приводились в порядок еще летние сандалики, среди всей этой запарки вдруг у калиточки кто-то стал спрашивать Валю. Мама Анечки выбежала и столкнулась с высокой девушкой очень симпатичной наружности, которая держала в руках чемодан, а Валю спрашивала совсем не она, а ближайшая соседка, тетя Мила. Ее сначала и не слышно было только потому, что мешал ее вечно лающий пес Булька. Сама тетя Мила была совсем не злая, а вот собака у нее – злющая. Она-то вместе со своей хозяйкой и подавала голос, и заглушала тетю Милу.

Мама выскочила, остановилась в растерянности, но тут же услышала: «Вы же тетя Валя? А я думала, вы меня встретите, мама говорила». Анечкина мама некоторое время смотрела на статную девушку, потом все поняла и крепко обняла ее. «Зоя? Проходи, меня Тамарочка предупредила, только сказала, что приедешь завтра. Но ничего, я рада. Идем». – И она повела Зою к ним в садик, а затем в дом.

На Зое было почему-то легкое пальто светло-коричневого цвета, в тон со шнурочками туфли, небольшой чемоданчик, но самым примечательным были ее волосы, густые, каштановые, которые были заплетены в тугую косу, заканчивалась которая коричневым бантом. Анечка выбежала тоже и с интересом и некоторым недоумением рассматривала девушку, одетую так необычно в жаркий августовский день одна тысяча девятьсот сорок восьмого года. Ей Зоя понравилась сразу, и она подумала с сожалением, что как жаль, что она такая еще маленькая и не может дружить по-настоящему с Зоей, потому что той, скорее всего, будет неинтересно. Но мысль эта пронеслась так быстро, что почти не оставила никакого следа в Аниной душе, и она с изумлением все смотрела на появившуюся девушку, и в ее голове бушевало уже много других, отнюдь не печальных, мыслей. Она тут же подумала: «Как жаль, что тетя Зоя не сестра, и ей неинтересно будет играть в куклы, и как хорошо бы вместе пойти в театр Навои и как было бы замечательно, если бы завтра в школу отправиться вместе!»

А мама уже усаживала новую знакомую на кушетку, и готовила чай, и одновременно расспрашивала про поезд, про дорогу, про жару, и предлагала, конечно, снять свое коричневое пальто, потому что стояла жара. Но Зоя отчего-то согласилась не сразу и еще долгое время продолжала сидеть в своем красивом одеянии. Время от времени она отбрасывала свою великолепную косу назад и встряхивала головой. Такое движение заинтересовало Аню, и она невпопад сказала: «А можно потрогать твой бантик? А у меня белый, и завтра я иду в школу. Хочешь, пойдем вместе?» – Зоя обернулась, снова дотронулась до своей роскошной косы и улыбнулась. «Какая ж она красивая», – подумала Аня, и другая мысль уже настигала первую: «Вот бы она жила с нами, как было бы интересно!»

Мама все же уговорила девушку снять верхнюю одежду, хотя и легкую, накрыла стол и стала угощать гостю. Сказала, что Тамарочка, как оказалось, мама

Зои, придет попозже и что завтра в их семье большой праздник.

Было понятно, что Зоя тоже ждет и хочет видеть свою маму, но время шло, никто не появлялся, и мама через какое-то время сказала: «Так бывает, у них в университете вечные задержки, ты не волнуйся, ничего, завтра придет. Увидитесь».

Все хлопотали, где положить Зою, как сделать, чтобы ей было удобно, и когда совсем поздно подошел папа, то увидел сидящую на терраске свою жену, подносящую палец к губам. «Тсс, все спят. Сейчас буду кормить. Зоя приехала, а Тамара так и не пришла. Задержалась, скорей всего, на лекции». — Папа посмотрел на нее внимательно, заметил, что мама волнуется, и произнес: «Нет, не на лекциях, а со своим Леонидом. Ты и сама это прекрасно знаешь. Могла бы сегодня и изменить своим привычкам». Видно было, что папа недоволен и что, скорей всего, ситуация с неявкой на встречу с дочерью Тамары его огорчает.

Когда они вошли в свою дальнюю комнатку, в которой уже давно спала их Аня, то решили, что в такую ночь не должно быть места спорам и несогласию. Они оба подошли к Аниной кровати, переглянулись и легли спать.

Однако им только показалось, что дочка уснула. На самом деле она еще думала и мечтала. И о завтрашнем дне, и о приезде Зои, и о том, что теперь, наверное, все станет по-другому в их доме. Она не могла уснуть от избытка радости за себя, за родителей, за то, что у них так много знакомых, которые приходят в дом и с которыми так интересно разговаривать. Вот теперь Зоя. Какая же она все-таки красавица!

Аня дотронулась до своих курчавых волос, провела по ним рукой, посокрушалась, что они не такие прямые, как у их гости, и постепенно стала приближаться к каким-то разноцветным картинкам, скачущим и незнакомым, которые часто возникают, когда наступает ночь и возникают сновидения.

Аня спала спокойно и видела сон про большую ры-

жую лошадь, которая почему-то пришла в их садик и стала просить сливу. Она даже не успела помять золотые шары — так назывались цветы, лилии и розы, а аккуратно стояла у раскрытой калитки, и почему-то было понятно, что ей хочется слив. Девочка только подумала, что сейчас сама их нарвет рыжей лошадке, и даже полезла за ними на табуретке, но что-то не заладилось, табуретка стала падать и тут Аня проснулась.

Она очень любила утро. Можно было лежать какое-то время в кровати и слушать, как ведут себя птицы за окном. Они по-настоящему разговаривали. Аня даже научилась различать их настроение, какой был день, жаркий или пасмурный, что творилось на улице и вышел ли Вовчик со своими коконами и червями за тутовником. Это были такие прекрасные минуты, что Анечка даже говорить о них никому не решалась: считала, что одна должна владеть таким богатством. Иногда ей казалось, что все это слышит и ощущает она одна, но однажды мама встала и сказала: «День сегодня — на удивление. Так рано еще не просыпались птицы. Я так рада их воркотне!» — «Так, значит, маме были известны птичьи разговоры и она тоже все слышала, только не делала из этого тайну. Но ничего, пока буду молчать. Так интереснее».

Она открыла глаза и увидела, что прямо перед ее кроватью стоит Зоя и смотрит на нее.

— Ой, я испугалась. Ты уже не спишь?

— Как видишь. Нам нужно собираться. Выспалась?

— Я всегда высыпаюсь, а ты?

— Я не всегда, но сегодня у вас спала замечательно.

Так встаем? Давай, помогу. — Это предложение было тем более замечательным, что в последнее время Аня поднималась сама, видно, из нее очень хотели сделать самостоятельного человека, а ей иногда так хотелось, чтобы мама или папа подняли на руки и отнесли умываться.

— А ты всегда будешь утром приходить ко мне?

— Да, думаю, да.

— А ты у нас останешься жить?

— Жить, наверное, нет, но погощу. И сегодня вместе пойдем в школу. Ты рада?

— Я? Ой-ой-ой, как я рада!

Аня выскочила из своей кровати, быстро умылась в садике под краном, который уже два года назад соорудил ее папа, и сказала, что очень хочет кушать. «Буду кашу и все-все!» — заявила она.

Наконец ее одели, завязали два больших банта и отправились втроем в школу под номером шестьдесят имени В. Шумилова.

Идти предстояло два квартала, это было не совсем близко, но путь показался не слишком длинным, и наконец Аня увидела само здание, множество детей, которые были в белых рубашках, фартуках, бантах и с портфельчиками. Странными, маленькими такими, кто какие смог достать.

Зоя держала девочку за руку, будто та могла убежать. Но куда можно было бежать, если позади шла мама и если на самом деле в школу очень хотелось. Что это было за таинственное заведение, Аня в точности не знала, но и потом, уже спустя годы, она продолжала думать о некой таинственности, свойственной школе. Это потом у нее начнутся трудности, совсем-совсем потом, когда школы разделят, перешедших в девятый класс определят по другому ведомству. Все болезненно это воспримут. Уйдет дружество, которое годами складывалось в школе, а пока... пока Аня верила только в чудесное место и не менее чудесное ожидание томило ее настолько, что она едва не разрыдалась, когда школа была совсем близко. Она ее узнала сразу, хотя гулять они с мамой и папой ходили всего один раз и ей показывали ее будущее учебное заведение. И Аня сразу полюбила его, и даже когда сказали, что мальчишек в их классе не будет совсем, что так принято, она и эту весть восприняла с радостью: ну, что ей были эти мальчишки?! Главное, что была Зоя и ее дорогие родители.

Папа сегодня ушел почему-то очень рано и не смог

проводить свою дочку. Он рассказывал, что скоро откроется институт, почти вровень со школой по срокам и что, наверное, Анечке там учиться. По крайней мере, папа этого хотел. Тетя Сима возражала, говорила, что нечего святому ребенку делать в театре, а уж учиться пять лет на артистку вообще глупость, но папа уверял, что так надо и что с кадрами плохо. И не только в Средней Азии, но и в близлежащих областях. Прознали про их затею даже в Кемерово и Барнауле и собираются приезжать работать и поступать.

Папа был очень озабочен созданием своего детища, как он говорил, и все время после спектаклей пропадал и по этому хлопотливому делу. Мама только радовалась, даже смеялась и говорила, что тоже пойдет учиться и наконец станет грамотным, образованным директором или на худой конец администратором. Маме очень тоже нравилась ее новая (а вообще-то уже и не новая совсем) работа, и она тоже пропадала на ней сутками.

Обо всем этом или почти об этом думала Аня, когда они переходили улицу сначала Карла Маркса и сворачивали на Гоголевскую, а потом шли мимо большого темно-коричневого цвета здания, которое на все годы обучения так и станет Аниным ориентиром, определенной отметиной на пути в школу. И она станет думать, что вот, когда минует это здание геолого-разведочного факультета, до школы останется совсем немного. И еще впереди предстояло одно маленькое загадочное препятствие, смысл которого и разгадку Аня узнала лишь тогда, когда в последнем классе им стали преподавать узбекский язык. После прекрасного величественного здания ЦК Узбекистана проходила маленькая дорожка, а над ней висела вывеска, на которой было написано: Автомобильда саклангиз! Эти поистине таинственные слова были завораживающими. Почему там стоял восклицательный знак? И почему вывеска болталась прямо посреди улицы? То, что это каким-то образом было связано с автомобилями, Аня, понимает, поняла довольно скоро. Но вот второе слово? Ока-

залось, что это всего-навсего предостережение для граждан и для школьников. Но даже это непонятное слово уже было для детей своего рода предостережением. Они и замедляли шаг и действительно, даже несмотря на незнание языка, береглись от возможного внезапного выезда автомобиля. Мог же он в конце концов выехать столь стремительно и грозно, что опасности было бы не избежать. Но, по счастью, никогда ничего подобного не случилось, и вывеска была своего рода знаком, метой все на том же пути в школу.

А дальше начинался сам фасад здания, тоже темного цвета, с какими-то завитушками и украшениями. С большущим козырьком посередине, на котором располагалось что-то вроде балконов. На один из них в четвертом классе выйдет Аня, потому что учитель задерживался и вышли многие, но многие и вернулись, а Аня замечталась, и в ее дневнике появилась запись: «Ваша дочь на уроке истории вылезла на крышу». Дневник хранили долго, папа много смеялся, вообще не особенно серьезно относясь к школе, чем во многом облегчал процесс постижения знаний своей дочки. Мама была более строгой, и Аня замечательно балансировала на этой удобной линейке, когда, с одной стороны, с тебя и спрашивали, и проверяли уроки, домашние задания, а с другой — были едва ли не благосклонны в тех случаях, когда что-то не получалось, и приходилось терпеть и получать не только пятерки и четверки.

Атмосфера любви, наверное, была самым главным мерилом всего, что происходило в их замечательном доме. И Анечка уже тогда, в своем детстве осознала это, каким-то детским своим чутьем понимала.

Около школы толпилось много народа. Все были такие нарядные, как на последней первомайской демонстрации. Девочки были с белыми бантами, они держали за руки своих родителей, в основном там были, конечно, мамы.

Аня посмотрела вокруг и вдруг поняла, что, наверное, она стала взрослой, если уже вокруг нее столпилось столько взрослых людей и говорят о чем-то очень

важном. Если у нее в руках такая большая сумка, в которой лежат новенькие тетрадки и букварь, которые раздобывали с большим трудом и не у всех школьников они были в портфеле: не всем так повезло, как Ане.

Когда вошли в сам школьный двор, первое, что увидела Аня, это смешной водопровод. Вернее, маленькие фонтанчики, которые выбивались из какого-то устройства, и сразу захотелось к ним подойти и напиться. Но делать этого было никак нельзя, так как на крыльцо, которое было в самой глубине двора и к которому совсем близко подошли будущие ученики, вышла строгая дама в синем платье, и Аня подумала, что похожую на нее она видела в одном из папиных спектаклей, когда он играл злого, но все же волшебника, а та дама — злую фею, как бы его помощницу.

На платье у женщины, которая, наверное, была самой главной на этом собрании, было столько пуговиц, что, умея Аня считать, непременно насчитала бы двадцать две. Но а так она стояла и просто смотрела на красивое платье с немыслимым числом пуговиц.

— Я будущий ваш директор и зовут меня Анна Павловна, — произнесла женщина с пуговицами, и Аня страшно удивилась тому обстоятельству, что и у этой дамы такое же имя. — Мы собрались с вами для того, чтобы будущих наших учеников ввести в здание, где будут учить разным предметам и где дети постепенно станут взрослеть, потом станут совсем взрослыми и отправятся во взрослую жизнь.

«Надо же, — подумала Аня, — во взрослую! Это еще когда будет? Но раз обещают, значит будет». И в этот момент заметила, что рядом на крыльцо вышла другая женщина, более высокая и не такая толстая, и платье на ней было совсем без пуговиц. Она одернула его и продолжила речь, которую они, вероятно, разделили на две части.

— Вы уже почти большие. По крайней мере, знаете, что была война и как трудно пришлось вашим родителям. Многие были на фронте, кто-то не вернулся. А дети идут сегодня в школу без одного из родителей.

В этот момент все отчетливо услышали, как кто-то всхлипнул. «Надо же, — снова подумала Аня, — как жалко. А мой папа вернулся, как же это хорошо!» И в эту минуту на то же крыльцо стали складывать цветы. Почему-то все ринулись туда, даже и мама Ани, и положили много-много цветов. И получилось, что две важные дамы стояли на самом верху, а у их ног лежали бесконечные букеты.

— Думаю, что вы будете хорошими учениками, — продолжила женщина в коричневом платье без пуговиц. — В честь тех, кто не вернулся и в их память, а также ради выживших вы будете хорошими ученицами, послушными детьми, и мы все станем строить наше великое будущее. Будущее нашей замечательной страны, которую мы все очень любим. А сейчас с вашими учителями вы пройдете в классы и начнете уроки. Поздравляю вас с праздником, с вашим первым днем учебы, с Первым сентября!

Тут и правда к группе, в которой стояла Аня с Зоей и мамой, подошла женщина и сказала, что ее зовут Антонина Михайловна, и что сейчас они поднимутся на второй этаж, и там четыре года у них будет учительницей именно она, Антонина Михайловна, и что класс их — 1 «Б». Некоторые буквы Аня уже знала и очень удивилась, почему не первую букву алфавита назвали, но учительница, словно предвидя вопрос, сказала, что так даже лучше, что в этом классе будут учиться самые смышленные девочки.

«Надо же, я тоже смышленная, что ли? Это очень интересно. Спрошу у папы, что это такое? Но, наверное, что-то хорошее».

Они пошли по коридорам, широким, со скрипучими немного полами, и вошли в свой класс. Как же он понравился Ане! Причем сразу! Их стали рассаживать, и ей досталось место в среднем ряду за второй партой.

— Ну, вот, вас ровно двадцать две девочки, это очень приятно. Начнем знакомиться. — И Антонина Михайловна явно посмотрела на Аню, во всяком случае, ей так показалось, и она выпрямила спину, так как посто-

янно ей твердила об этом мама. Зоя с мамой сказали, что будут ждать на улице и что все, конечно же, будет хорошо.

Так оно и было.

И было хорошо еще очень долго, почти до самого конца. Школу Аня полюбила, и та ей отвечала взаимностью. Ее сочинения читали при всем классе, и все ее хвалили, то, как она сочиняет. Не очень шли дела с математикой, химией, но это ничего, так по крайней мере говорила и тетя Сима, да и сами учителя, когда столкнулись с тем, что Аня не только сочинительница, но и что активно выступает в самодеятельности. Кружки тогда организовывались вовсю, и Аня едва успевала попасть во все. Только радиолюбителей обошла она стороной, а так записывалась в каждый новый, лишь бы только узнавать и быть при деле.

Дома они так и жили в своей квартирке под номером девятнадцать, в которой было две комнаты, крохотный коридорчик, терраска на двоих с тетей Симой и, главное, — их палисадничек, садик, как тогда принято было говорить. В нем рос посаженный папой виноград, было много и еще одна слива, которая стояла у самой калиточки.

Иногда дворовые ребята хитроумной зацепкой пытались снять ягоды, но всякий раз натыкались на папу, который вечно что-то мастерил в саду. Поэтому ребятня разбегалась.

У Ани в дальней комнатке, окна которой выходили как раз на улицу Карла Маркса, а не во двор, был свой письменный столик, за которым она и делала уроки. Стол продали или подарили приятели родителей по фамилии Зильберглейт, а своей дочке купили другой. Стол был самый что ни на есть настоящий, черного цвета и было в нем много ящичков, в которых у Ани лежали всякие нужные вещи. Например, компас, который папа привез с фронта, затем карта каких-то боевых действий, фотографии их вместе с бабушкой и дедушкой, когда они отдыхали последним летом под Куйбышевым. И в одном из ящичков вообще очень

важная вещь. Она открывала крышечку и рассматривала ее подолгу, затем вздыхала и прятала. Там хранились необыкновенные часики, которые тоже привез отец. Они не ходили, камушки из них почти все выпали, но сам синий фон еще сохранился и они, кругленькие, были такие красивые, такие почти волшебные, что всякий раз Аня, вынимая их, думала, что скорей бы она выросла и надела эти часы. Тогда, наверное, они уже починятся, и можно будет носить их не только как часы, например, это ничего особенного, а как украшение. Эх, скорей бы стать взрослой!

Больше всего Аня любила делать две вещи: шить кукле платье, а у нее была всего одна кукла, с которой она не расставалась дома и по которой скучала в школе, и мечтать. Да, она обожала это занятие, которое иначе и не назовешь, как глупостью или чистой блажью — кому как. Но ей именно оно доставляло массу радости. Так, она открывала книжку, лучше, конечно, с картинками, и воображала, что это именно она — та самая принцесса, что изображена была на страничке, она — самая добрая и красивая фея, она, именно она умела носить такие великолепные наряды, какие носят только королевы. И, играя в свои мечтания, она всегда задумывалась над тем, что надо хорошо учиться, чтобы поступить в папино «детиче» и стать, как и он, артисткой. Он — артист, она — артистка! Вот здорово!

Но это были пока что только мечты, а на деле, в реальной жизни приходилось ходить в школу, делать домашнее задание и красиво всякий раз выводить «Домашняя работа». Она писать умела очень красиво, но получилось это далеко не сразу. Сначала приходилось даже вырезать отдельные листочки, бежать на мусорку и прятать их там, чтобы не нашла мама, а потом снова и снова переписывать задание.

И вот однажды, когда ей было уже десять лет, их отпустили с Лерой, девочкой на четыре года старше их, на площадь перед Большим театром, он тогда назывался просто театром Навои, в магазины, где чего

только не продавали. И она увидела прописи. Денег на них не было, но Аня точно решила для себя, что станет писать так же красиво, как написано было там и что скоро ей мама непременно купит именно такие.

Когда папа узнал о ее очередной мечте, на другой же день принес с работы такую тетрадь, в которой расчудесным почерком были написаны все-все буквы, причем не только сами буквы, но и те палочки и крючечки, которые они писали весь первый класс.

В тот год Зоя прогостила у них недолго. Она встретила со своей мамой, которая училась в ташкентском университете, а потом отправилась к себе в Москву, к дедушке с бабушкой. Но сама эта встреча, знакомство, разговоры с Зоей, то, как она общалась со своей мамой и с другими людьми, многому научили Аню и заставили о многом задуматься. Так, она стала намного внимательнее относиться к своей маме, спрашивать, не устала ли та после работы. Увидела, что у мамы бывают синеватые круги под глазами, и ей отчаянно становилось ее жалко. Она думала, что будет любить свою маму всегда сильно-сильно, а когда станет взрослой, они поедут не только под Куйбышев, но и в санаторий, где мама не станет кашлять, и все у них будет хорошо. Что такое санаторий, Аня точно не знала, но слышала, что такие есть и в них лечатся и отдыхают люди в свои отпуска.

Учение давалось Ане легко, уроки не напрягали, и она все запоминала на самом уроке. Другое дело — всякие там математики. Да, она исправно решала задачки, но тяги к этим предметам у нее не было. Как не было вдохновения считать химические и физические формулы, постигать смысл тангенсов с котангенсами. Русский и литература — вот что захватывало ее, а когда задавали сочинения, то и вовсе делалось радостно, и что-то внутри заморожено замирало.

Если тема всего лишь обозначалась в сочинении, это ее не смущало: она точно знала, что полетит на своих крыльях далеко и безбоязненно, и там-то напишет, сказав все-все и даже больше.

Так, однажды сказали, что тема будет посвящена Татьяне, ее отношению к браку. Аня сначала удивилась, даже немного возмутилась, но потом осеклась: как же, разве не через любовь приходят люди к браку, не им ли кончаются отношения? Она-то прекрасно понимала, что отношения только тогда и начинаются и что продолжаются они до самой-самой смерти, но это ей подсказал Лев Николаевич Толстой, который и говорил примерно то же самое. Что с браком отношения только и начинают складываться и развиваться.

В своих мечтах Аня уносила так далеко, что порой ей казалось, она готова ко всему, и к браку, в том числе. Ей было всего пятнадцать лет, когда она испытала первое свое чувство. И многие годы потом думала, что это и была ее первая, но самая глубокая любовь, несмотря на возраст и на то, что все скоро совсем закончилось, не успев начаться. Что ее избранник, Толик Гайтулин, просмотрев на нее все лето и все лето прокатав по Гоголевской на велосипеде, пройдет с ней рядышком всего три раза, а потом настанет сентябрь, и все растворится в осени, словно унесенные ветром листья, словно туман, так тщательно покрывающий любимую Карла Маркса, особенно в утренние часы. И Аня к тому же увидит его со своей дорогой и любимой Любочкой, как он спокойно и деловито идет с ней по их улице в направлении Аниного дома, и неожиданная волна негодования вынесет ее любовь за ворота, утащит еще дальше, к шуму электричек, в сторону, откуда они особенно слышны по ночам, и всё. Всё закружится в осеннем ветре, и тот самый туман все еще настойчиво, по-осеннему будет больше и больше забирать ее детское простодушие и разочарование, и вскоре от любви останется несколько открыток, в которых Толик поздравлял ее с Первомаем, а до того — с 7 ноября и с Новым годом. И она ожидала его у класса во время перемены, хмурила лоб и благодарила, сухо, по-деловому, как ей казалось, говорила слова, а сама смотрела во все глаза и думала только об одном: когда же можно будет поговорить с ним или пройтись по ее

улице. И вот теперь все это ожидание больше ничего не стоило, все уплыло в самую что ни на есть слякотную осень, и остался шлейф памяти о Толике, который первый, как ей тогда казалось, предал ее и пошел по ее улице с Любочкой.

Дома заметили ее новое поведение, что имя Алика почему-то теперь не стало упоминаться, а потом она и вовсе попросила никогда его дома не произносить. Родители подчинились, и история, казалось, закончилась. Переживала особенно мама, которая сразу поняла, что девочка чувствует глубоко и разочарования для нее могут стать серьезными в виде непонятных пока последствий. «Но это и к лучшему, что не пустышка», — думала мама, а сама сильно переживала за дочку.

Анечка никак не перенесла свое открытие и внутренний приказ не видаться и не общаться с Толиком на Любочку. Она, как самая настоящая взрослая, по-прежнему, без тени упрека разговаривала с ней, делилась школьными делами, рассказывала об интересных событиях, а внутри себя надеялась, что Люба сама что-то прояснит, а она, Аня даже не станет и слушать. Всю эту накрученность раздула и развила сама Аня, она уже тогда, почти в детстве, потом и в юности усматривала катастрофу там, где были ее всего лишь очертания, легкие наметки. Она все возводила в абсолют и решительно требовала и от себя, и от близких безусловной преданности и верности, абсолютного обожания и внимания. Именно это качество, гипертрофированное, появившееся в далекие пятидесятые годы прошлого столетия, во многом определяли ее отношение к миру, к людям, к тем нечастым встречам с мужчинами, которых она любила и старалась как можно дольше не разочаровываться.

Но это уже было много позже, а пока была школа и многое — многое казалось безоблачным и прекрасным. В особенности дело, которым начала заниматься Аня с четвертого класса.

Однажды на уроке истории, который вела директор школы, та самая Крючкова Анна Петровна, тезка

девочки, и платье которой с двадцатью двумя пуговицами все еще носилось и было по-прежнему опрятным, учительница сказала, что ей нравится, как успевает записывать материал Аня Кремнёва, и что надо бы и другим детям научиться пропускать гласные и напирать на согласные, тогда слово будет прочитываться легко и без малейших препятствий. Она рассказывала о войне с Кромвелем, и 1642 год Аня запомнила навсегда, так красочно Анна Васильевна говорила о битве. И вот на этом самом уроке было объявлено, что в их школе организуется драматический кружок и что желающие могут записаться. Но непременно надо знать наизусть несколько стихотворений, чтобы можно было проверить, подходит желающий или нет.

Желающих был почти целый класс, и все целую неделю учили стихи, благо до прослушивания оставалось почти пять дней. И тут на помощь дочке пришел папа, который предложил на выбор несколько стихотворений, в том числе и Пушкина, и неизвестного Ане Есенина, и взялся проверить, как точно дочка выполняет его указания. Какое же это было счастье — работать и репетировать со своим отцом! Этот бесценный опыт, память о нем Аня сохранила на всю свою жизнь. Это было первой ее актерской пробой, первыми шапочками.

Итак, решили читать стихотворение Пушкина «Что в имени тебе моем...» Папа прочитал первую строчку так, что Аня сникла: так она никогда не сможет. Однако отец был настойчив и стал говорить, что вопрос, который явно звучит в конце первых четырех слов, продолжается раскрытием мысли — почему. «Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний, как звук пустой в лесу глухом». Аня начала вдумываться в сказанное, и папа не торопил ее. И это было самое правильное. Наконец Аня приступила, и у нее получилось, что главным стало слово «печальный», что было совсем неправильно, как сказал папа. «Знаешь, почему? Потому что на прилагательное ударение делать не принято, это дурной тон. Ищи глаголы, в

крайнем случае — существительные в родительном падеже. Поняла?» Аня кивнула и заговорила каким-то таким странным голосом, что у самой морозец побежал: она и не подозревала, что у нее почти бас. «Да не бойся, никакой это не бас, а есть глубина, перейдешь попозже в другую возрастную группу, тогда и закрепись. Главное — сохранить голос, это целая наука, его беречь надо. Слышу, что ты любишь петь. Не смущайся, пой, это развивает дыхание, сама увидишь, как легко становится дышать. Голос — это прежде всего дыхание, причем правильное». Аня кивала и наблюдала за папой, как делала это все годы, как только стала понимать себя и помнить себя. Помнила, как он ходит со своей неизменной кружкой с чаем и говорит текст, шелестя листочками с ролью.

Настал долгожданный день, это была суббота, когда почти пятьдесят человек пришли на прослушивание в драмкружок. Аня огляделась и решила, что будет сидеть хоть целый день, но непременно дожидется, чтобы услышали приготовленные стихи. За час прошло почти двадцать человек, и Аня решила, что осталось ждать совсем немного. И правильно, буквально сразу же объявили ее фамилию, и она вошла. За столом сидели два человека, мужчина с седой бородкой и маленькая женщина, тоже седая. Она посмотрела на Аню добрым взглядом и сказала: «Что ты приготовила? Мы тебя слушаем. Если остановим, без обид, значит, нам все понятно. Хорошо?» Аня кивнула и начала. Она читала свое стихотворение, которое подготовила вместе с папой, так вдохновенно, как ей казалось, что даже захотелось плакать. Она и заплакала в какой-то, самый последний момент и уже последние строки читала, еле сдерживая слезы. «Но в день печали, в тишине ты вспомняи его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я». После этих слов возникла пауза, и, наконец, женщина спросила: «А почему ты выбрала это произведение, оно же написано от лица мужчины»? Аня ступсевалась и не сразу смогла ответить. «Тебе оно понравилось, правда»? — не

унималась женщина, пытаясь подсказать Ане ответ. — «Очень», — ответила девочка и вытерла слезы. — «А что ты еще приготовила? Есть у тебя не такое грустное?» — «Есть. Сейчас вспомню. Да, есть». Она немного успокоилась, подошла поближе и объявила: «Константин Симонов. Жди меня». Два человека за столом засмеялись, но так, совсем необидно, тихо как-то, и спросили, почему девочка снова взяла стихотворение от лица мужчины. «Так война же была. И папа мой был на фронте. Вот, взяла, понравилось». — «Хорошо, ты свободна, можешь идти. Завтра уже первое занятие, приходи».

Аня все не могла понять, что ее приняли и все стояла посреди комнаты, а добрая седая женщина, которая, как оказалось потом, приехала из Москвы, все смотрела на нее. Она работала ассистентом режиссера и теперь решила остаться в Ташкенте и набрать студию. Женщина не знала, что Аня — дочка Василия Никифоровича из театра, не связала это, что ли. И лишь потом поняла, когда уже велела девочке выйти.

«Так это же дочка нашего Василия! Хорошая девочка, ничего не скажешь, будет, непременно будет актрисой». Конечно, как в воду смотрела, так потом и вышло.

А у Ани начались новые времена, когда после уроков начинались занятия в ее кружке, и так она к ним прикипела, что не знала, как дождаться следующего дня, чтобы продолжить репетировать, постигать азы театрального мастерства.

Свои волнистые волосы, которые обычно она заплетала в две косы, она теперь распускала и повязывала светлой ленточкой надо лбом. Но делала это, только когда шла на репетиции, на уроки же по-прежнему плелись косы или одна коса. Но Ане шел уже шестнадцатый год, и сама природа требовала и изменения внешности, и некоторых деталей в туалете, которые говорили, что все, возраст подоспел и начиналась почти взрослая жизнь. Так, по крайней мере, казалось Ане, когда она рассматривала свои густые брови и была

страшно недовольна этим обстоятельством. Однако в ту пору еще не прибегали к изощренным ухищрениям по удалению бровей, и Аня еще долгое время так и носила свои роскошные брови. Только со временем она научилась их выщипывать, и занятие это стало потом вполне привычным.

Иногда, когда дома никого не было, она смотрела на себя в зеркало, но не любуясь и не прихорашиваясь, а внимательно и подолгу изучала. Ей казалось, что природа обошлась с ней не слишком благосклонно и что она могла бы быть покрасивее. Не нравился ей нос, он казался ей слишком прямым; не устраивали губы, которые казались слишком полными; раздражали уши, которые она считала по-детски оттопыренными и большими. То есть в себе, в своей внешности она находила массу недостатков, которые даже время — так она считала — не могло изменить.

Прошло уже больше года после ее то ли романа, то ли первой влюбленности в Толика, и пока ее сердце было все еще свободно. Никто не нравился. И она была очень рада такому обстоятельству. Даже в ее кружке не было достойной кандидатуры, на которую она обратила бы внимание. Три раза в неделю она ходила на свои занятия с такой радостью, что казалось, ничего другого более интересного и привлекательного не было в жизни. Так и продолжалось до самого окончания школы.

Чего только не ставили в коллективе! Это были и Шиллер — «Коварство и любовь», где она играла, конечно, Луизу; и «Русалка» Пушкина, которая особенно захватила ее. Встреча девушки с князем и то, как она, быть может, и догадываясь о причине его отсутствия, все же оправдывает его, была самой любимой. «Но, слава богу, жив ты, невредим, и любишь все по-прежнему меня... Однако ты печален, что с тобой?» В этих вопросах вся Наташа — так звали героиню, как рассказали ее наставники, говоря о творчестве Пушкина. Она и догадывается, и все еще хочет верить, отмечает страшное подозрение. И такое наложение двух

смыслов, настроений по особенному раскрывало характер девушки, ее желание верить и явные доказательства ее подозрений относительно истинных причин расставания, которое уже коснулось ее в виде девяти дней отсутствия князя и грядущим своим грозным предупреждением.

Когда Аня ложилась спать, оставаясь одна в своей комнате, то прислушивалась не только к звукам, которые раздавались то из окна, то с терраски, если тетя Сима еще покуривала свою сигарету и не уходила в комнату, к тем звукам, которые еще не покинули пространство двора, их садика, улицы. Которые все еще не оставляли город, а так и цеплялись за наступающую ночь, не желая оставлять день хотя бы и до утра. И она подолгу лежала, внимательно вслушиваясь в постепенно наступающую тишину, когда наконец смолкало все вокруг и становилось действительно по-настоящему тихо. Но это случалось не скоро, приходилось ждать подолгу, а летом и совсем долго-долго, но в этом была своя прелесть. Ты находился как будто в заговоре с природой, шел с ней на сговор: понимал, что вот-вот тишина все же наступит, но ее придется заслужить долгим ожиданием и терпением. И Аня ждала. Вообще, все, что она делала, было исполнено терпения, которое и во все последующие годы очень спасало ее. Она правда умела ждать. Недаром то симоновское стихотворение было так понято ею.

Говорили, что в десятом классе то отменят экзамены, то грядет какая-то реформа по перераспределению учащихся в разные школы и что можно будет получить только среднее образование, девятиклассное, и идти или работать, или в техникум, но не обязательно учиться дальше. Эти разговоры очень тревожили детей, а главное — родителей, но Аня все же миновала этот момент, и все преобразования случились уже позже, после того как она сдала все экзамены и закончила свою школу. Несколько лет они учились без мальчишек, как самые настоящие благородные девицы. К тому еще располагала и сама школа: поговаривали, что

прежде это была вовсе не школа, а чуть ли не богоугодное заведение или женская гимназия, что было больше похоже на правду. Но толком никто ничего не знал, интересоваться историей впрямую своего города, улицы, учебного заведения было как-то не принято, что ли, и все принимали то, что было. А была замечательная школа с двумя руководителями-женщинами, носившими сложные имена, имевшими сложные судьбы, которые приехали к ним в город из Ленинграда, да так и оставшиеся в азиатском крае навсегда.

Потом появилась мода на введение углубленного изучения иностранного языка, английский тоже в ту пору был не в моде, и они поголовно изучали немецкий, который многие не любили. И не любили, скорей всего, по патриотическим мотивам. Разумеется, мотивы эти были искаженными, но что делать, любовь к отчизне брала верх над соображениями национальной справедливости и равенства, и школьники поголовно не любили именно этот иностранный и делали свои домашние задания кое-как. Так и вышли из школы, ничего толком по части языка не зная. Прекрасно владели русским, любили литературу, химию и математику им преподавали вернувшиеся с фронта бывшие военные, так и ходившие на занятия в военной форме, но вот с языком выходила неувязочка.

Вообще школа в жизни Ани явилась тем особенным островком, тем пристанищем, где вполне отчетливо стал проявляться ее характер, наклонности. Да и сами учителя так любили свое непростое дело, что эта любовь также передавалась ученикам, и формировался образ человека, не просто посещающего учебное заведение, но вполне взрослого, ощутимо понимающего, что такое познание и что такое свой край, родина и что все это совсем не пустые слова. Понятие патриотизма, изжившее себя в другие годы, случившиеся много позднее, было не просто важным и значительным, его не стеснялись употреблять, для молодых людей оно и впрямь многое значило. И привычки, и стремление думать в соответствии с тем, что полезно и важно для

других, не только для себя, были важными. Это уже позднее это естественное и вполне закономерное чувство любви к отчизне, сам патриотизм сменится искусственными подменами, привычкой фарисействовать, но тогда, именно после войны, все истинно любили свою дорогую Родину. Мало того, восхищались ею, с огромным уважением относились к фронтовикам, хотели, так хотели хорошо и честно жить! Вот это — честно — входило в жизнь людей и становилось мерилom и оценкой их отношения к жизни, друг к другу.

Однако город не утрачивал своей привлекательности, связанной не с одним только его теплом, обилием фруктов, гостеприимством, но еще какой-то особенностью, присущей именно ему, Ташкенту. Была в облике самого города, его граждан маленькая беспечность, которая виделась и угадывалась сразу, как только человек попадал в его объятия. Это проявлялось хотя бы в том, что никакого напряжения у людей не вызывал поход на базар, но специальный и запланированный, как, скажем, в российском городе, а так, почти между прочим, во время обеда или после работы. Например, и в том, что, когда шел ливень, люди могли и просто пропустить работу, и даже особенно никто не сопротивлялся такому неписаному обычаю: погода ведь и правда была плохой, чего зря мокнуть по остановкам? Но вовсе не всегда и не со всеми подряд происходило подобное. Так, не ругались по этому поводу, не очень жучили, что ли. Но опоздания никто не терпел. Начальство, да и сами сотрудники без всяких дополнительных понуканий исправно ходили то к 8 часам, то к 9. Опаздывать было не принято, нехорошо как-то. Лучше совсем не идти, чем опоздать. Такая вольность не поощрялась.

И в школе не приветствовались бестолковые пропуски. Надо было приносить записку от мамы, если не было справки от врача, объяснение какое-нибудь, но не просто так.

Словом, город жил так же, как и все города в большом советском государстве в то время. С одной поправкой на маленькую особенность города: его природ-

ную легкость и беспечность, привязанность и любовь к прогулкам по базарам, охотой и знанием покупок на них, причудливым сочетанием гостеприимства и умением дистанцироваться, сохранять свое достоинство и расстояние, тот зазор, куда не допускались ни члены семьи, ни самые близкие: человек оставался наедине с собой и своим восприятием мира.

Аня в свои школьные годы научилась так многому и так многое поняла в жизни, что ей казалось, она умеет все и что учиться вообще уже нечему. Но это было обычное заблуждение молодого, юного даже человека, принимающего мир в своей расхристанной непосредственности и беспечности. Она, например, уже умела варить борщ, помогала маме лепить бесконечные пельмени, которые непременно делались по выходным и которые любил папа. И тогда собирались все, включая тетю Симу и ее сына, и непременно делался один особенный, счастливый. И почему-то тоже по какой-то таинственной логике он попадал именно к папе. И все всегда радовались такому обстоятельству. Случайность, конечно, была, но и было большое желание дочери угодить именно отцу. Она обычно накладывала блюдо и раскладывала пельмени по тарелкам. Вот и попадал папе нужный самый. Такая невинная хитрость очень нравилась и самой Ане, и всем домочадцам. Все радовались тому восторгу, который вспыхивал каждый раз, когда папа, подцепив пельмень, восклицал: «Вот он, опять у меня!» И Аня торжествовала и думала, что никто не узнает о ее проделках. Но она ошибалась, поскольку такую закономерность невозможно было не вычислить и не понять, кто за этим стоит. Но все молчали и тоже радовались.

Были у Ани и свои сложности, и проблемы.

То, из детства еще, мамино выражение «ну не волшебное же это», относящееся к предмету, к любой вещи, на которую не стоило обращать внимание или приобретать ее, закрепилось, и частенько Аня ловила себя на мысли, что с волшебным миром, миром иллюзий ей удобнее и проще. Там все становилось сразу на

свои места, она понимала смысл и значение всякого события, фразы, особенностей характера человека. И этот иллюзорный мир так порой увлекал ее, что в реальной жизни она терялась и ей было менее комфортно, чем среди ее фантазий.

Выручало одно — театральная студия, которую она посещала не только ради удовольствия, но и потому, что так мир, ее окружающий, становился ей более понятным.

Педагог их студии нечасто хвалила Аню, этого и не требовалось, Аня сама знала, что делает что-то очень правильное, и разве стоит за это хвалить? Это все равно, что знать нотную грамоту или букварь, таблицу умножения и думать, что это какая-то заслуга. Нет, Аня так не считала и только верила, и с каждым месяцем все больше, что все для нее в этой жизни решено и она знает, как сложится эта жизнь, что с нею будет, кем она станет. Иногда она понимала, что это всего лишь ее заблуждения, иллюзии, та вера, с которой было легче, сподручнее что ли жить. Но, однако, верить так хотелось, и она верила.

Это не означало вовсе, что у нее всегда все получалось, нет. Например, в «Русалке» Александра Сергеевича Пушкина у нее никак не шла сцена, в которой князь объясняет свое отсутствие, и как девушка охотно верит ему. Верить-то верит, но как быть с сомнениями, с тем, что где-то в глубине сознания она точно понимает, что это неправда и что за всем этим объяснением стоит другая причина. Но вот как это выразить?! Она понимала, видела это, что и педагог не вполне довольна ее работой. И однажды Аня почему-то прихватила на свою репетицию пруттик и во время объяснения князя стала не во все глаза смотреть на него, а, помахивая прутиком, отводить от него взгляд, устремляя его далеко-далеко, очерчивая вокруг себя круги или другие замысловатые фигурки. И получилось, что она, хотя и слушает молодого человека, но что-то ее все время отвлекает, что-то никак не позволяет до конца сосредоточиться и участвовать в этом диалоге.

Преподаватель, старейшая актриса, тоже оказавшаяся в Ташкенте во время войны и так и не уехавшая, как и многие артисты, да и не только они, смотрела внимательно, ничего не говорила и только после репетиции оставила Аню в зале одну. Она подошла к ней, почему-то потрогала ее косы, туго заплетенные и схваченные внизу коричневым бантом, хотя многие девочки в девятом классе уже поотрезали свои волосы, совсем становясь взрослыми и так обозначая это повзросление. Но Аня пока не спешила, даже и не помышляла пока о стрижках. Ее вполне устраивали длинные, цвета лесного ореха, густые вьющиеся волосы. Вернее, они больше всего нравились маме с папой, а ей больше всего на свете не хотелось огорчать и разочаровывать именно их.

— Ты на улице веточку подобрала?

— Да, около дома. А что, разве нехорошо?

— Нет, отчего же? Даже наоборот. Помнишь, мы говорили о вторых планах, о том, что чем больше таится в том, о чем человек молчит, что не выражено в слове, то становится особенно дорогим и полнее раскрывает роль?

— Да, помню. Но сцена все никак не шла, я же чувствовала. Она же понимает, что не все правда в его словах. Вот он и вздыхает, и слишком спешит оправдаться, да и складно уж очень все у него получается. Что-то не верится в такую сказку.

— Верно, не верится. Знаешь, можно ведь предложить чашечку чая любимому человеку и так попросить выпить его, что станет понятно: это объяснение в любви. То есть не всегда следует спешить со словами, они иногда только все портят. Вдумывайся в их смысл, а еще лучше в то, что стоит за ними, что на самом деле думает, испытывает человек. Тогда, только тогда все становится на место. Роль — это вовсе не слова, не текст даже, а намерения героя. Вот ты поняла, что хочет твоя героиня?

— Ну... Замуж хочет...

— Правильно. Хочет. Но это не очень удобно, она

по-другому воспитана, она же простая девушка, а он князь. И этот твой прутик пришелся очень кстати. Он и отвлекает, и в то же время заставляет сосредоточиться на главном. И само получается, что она хочет еще что-то сказать, но не решается. Поддакивает ему, а сама думает о чем-то своем, о чем-то важном очень. Правда?

— Да. Как же она любит, даже жалко.

— Что ж делать, так все в жизни. Нужно делать все, и любить — тем более — изо всех сил, на какие только способен. Как будто завтрашнего дня уже не будет. Понимаешь?

— Понимаю. Я иногда думаю, что никогда не полюблю. А иногда даже боюсь этого.

— Отчего же?

— Что думаю, так полюблю, просто до смерти, до невозможности жить.

— Понятно. Страшно даже. Ну, иди. Прутик оставь. А если завтра еще что-нибудь придумаешь, давай, приноси, все время ищи и тогда получится.

Ане сделалось так хорошо и даже весело, что она выбежала из здания школы и чуть ли не бегом добралась до своего дома все три дороги и четыре перекрестка.

А дома была мама, которая часто приходила с работы раньше шести, а с ней была и тетя Тамара. «Такая хорошая», — подумала Аня и обняла ее. Они, как и обычно, вели свои женские разговоры, в которых Аня не участвовала, а только знала, что речь непременно пойдет о дяде Лене, на которого тетя Тамара жаловалась, что он сильно пьет и только день лекций в университете становится поистине светлым днем. Именно тогда ее дядя Леня не пьет. По крайней мере, до самого вечера. Аня жалела Тamarочку, такую маленькую и розовощекую, ей было так обидно, что она и так сидит здесь, в Ташкенте, в то время, как ее дочка находится далеко, со своими дедушкой и бабушкой. Она не очень понимала, почему так происходит и зачем это нужно, раз война уже кончилась и все дороги теперь свобод-

ны, можно ехать куда угодно. Не понимала и того, отчего это Тamarочка так и не имела своего дома и по большей части жила у них с мамой и папой? Ей, конечно, было весело, хорошо, Тamarочка часто говорила с ней, помогала учить историю, которую она хорошо знала, она же училась в ТашГУ на историка! Но жалела, что Тamarочка говорила, как тяжело ей одной, без своих близких. Мама спрашивала, что же дальше, на что Тamarочка отвечала, что Леня уезжать не хочет, а без него жизни нет никакой. Вот так и приходилось жить, не имея толком этой жизни. Как ее можно было иметь, если твой ребенок живет за много тысяч километров и редко-редко видит свою маму?

Аня еще знала, что по старой дружбе тетя Надя, с которой мама общалась редко, но все же иногда виделась, потому что справлялась о своих хрустальных побрякушках, отданных на хранение и так и стоящих у них дома, так вот, по старой такой дружбе эта тетя Надя иногда заходила к ним, садилась на терраску и дымила вместе с тетей Симой, расспрашивая о всяких новостях. Они ее хотя и интересовали, но до какой-то только степени. Так, она никогда не ходила на папины спектакли, не бывала у них в доме на праздниках, не интересовалась Аниной учебой и просто жила отшельницей. Только курила немеренно. А с тетей Тамарой знакома была самым неожиданным образом. Сразу после войны тетя Надя тоже поступила в университет на истфак и там-то познакомилась с тетей Тамарой. Иногда они вместе шли по Карла Маркса, но тетя Надя сворачивала потом на свою Коммунистическую, а Тamarочка шла дальше, до дома мамы Ани. Она и Анину маму узнала благодаря тете Наде, которая не стала дружить с Тamarочкой, а только так, иногда встречалась на занятиях, а потом и вовсе оставила учебу. Но дружба с Валентиной стала упрочиваться и потом продолжилась еще долгие годы, и когда Тamarочка жила в Ташкенте, и уже после ее отъезда к себе в Ленинград после смерти дяди Лени. Она, эта смерть была закономерной: он вышел из дома будучи нетрезвым и — вот

она, нелепость — угодил под машину. Так и погиб нелепо. И потом еще какое-то время тетя Тамара оставалась в городе, но, закончив университет, все же собралась к своей семье.

Получалось, что подруг у мамы Ани было целых три: тетя Сима, хотя она и жила совсем рядом, через стенку, потом тетя Люся, с которой мама работала, и тетя Тамарочка из Ленинграда. Была, конечно, еще и Нина Петровна Алексеева, но она была больше чем подруга, она была почти второй мамой Ани, так они все были близки и понимали друг друга. Виделись не так часто, как с остальными, но по крепости, преданности и умению помочь друг другу эта дружба превышала все остальные.

Аня очень гордилась тем, что у ее мамы столько друзей и что и папу ее ценят и любят. Вот и на занятиях в драматической студии тоже о нем говорят всегда уважительно и даже завидуют Ане, что у нее такой отец.

Счастливое Анино детство вот-вот должно было оставить ее, так как приближалось окончание школы и впереди маячила новая, какая-то неизвестная жизнь. Но что она каким-то образом будет связана с театром, для Ани было несомненно.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СОВСЕМ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

*Птичка подлетела к самой середине озера, расправила крылья так широко, как это было только возможно, и резко ринулась в воду. Захватив крошечный улов, она метнулась вверх, а затем уже понеслась в сторону леса, где и затерялась в густой растительности. На фоне вот-вот опустившихся сумерек вся эта картина смотрелась сказочно и почти нереально: так картинно бросалась птичка к воде и столь же молниеносно и с добычей выпрыгивала оттуда и удалялась. И так было не раз и все повторялось и повторялось. Что это была за птичка, понять было трудно, поскольку на чайку она не была похожа. Он все смотрел на нее и переводил ее движения на свой язык, на свой лад: он тоже был быстр и вынослив и также, как эта птица, проворен. Но только не было настоящего пристрастия и, главное, того, кому можно было принести улов. Однако он все думал, что еще не все потеряно.*

Вместе со школой кончились и многие иллюзии и даже надежды. Например, Аня была уверена, что станет чуть ли не первой ученицей, точнее, уже студенткой в театральном институте. Но оказалось, что талантливой девушкой была не одна только Аня, и предстояло многое сделать, чтобы доказать свое право на законное место в учебном заведении и на право становится актрисой.

На вступительных экзаменах она не рассчитывала на снисхождение, да его и не было, так строги были преподаватели. Весь основной костяк был из педагогов, нынешних и бывших актеров, многие из которых оказались в Ташкенте в эвакуации. Они были интеллигентны и строги, и даже наличие ее знаменитого отца, которого все знали, оказалось едва ли не против Ани. Все ждали именно от нее чего-то такого необычного и неожиданного, что она едва не провалилась, так растерялась поначалу. А было от чего растеряться. Комис-

сии — десять человек, все смотрят хотя и доброжелательно, но их так много и все почти незнакомые, что Аня от волнения стушевалась. Однако недаром ее фамилия таила своего рода вызов: Кремнёва! Она должна была — это она точно знала — сделать и убедить! Убедить! И она начала.

«Как тот актер, который оробев, теряет нить давно знакомой роли, как тот безумец, что впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли, так я молчу, не зная, что сказать...» Голос звучал так высоко и прекрасно, был таким завораживающе глубоким, почти звучащим контральто, что только по абсолютной тишине в зале она поняла, что прочитала убедительно. Все молчали, и только один пожилой и очень полный мужчина с места спросил: «А хотели бы сыграть мужскую роль?» Аня отступила, чуть не задохнулась, потом неожиданно ответила, что уже и теперь готова. «Так мы слушаем». И она исполнила монолог Сирано де Бержерака из одноименной пьесы, одним единственным жестом подчеркнув наличие большого носа. В ту пору произведения Ростана переписывались едва ли не всеми молодыми людьми от руки, книг было не достать, и Аня выучила этот волшебный текст просто потому, что он ей понравился. В ответ ей ничего не сказали, но она вышла из зала совершенно обескураженная: и от счастья, и от избытка волнения, и, конечно, от ожидания.

И когда ее приняли, она считала, и так написала в своем дневнике, что это самый счастливый день в ее жизни. А косы она так и не остригла пока.

А потом начались будни, которые тоже были самыми счастливыми. Вообще, детство, плавно перетекшее в юность и затем уже в совсем взрослую жизнь, все сплошь было наполнено ощущением счастья и наполненности, какого-то нескончаемого чувства прекрасного. Иногда сама же Аня испытывала едва ли не страх от того, что все так здорово и слаженно получается. И где-то тоже иногда понимала краешком сознания, что не всегда так будет в ее жизни и что так просто даже не может быть. Но пока же было, и это было замечательно.

Репетировали, искали, постоянно искали новые отрывки, всем курсом совещались и много спорили по поводу того, что взять в качестве дипломной работы. Понимали, что не каждый курсовой экзамен может стать в последствии дипломом, но как заявку рассматривать можно было и любую курсовую.

Учитывая ее одаренность и то, что на весь курс и вправду расходилась пьеса Ростана, педагог, древний, почти без возраста Марк Аронович, приехавший из Москвы в Ташкент с двумя чемоданами книг и оставшийся в городе навсегда, ученик Сулержицкого, был в полном восторге от выбора пьесы. Никогда еще в качестве диплома не бралось произведение Эдмона Ростана. На роль самого героя, конечно, определили Аню Кремнёву, на роль его избранницы, капризной возлюбленной Роксаны — Таню Зайцеву, в остальных же ролях был занят весь курс. Более того, многие роли дублировались: их исполняли по два участника, прямо как в театре, а иногда и по две роли сразу. Это давало такой простор фантазии, раскрывало возможности ребят, что они были в постоянном поиске, работали не только вечерами, но оставались иногда и за полночь.

Однажды в три часа ночи, когда репетиция была в самом разгаре, и разбирали сцену Сирано и Роксаны, все остальные участники, утомившись, дремали по углам мастерской, на пороге появились Анины мама и папа. Они, ничуть не смутившись, так, по крайней мере, казалось, прошли к столу Макароныча (его подпольная клочка) и спросили, как долго еще продлится репетиция. На что Макароныч, тоже не смутившись, поскольку просто не знал, который час, ответил, что еще довольно много работы, что дети совсем не подготовлены и что хорошо бы из них сделать снова первый курс, который они явно пропустили (был действительно другой педагог), и вот тогда-то можно было бы кое-что слепить. А пока это жалкое зрелище! Так сказал мастер, и ему можно было верить. Мама сразу запечалилась, но старалась не подавать вида и только попросила завершить занятия, так как на дворе был уже чет-

вертый час утра. Макароныч очень удивился, сказал, что сроду не носил часов и что скоро, раз родители так просят, можно и закончить. Однако от слов он вовсе не перешел к делу, как подумали было все, а продолжил сцену с новым приливом вдохновения. И оказалось, что он был прав: сцена пошла легко, словно по маслу. Аня — Сирано, так выразительно, так экспрессивно вела диалог, что задремавшие студенты оживились и прилипли к дверям. Аня меняла ритм своего монолога, интонации были живыми, а совсем не походили на отчеканенный текст. И эта ритмическая разбивка, отсутствие выученности, деланной, искусственной, наполняло роль прелестными красками, выразительными, зажигательными, провокационными. То, что девушка исполняла мужскую роль, придавало этой роли, герою только дополнительных красок. Аня и мастер и не собирались скрывать, кто таится под маской Сирано, напротив, грим был минимальным, образ женщины никак не тушевался под мужским нарядом, и все это придавало дополнительный объем образу. Такая обнаженность и отсутствие камуфляжа подчеркивали некоторую незащищенность героя, его ранимость и — в силу этого — постоянное стремление провоцировать судьбу, идти на конфликт, его дерзость в сочетании с обнаженной открытостью миру. Его жажда добра, желание видеть его во всем и во всех становились неким абсолютом, выдержать который могли, конечно, не все, включая капризную Роксану. Под стать ему, равного ему не было никого, и это чувствовали как сами герои пьесы, так и исполнители. Да и само дарование Ани перекрывало все возможные сомнения относительно самого выбора пьесы и выбора исполнителя. Она была поистине неподражаема. От природы поставленный голос, его модуляции, живой и полетный звук действительно завораживали, действовали как магнит. Аня в своих широченных шароварах была легка и грациозна, двигалась легко, чему очень способствовали занятия по сценическому движению. Там студенты отрабатывали приемы с ножом, драки, а также рукопашный

бой и, что самое важное, фехтование. А фехтовать по ходу пьесы приходилось довольно много, и это требовало определенных физических сил и молниеносной реакции.

Ребята не просто любили, они обожали занятия по сценическому движению и танцу. Аня в основном любила испанские танцы и цыганские. Была у нее определенная выправка и чувство такта, ритма, какая-то экспрессия и лаконичность па и поз. У ее подруги Тани, напротив, была какая-то протяженность линий, она больше любила русские плавные танцы и соответствующие движения. Они и сошлись, наверное, потому, что были такими разными.

Еще была Люда Буряк, прибывшая к ним из Кемерово. Почему ее понесло после войны в далекую Азию, сказать уже трудно, но Ташкенту она не изменяла и была верна ему до конца. С ними же вместе училась и Неля, оказавшаяся в эвакуации из Подольска. Была она постарше остальных, высокая, с пучком на голове и странными, чуть ли не старушечьими повадками, от походки и до своего внешнего вида. Часто обижалась не по делу, но вообще-то была хорошим товарищем, могла выручить и деньгами, хотя сама и не была богачкой, но, видно, из дома присылали. И потом, уже на третьем курсе замечательно репетировала Любу, горьковскую героиню из пьесы «Последние». Ее странная угловатая пластика, нос с выраженной горбинкой как нельзя кстати подходили под роль горбуни Любы.

Весь курс, а это двенадцать человек, жил совершенно дружной счастливой жизнью. Были ли препирательства или несогласия, уже трудно вспомнить, осталось ясное ощущение сплоченности и дружбы, полного согласия и взаимопонимания.

Конечно, случались отдельные трения, как без этого молодым здоровым, ищущим людям! Но курс действительно славился своей сплоченностью и умением удивлять своими отрывками и фрагментами из пьес.

На первом курсе были и случайные люди, весьма далекие от проблем театра и от любви к нему и от

них очень скоро удалось избавиться из-за их профнепригодности. Например, был такой Гревцев, неизвестно как поступивший на курс. Но он был, и его совершенное непопадание в интересы коллектива обнаружилось очень рано и полно. Он только одним и был озабочен — девушками, которые приходили то на репетиции, то на посиделки курса и никак не вписывались в общий настрой и общие интересы. Так, на Новый год, который отмечали как раз у Ани дома, он явился с какой-то фифой, наряженной как кукла, которая глупо улыбалась и никак не попадала в общий тон по Чехову. Напряжение достигло предела, когда он при всех стал настойчиво и непозволительно грубо обнимать свою подругу при всех. Это выпячивание не понравилось не одним только девочкам, но и ребятам. Состоялся приватный мужской разговор, и Гревцев был изгнан из дома.

В другой раз, уже на 8 марта в доме у Мишки, который жил у кабельного завода (довольно далеко по меркам почти всех ребят, проживавших в центре), он привел особу, с которой через короткое время оказался в кровати в одной из комнат. Ребята намеренно перешли туда, танцуя, а потом и вовсе отправили их во двор в баню. Было понятно, что парочка расположилась там надолго, и тогда ребята пошли на маленькую жестокость: принесли им рюмки со спиртным, куда насыпали слабительного. Видно, доза была приличная, потому что через какое-то время Гревцев выскочил из баньки и бегом помчался к туалету, который тоже располагался во дворе. Вскоре за ним отправилась и его спутница, и такие вылазки их повторялись несколько раз.

Да, ребята отомстили нерадивому студенту несколько наивно, может, даже глупо, но тем самым дали понять, что он, Гревцев, чужак в их стае. Аня тоже была на этой вечеринке и наблюдала за приготовлениями ребят. Смотрела молча, ничего не говорила, но было понятно, что она на их стороне. Да и как могло быть иначе на курсе, где царил вполне целомудренный ат-

мосфера, где в этюде, который на первом еще курсе предложил ассистент мастера, пожилой Василий Алексеевич Козлов, нужно было поцеловаться, даже не так, а просто на отдыхе, на море, сидя на песке, герой, разомлевший от чудной погоды, от близости с очаровательной подружкой, не выдержал и поцеловал ее в щечку. Боже мой, что же произошло из-за невинной шалости Генки Якубова, поцелуй с которым не был оговорен и был чистейшей импровизацией! Аня вскочила и отлетела, как ошпаренная, к окну. И там встала, не зная, что делать дальше. Козлов обождал какое-то время, а потом спросил, в образе ли Аня или это ее каприз. Девушка молчала. Молчал весь курс, настолько неожиданным было поведение как самой Ани, так и Генки. И только еще через несколько минут Козлов все понял, велел садиться влюбленной паре, и произнес речь, навсегда оставившую след в памяти Ани. «Что бы не произошло на сцене, вы должны быть готовы ко всему. Абсолютно ко всему. На сцене возможно все, но это все нужно оправдать. Сегодня мы все убедились, как Аня вышла из образа, из действия, точнее и просто-напросто закапризничала. Это недопустимо. Но, надеюсь, такое происшествие не пройдет бесследно и останется в памяти. Вы станете актерами, мало ли что кому в голову взбредет, мало ли что на самой сцене может случиться. Вдруг декорация рухнет или еще что-то. Вы всегда должны быть готовы к игре. Она должна стать вашей частью, вашим вторым я. Сцена — не только важное и серьезное мероприятие, но веселый легкий праздник, и на таком празднике всякое случается. Знаете, Вахтангов говорил, что на сцене можно и зад почесать, вот только оправдать нужно. Вы в первом полугодии показывали этюд, и во время действия упала икона с подставки. Но никто даже не среагировал, а это плохо. Такие неожиданности — лакомые кусочки для артистов, их нужно обыгрывать, не бояться. Вам же помешал страх, вы были зажаты и не хотели включаться в прелестную игру. А надо, ох как надо было! Ну ничего, теперь вы точно будете знать, что всякая

неожиданность, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, — камертон правды. Идите к правде, желайте ее, достигайте, а когда она сама сваливается вам в руки, управляйте ею. Словом, полюбите театр с его неожиданностями!»

Ребята молчали, и каждый думал о своем. Все понимали, что Василий Алексеевич говорит выстраданные вещи, понимает сам, о чем говорит, но сомневались, смогут ли они вот так запросто, любя и легко принять все то, чем одарит их театр. С его непредсказуемостью, умением преподносить сюрпризы, ставить в тупик, удивляться. И об удивлении говорил еще Василий Алексеевич. Он сказал, что природа театра такова, что только те смогут выдержать и вынести ее, полюбить и принять, кто сохранит навсегда, он подчеркнул это, способность удивляться. «Вы не раз во взрослой своей жизни еще услышите про детскость и про то же удивление, но сегодня мы говорим об этом впервые, и пусть разговор наш западет вам в память».

Как же хорошо было в институте! Аня знала каждый его уголок, закоулочек, каждую аудиторию. Она любила даже после занятий остаться и прогуляться по свободным классам, где уже закончились занятия и где можно было помечтать и снова и снова представить себя во взрослом, настоящем театре. Оставалось немного — дождаться этого! Как же ей хотелось скорее, как можно скорее оказаться на настоящих подмостках! И вскоре такая возможность представилась. Их курс пригласили участвовать в дипломном спектакле режиссерского курса по пьесе Бертольда Брехта «Трехгрошовая опера». Ане предложено было сыграть уличную акробатку, остальным девочкам — курочек, как их звали в пьесе, или проституток. И еще им было разрешено присутствовать на репетициях старших. Руководила курсом стройная моложавая женщина, которая только на вид была мягкой и улыбчивой. В первые же минуты знакомства отчетливо понималось, что перед тобой сильный, властный человек. Изольда Петровна была очень одаренным режиссером, умела так выстра-

ивать спектакль, выделяя его основное ядро, что не оставалось ни малейших сомнений, о чем пьеса и что хотел сказать автор, а вместе с ним и постановщик. Ее упертость и волевой характер делали свое дело: она держала дисциплину, все подчинялись ей беспрекословно, хотя двое молодых людей на самом деле были едва ли не ее возраста. Она и действие «Трехгрошовой оперы» выстроила таким образом, что фигура главного героя, Мекки-Ножа, была под стать самой Изольде: сильного, бескомпромиссного вожака. Девочки, которые были заняты в постановке, только оттеняли происходящее, весь акцент был на нем, на главном герое. Никакого водевильного начала не прослеживалось, наоборот, явственно звучала драматическая нотка, несмотря на обилие зонгов, ритмических танцев, того пластического рисунка, которым актеры Изольды владели безукоризненно.

Дело приближалось к летней сессии, и надо было, помимо своих отрывков, участия в спектакле, учить и другие предметы. Первой стояла западноевропейская литература. Ее вела маленькая дама с хитроватым прищуром глаз, слегка картавящая, но предмет свой знала хорошо и читала интересно. Именно ей предстояло сдавать первый в институте экзамен.

Накануне самого экзамена, как обычно, была репетиция, а потом целая ночь, когда можно было подготовиться. Вчетвером они учили, что и почему написал Фейхтвангер, а что Мопассан, отчего Флобер так поступил со своими героями и когда жили, творили эти и другие писатели девятнадцатого века. Всех интересовало почему-то Стендаль со своим трактатом «О любви». Ребята словно черпали ответы на свои личные вопросы, прикасаясь к этому произведению. Словом, было очень интересно, но прошла ночь и почему-то Фенимор Купер, совсем из другого времени, стал лидировать во всем блестящем списке имен, а потом и вовсе сдался. И еще путь стал освещать Сервантес и Шекспир, хотя ни к какому девятнадцатому веку оба вовсе не относились. Но что поделать, в головах студентов

вдруг нарушился порядок вещей и возникла чехарда. Дон-Кихот преградил путь Гамлету, бедный Йорик стал на пути у возлюбленных Стендаля и «Красное и черное» совсем затмило небосвод, очертив некий круг, где явственно значились имена Гарсиа Лорки, Пабло Неруды и Габриэлы Мистраль, прекрасных поэтов века двадцатого, по произведениям которых ребята делали композицию по сценической речи, и все — свет погас, наступила если не тьма, то показались явные потемки. «Все смешалось!» И это не в доме Облонских, а в преддверии важного экзамена по предмету, на который возлагали мастера большие надежды. Были в них и негативные намерения. Так, получивший неуд, готовился к отчислению, и никакое мастерство актера уже не спасало.

У Ани к утру что-то тоже перемкнуло в голове, но она еще храбро держалась и думала, что, как и в школе, все в нужный момент разомкнет, она соберется и вспомнит, как обычно, все. Однако произошло иначе. Когда преподавательница спросила ее, какие произведения написал Мопассан, она почему-то напрочь забыла и про «Жизнь», читала которую еще в школе, и про «Евгению Гранде». Ей четко представился Мекки-Нож в своем прекрасном черном одеянии, и она легко рассказала, как Бертольд Брехт создавал свою систему и что метод его многие так и не поняли, а он очень сценичен и называется очуждением. Дальше она замолчала и пыталась связать имя драматурга из Германии с любимейшей страной Францией, но в голову лезли только песни на французском языке, которые она, не зная перевода, лихо исполняла на своих капустниках.

Наконец она опомнилась и решила рассказать про Эдмона Ростана, уж очень французским он ей казался, хотя к изучаемому периоду тоже вряд ли имел отношение. Но рассказать очень хотелось, и она, не долго думая, вспомнила свой знаменитый монолог и начала произносить текст. Умная и ироничная Инесса Михайловна внимательно слушала, но время шло, память к Ане явно не хотела возвращаться, и тогда

преподавательница заметила. Миролюбиво, надо сказать. «Анечка, вы читали учебник? Хорошо, если да. Там много чего хорошего написано, но вот о Ростане — совсем в другом месте. Не в этом веке он жил, да и Брехта вы напрасно отослали так далеко. Я сожалею, но вынуждена поставить вам два». Аня смотрела куда-то мимо Изольды Петровны и думала о том, что как сейчас здорово, наверное, в темных кулисах театра, где вечером должна быть репетиция. Инесса Михайловна прервала ее размышления: «Но хочу вам предложить выход. Я помню, как вы слушали лекции, как участвовали в них, поэтому, наверное, это какое-то недоразумение. Приходите послезавтра. Вам хватит времени?» Аня очнулась, услышала последние слова и с благодарностью ответила: «Конечно, я сейчас вспомнила, что и Теккерей, и Сервантес никогда не пересекались во времени. Я все-все вспомнила, но сегодня вряд ли они займут свои правильные и достойные места. У меня все перепуталось». — «Вот и хорошо, распутывайте, идите».

С этими словами Аня вышла, но горестное чувство так и не настигло ее, напротив, она была полна сил и решительности приступить к вечерней репетиции, лишь бы она скорей началась. Однако когда она уже подходила к театру, ей показалось, что силы слегка покинули ее, и бессонная ночь легонько напомнила о себе. Но она отмахнулась и решила, что воля сделает свое дело и что надо преодолеть желание спать.

Когда закончилась первая сцена, и она удачно сделала колесо, села на шпагат, и все курочки собрались, чтобы пропеть Мекки свою песню, Изольда Петровна вдруг прервала репетицию и построила их курс на сцене. Вот тут-то Аня и зевнула. Это увидела режиссер, помедлила, а потом громко, на весь зал спросила: «Ты что же, Аня, может, спать хочешь?» И Аня, не видя подвоха, ответила, что да, хочет. Все засмеялись, но Изольда рукой остановила смех и отчеканила: «И это ты хочешь работать в театре? Ты, которая в святом месте смогла зевнуть? Запомни, девочка, сцена может

вытерпеть все! Все, кроме желания спать и равнодушия. Поняла? Свободны!» Аня даже не успела сразу понять, что за ЧП произошло, а девочки уже сбегали со сцены, кто прыгая прямо в зал, кто уходя за кулисы. Только Аня медленно и печально прошла через всю авансцену и оказалась наконец вне опасности.

Так получилось, что все вскорости разбрелись кто куда, и Аня осталась одна. Она собрала свои вещи — купальник спортивный, трико и тапочки, пригладила волосы, которые так и были заплетены в косы, и так же медленно вышла на улицу. Направо, до сквера Революции было идти минут пять, но она преодолела это расстояние никак не за пять минут. Так, двигаясь по Карла Маркса, она шла и шла, приближаясь к своему дому, который отстоял от театра не так уж далеко: каких-нибудь полчаса пешком. Она шла и заново рассматривала город, который этой весной стоял совсем непохожий на другие весны. Может, оттого ей так казалось, что в город пришел покой и какое-то долгожданное равновесие. Люди так устали от войны, от тревожных вестей, след от нее еще оставался почти в каждой семье, и иногда казалось, что по-настоящему мирное время наступит еще не скоро. Но наступали иной раз такие времена или возникали такие ощущения, когда казалось, что все хорошо и так и будет хорошо, что тяжелые испытания навсегда покинули солнечный край и легкая беспечность, которой он был пронизан, снова вернется к нему и уже не оставит никогда.

— Девушка, вы что так медленно идете? У вас что-то случилось? — услышала Аня голос прямо над своей головой. Она взглянула на говорившего и удивилась. Перед ней стоял молодой человек, очень высокий, с явной выправкой военного, волосы у него были гладко зачесаны, а лицо выражало неподдельное изумление. И чему он так удивился, трудно сказать, но потом Аня поняла, что дело, скорее всего, в ее настроении и просто усталости.

— Ничего не медленно. А если хотите, идите быстрее.

— Ну уж нет. Мне, наверное, с вами по пути.

— Вы так думаете?

— Думаю. Я всегда, знаете, думаю. И мне кажется, что я даже могу кое-что сказать о вас.

Аня промолчала, размышляя над словами незнакомца, но почему-то взглянула на небо, увидела там чудесный овал уходящего на покой солнца, и ей стало хорошо, даже весело.

— И что же вы можете сказать?

— Что вы, скорее всего, живете в этих краях, а сейчас возвращаетесь после учебы. И что она сегодня была не особенно удачной. Мне кажется, что вы волевой человек, просто сейчас расслабились. Так и надо. Иногда надо дать себе поблажку. Но только иногда.

— А вы?

— Что я?

— Даете поблажку себе?

— А как же. По-другому нельзя. Но совсем немного, чтобы не раскисать.

— Вы что же, военный?

— Был им. Нет, неточно, остаюсь им, но уже не на фронте.

— Вы там были?

— Конечно.

— А живете... здесь живете?

— Здесь я у родственников, а живу далеко, вы, наверное, там и не бывали.

— Как знать, может, и была.

— Я из Ленинграда.

— Ой, а я там родилась! Представляете?

— Конечно, потому что сам там родился.

— А на какой улице?

— Я с Васильевского. А вы?

— Мы жили на Казанской.

— Да, вы, наверное, были совсем маленькой девочкой?

— Конечно, мы сюда уехали, когда война началась. Так и остались.

— Ничего, еще приедете.

— Да, может быть, даже этим летом. У нас там была большая комната.

Аня тут же смутилась, ей показалось, что она говорит что-то лишнее, что можно и избежать таких подробностей. Она замолчала, и молодой человек тут же понял, что с ней. Во всяком случае, он сказал: «А ничего, если я вас немного провожу?» Аня помедлила и ответила:

— Мне кажется, вы уже это делаете.

— Вот тебе раз!

— Да ничего страшного, идем и идем.

— Знаете, в жизни хорошо все делать осознанно.

— Вот вы, к примеру, осознанно ко мне подошли?

— Конечно, я за вами с самого сквера иду. Иду и люблюсь. И наблюдаю, как меняется ваш настрой, о чем вы думаете...

— Неужели со спины это видно?

— Представьте себе.

— Тогда скажите, долго нам еще идти?

— Нет, совсем недолго. Вот вы оживились, значит, дом ваш совсем близко. А зовут вас... Попробую угадать.

— Зачем угадывать, мы не на викторине, — к Ане вернулся ее насмешливый, твердый ум и умение ставить человека на место. — Зовут меня Анной, а вас?

— А меня Алексеем Владимировичем. Фамилия моя Елифанцев.

— А моя — Кремнёва.

— Вот мы и познакомились, спасибо.

— Пожалуйста. А я пришла.

— Уже? Быстро же. А завтра вы пойдете на занятия?

— Пойду. Но сама пойду.

— Я это понял. Всего вам хорошего, до свиданья.

Аня махнула рукой и вошла в свои ворота.

Ночью ей приснился странный сон. Такие она виде-

ла частенько: со значением и почти реально осязаемыми ощущениями, которые потом, в настоящей жизни восстанавливались, оживали, и казалось, что реальность на время просто поменялась местами с ночными сновидениями. Она увидела себя, плывущей в очень маленькой лодке, такой маленькой, что она едва там помещалась и управляться с веслами было трудно. Но по мере того как водная поверхность становилась все больше, почему-то незаметно стали расти и объемы самой лодки. К середине моря или огромного озера она уже уверенно гребла, сидя в лодке довольно внушительных размеров. И неожиданно услышала музыку, идущую откуда-то из глубин водной глади. Музыка звучала сначала нежно и тихо, потом все точнее она стала различать слова, и, наконец, мелодия сделалась такой мощной, такой убедительной, что не оставалось сомнений в том, что она имеет прямое отношение к действительности и что, проснувшись, Аня услышит ее снова, и она снова и снова будет возвращаться к ней.

Я обниму тебя руками, всем телом, всей машиной чувств,  
Измерю жизнь свою слезами, ее, святую из искусств,  
И медленно шагну в пространство, где нет ни страха,  
ни беды,

Сойдемся в приглушенном танце и не почувствуем воды,  
И будем плавно погружаться в стихию

солнечной мечты,  
И из вершин протуберанца оставишь отблеск только ты,  
И солнце спросит о пощаде, и свет луны его спасет,  
И я увижу, как цунами все множится и мощь растет.  
Но из осколков мглы и света сплетем мы солнечный  
венок,

Растает сон и в яви где-то я выдерну из ножн клинок,  
Услышу, как поет подснежник, как птица над водой  
летит,

Вовек не стану я прилежным и жить возьму тебя  
в свой скит,

Раскрою тайны мироздания и бережно, как ученик,  
Распутая загадки знания и вдруг почувствую, как сник,  
Как безответно пуст мой голос и как клонится голова,  
И клонится и куст, и колос, и тяжелеют жернова,  
Что точат и мешают слуху пробиться сквозь

запреты лжи,

Услышь и ты меня, прошу я, и пару теплых слов скажи.  
И вот тогда веноч согласия меня поднимет к небесам,  
Ты примешь вдруг мое участие и вдруг поверишь чудесам.

Аня все еще плыла, все еще слышала призывный голос, но где-то самым краешком сознания, какой-то тайной, которой не дано никогда стать явью, осознавала, что что-то в этих словах затронет и ее, и когда-то, может, много-много позже коснется ее, но потом, совсем потом.

Она проснулась, быстро встала, отгоняя от себя остатки сна и сложные впечатления, и поняла, что необходимо снова открывать книгу, чтобы к завтрашнему дню быть готовой. Но странное дело: постепенно, по мере того как она делала свои домашние дела, возвращалась не просто память, но ее стройность и последовательность, и события девятнадцатого века начинали выстраиваться в ясную цепочку имен, дат, названия произведений. Она поняла, что просто устала, запуталась и нужно только одно: хорошенько сосредоточиться. Она мыла посуду, разговаривала с тетей Симой, проходила мимо посаженного папой винограда, выносила ведро, а в голове все отчетливее и внятнее звучали голоса милейших представителей западноевропейской литературы. Она начинала отделять один век от другого, распределила всех писателей по полочкам, вспомнила, кто к какому времени относится, и ей стало весело. Как она могла забыть, кто и что написал, да и жил когда? Вот бы сейчас пойти и сдать этот экзамен! «Мадам Бовари» четко отделилась от «Красного и черного», Мопассан ожил и заговорил своим удивительным языком грешника и провидца. А Стендаль все

так же очищал сердце от чепухи и наносной дряни, так чист и свеж был его опыт и страдания. Нет, не «Страдания юного Вертера», она это уже усвоила, но совсем другая линия, которая явно прослеживалась именно в это время, время века девятнадцатого. Поиска смысла жизни, места под солнцем, буквально сопряженного с местом в светских салонах, и преодоления разных на этом пути сложностей и перипетий, любовь и борьба в связи с этим выраженных противоречий: чувства и долга, обязанностей, чести и невозможности противостоять чувству, греховность этого чувства, толкающего на крайность, на преступление.

Все это обрело контуры и очертания, и Аня сожалела только о том, что до завтра еще так много времени, да и репетиция в театре тоже состоится только завтра. Ах, как жаль, как жаль потерянного дня! А то, что он пропал вне репетиций и института, было совершенно ясно.

И Аня решила пойти на базар. Вот именно сегодня она сама приготовит ужин, порадует родителей, тем более что деньги всегда лежали в тумбочке, и она могла ими воспользоваться.

Она взяла семь рублей, плетеную сумку и отправилась. Идти было не так далеко, тем более что все вокруг только способствовало тому, чтобы радовать глаз и поражаться действиям природы. Весна в этом году была такая ранняя, что уже в мае солнце припекало изрядно. Все давно распустилось, даже отцвело, и уже повсюду росла спелая крупная вишня, поспевали следом яблоки, которые пока еще так и манили своим сочным зеленым отливом. В каждом дворе, повсюду, даже на улице можно было увидеть фруктовые деревья с плодами. Их не обдирали даже дети, так, только иногда срывали ради баловства, но веток не ломали и сами деревья тоже щадили. Улицы напоминали цветущий сад, так зелены и чисты они были. Самая прелестная, самая первая чистота зелени, конечно же, приходилась на апрель, но и в мае еще не было так пыльно, чтобы город посерел. Это случалось значительно позже, в

июле где-то, когда солнце и пыль делали свое дело и от цвета зелени оставалась блеклость, стирались живые, колоритные краски, но даже и в этом состоянии город радовал своим волшебным ароматом, который, как казалось, несся с самих базаров и достигал дальних уголков. Можно было подумать, что чуть ли не круглый год в нем все произрастает, цветет и насыщает терпким запахом спелой зелени все вокруг.

Но сейчас была еще весна, хотя и душистая, и жаркая. И Аня с радостью шла по улице Гоголя, свернув с Карла Маркса, и уже проходила мимо памятника писателю, и слева и справа оставались маленькие домики, которые, как и повсюду в городе, объединены были в дворики, и каждый такой двор имел вход, ворота, а каждый житель свой, хотя и крошечный порой, но садик. И в нем тоже непременно что-то росло, пахло, благоухало.

Жители, ясное дело, любили свои крохотные надежды, но чтобы день и ночь пропадать там, возделывая и ухаживая за землей и будущим урожаем, — нет, такого не было. Ленца и та же беспечность, которой отличался город, переносились и на эту сторону жизни. Сад садом, но это как бы само собой разумеющееся, а всегда можно было пойти на базар и на три рубля купить всего, чего душе угодно было. Тем более фруктов. Как грядки где-нибудь в российских деревнях или пригороде, где всегда что-то вырастало, но за чем непременно надо было ухаживать, так в южном легком городе росло много всякого, но стараний, таких как, скажем, в подмосковных или ленинградских — тем более — поселках, прикладывать не приходилось. И отношение к вырастающему словно по волшебству тоже было соответствующее. Словом, то, что вырастало у тебя под боком, совсем-совсем рядышком, не принято было раскладывать на стол и угощать этими дарами природы. Нет, только то, что с базара, что специально выращивали дехкане (колхозники), ценилось как лакомство и настоящее угощение.

Входить на Алайский можно было с нескольких сто-

рон. Ане удобнее и быстрее всего попадать было не с самого центрального входа, а чуть сбоку. Уже по ходу сидели на корточках, скрестив ноги, мужчины и с закрытыми, чаще всего, лицами женщины, которые торговали зеленью. На рубль можно было купить два десятка пучков, так как стоила она всего пять копеек — пучок. Аня не спешила и прошла вглубь, чтобы пройтись по рядам и не то чтобы взять подешевле, но насладиться самим процессом продажи, тем, как предлагали колхозники свой товар, как нахвалявали. Слышались отдельные возгласы, так делали далеко не все, да особенно кричать и не полагалось: все и так знали, что надо покупать и что товар чаще всего хороший. Так, отдельные нетерпеливые продавцы, уставшие от сидения в жару могли прокричать громче других: «Иди сюда, самый сладкий лук тут!» А на клубнику, тазами которой базар был завален, говорили примерно так: «Пять минут, пять минут — таза нет, подходи, сосед». Царила общая атмосфера доброжелательности, спокойствия и даже в таком бойком месте — отсутствия суеты. Все роли были расписаны, и покупатели с продавцами четко их соблюдали. Никто ничего не путал, да и до того ли здесь было?! Еще частенько говорили: «Не проходи, сюда, сюда иди». Но Аня пока шла и все еще медлила с покупками. Вишни было такое количество, что казалось, скоро ее просто начнут отдавать даром. Но делать этого не полагалось, так как тогда и могли нарушиться те самые роли, от выполнения которых сохранялось спокойствие и равновесие. И все тоже это знали и торговались до известного предела, потому что «с походом», как называли торговцы выше нормы, больше по весу отданный товар, получалось и так совсем много. Можно было и заплатить, и та игра в уменьшение цены была не более чем обычным законом и правилами, действующими на базаре. Никто никогда базар не называл рынком, как в российских городах, и Аня, будучи на отдыхе у бабушки с дедушкой под Куйбышевым, никак не могла понять, почему у них называется рынок, хотя продукты там такие же, как у них

на базаре. Только меньше и не так весело. И лица не такие открытые, а все больше хмурые и неподступные. А у них радушные взгляды, легкое, веселое обращение, все не так, короче, как на их российских рынках. Нет, точно, ей куда больше нравился их город, их базар и их лица. И еще — институт и театр. И все девочки, и ребята, хотя пока с девочками было интереснее. Совпадали взгляды, даже переживания, даже наряды, хотя, конечно, каждая приносила в свою одежду что-то только свое, исключительно свое. И Аня еще подумала, что раз у нее сегодня такой огромный свободный день, то пора бы сшить что-то из той ткани, что подарила тетя Нина, и в качестве выкройки использовать мамину красивую кружевную ночную рубашку. Она была похожа на узбекское платье: та же кокетка, присборенная от груди и свободная в талии. Но Аня решила, что непременно украсит платье каким-нибудь цветком, тем более что с тетей Симой здорово научилась их делать.

Но наконец она увидела самые красивые, еще совсем зеленые яблоки и купила килограмм. Потом, конечно, вишню, зелень, и только тогда вспомнила, что начать надо было с мяса. Но ничего, в отдельный пакет бумажный положат, не примнется вишенка. И еще надо было не забыть о лепешках. Они были в тех же рядах, что и фрукты, вернее, ближе, чем к мясу. Хотя их-то продавали повсюду: и у любого входа-выхода, и просто между рядами ходили, предлагали, и в самых неожиданных местах. Она взяла две обычные, а одну более сдобную, витиевато выгнутую, для сладкого чая.

И мяса купила килограмм, и лука, и моркови, и уже поняла, что все, хватит: много всего, дотащить бы! Соблазниться хотела на рис, но передумала и решила сходить за ним как-нибудь отдельно, не все забрать за один раз. Картошка дома была, и она решила приготовить кавардак по-узбекски. Он готовился как обычный кавардак, но все дело решали специи, горький длинный перец, те приправы, которые каждому узбекскому блюду придавали свой особый вкус.

Уже на самом выходе она надумала прикупить наборчик. Эта связочка из нескольких нарезок овощей так и называлась — набор. Его обычно клали в суп. Он состоял из дольки свеклы, травы, моркови, завязан был ниточкой и его так с этой ниточкой и варили, пока не наступал момент, когда его можно было выбрасывать. Но он придавал аромат любому супу и без набора суп был не тот, что надо.

Так вот, купив еще и набор, Аня направилась к дому, неся свою сумку и еще пакет, прошитый с трех сторон, в который обычно накладывались все базарные покупки. Их продавали тут же, и были они чуть больше или чуть меньше, но выручали всегда и всех. А главное — их можно было использовать и потом, в другой раз.

— Девушка, давайте, я вам помогу, — услышала она над собой голос, как и накануне. Она обернулась и увидела вчерашнего мужчину, который был в той же тенниске, так же аккуратно причесан и так же, как и вчера, доброжелателен и сдержан одновременно. Но сдержанность была какая-то внутренняя, что ли, так не чувствовалось никакой черствости или холодности. Просто он не говорил лишнее.

— Что, неужто испугались?

— Я не боюсь вас.

— Это хорошо, даже правильно. Давайте ваши сумки.

— Вы что же, рядом живете или тоже на базаре были?

— Нет, я был у вас, но встретил вас только здесь. Ясно излагаю?

— Ясно. Идемте, раз так.

— Вот и я думаю: раз так.

Они шли по той же улице Гоголя, которой недавно шла Аня, и оба говорили совсем не о том, о чем на самом деле думали. Вроде бы произносили незначительные фразы, обмолвки, но сами радовались встрече, хотели как можно больше и поскорее узнать друг о друге все-все и даже больше, но продолжали идти рядом и говорить о городе, о его надвигающемся зное, о его цветении, наконец.

— Скажите, а вы какой, хитрый?

— Я? Может быть, но только в той мере, в какой должен быть хитрый разведчик, охотник, то есть настоящий человек мужского звания. А вы?

— Я? Не знаю, не думала.

— Думали, раз спросили именно об этом. Но не важно. Лучше скажите, сможем ли мы сходить сегодня в кино? Думаю, сможем.

— Вот вы какой! Я же еще не сказала.

— Ничего, иногда решение нужно брать на себя.

И Какой вы хитрый.

— Я же говорил вам.

— Мне нужно приготовить обед.

— Согласен, я буду поваренком, а еще лучше — просто подмастерьем.

— А сами готовить умеете?

— Я же охотник, как без этого? Но, может, не плов, но кое-что могу.

— Тогда так: вы режете, я варю. И еще...

— Что?

— И еще командую.

Оба засмеялись и молодой человек согласился, сказав, что всякая новая роль — это испытание души и памяти.

— А почему памяти? — спросила Аня.

— Потому что память сосредоточивает в себе то, что человек подчас и не испытывал, не проходил, но в генах она все равно откладывается в виде опыта, в виде той эмоции, которая в нужный момент выбирается на поверхность и осуществляет себя в полной мере.

— Вы что же, психолог?

— И психолог, иногда просто псих, но на самом деле закончил физфак, ну, если быть точным, почти закончил, диплом остался.

— А я...

— Пойдите, молчите, я попробую сказать... Вы — молотобоец.

— Что? Это я-то?

— Молотобойцы — отличные стрелки, у них точная

координация, и это определение стоит понимать шире. Вы — нежный молотобоец, с артистической внешностью и повадками прыгучей козы, то есть козочки. А то опять обидитесь.

— Я не обидчивая. Кажется, так.

— Вот и отлично. Это ваш двор, не правда ли?

В этот момент они действительно приближались к воротам Аниного двора, и ее попутчик чуть замедлил шаг.

— Вы точно не против? Родители не поругают?

— Они у меня умные и верят в меня.

— Вопросов нет.

Молодые люди прошли по длинной кирпичной дорожке, выложенной Аниным папой в самую глубь двора, где находился Анин дом и садик. Перед калиткой она посмотрела на него и строго сказала:

— Готовы слушаться?

— Всегда готов.

— Тогда вперед, проходите.

Они вошли в калитку, миновали виноградник и оказались на Аниной терраске, где как раз сидела тетя Сима и курила папиросу.

«Тетя Симочка, познакомься, это...». Она не успела закончить, как молодой человек сам нашелся: «Я — Алексей Владимирович Елифанцев».

«Понятно, — сказала тетя Сима, во все глаза разглядывающая вошедшего. — Милости просим. Таких знакомых Анечки и не знала, что ж, теперь буду».

— А я только вчера стал ее знакомым.

Тетя Сима хмыкнула, но ничего не сказала. Что-то убедило ее, что ничего плохого от этого человека не может последовать. И она успокоилась.

— Вчера так вчера. Располагайтесь. Анечка, ты что, готовить собралась?

— Да, Симуль, буду. Вернее, будем.

— И что же ты сготовишь?

— Кавардак по-узбекски.

— А что, не по-узбекски — это по-другому? — спросил Алексей Владимирович.

— Все дело в специях, — отозвалась соседка и важно погасила свою папироску. — Ну, что ж, зовите, если помощь нужна. — С этими словами она сошла с терраски и вышла в свой садик. Именно там у нее стояла мангалка, которую она и решила разжечь для будущего кавардака.

А молодые люди занялись делом: стали резать мясо, мыть, готовить зелень, и Алексею Владимировичу поручили чистить картошку, с чем он мастерски справился. Подготовка кавардака — совсем не хитрое дело, поэтому сделали все довольно быстро и поставили казан на Симочкину мангалку. Сами же прошли в Анин садик и сели под виноградником. Алексей смотрел на Аню и ничего не говорил. Взял какую-то веточку и стал крутить ею то по тропинке, то поднимал ее и скользил по веточкам. На самом деле он хотел задать много вопросов своей новой знакомой, но не на все был готов. И все же он спросил:

— Если бы вы могли изменить свою жизнь, то что бы прежде всего сделали?

— Я и иду к изменению жизни. Вот, сейчас институт, потом театр. А он — ежедневные перемены. И в себе самой, и в окружающем, в людях, во всем. Вчера чуть двойку не получила, завтра, надеюсь, прибавлю. Все перемешалось, а сегодня как-то так устроилось и встало на свои места. Со всеми разобралась, с писателями, драматургами.

— Учиться — это правда любить надо. Можно было бы в двух институтах, я был бы готов.

— Например, в каком еще?

— Например, в художественном, понимать, как, с чего начинается картина, что в ней превыше всего, как достичь того цвета, композиции, которые в итоге получаются. То есть сердцем я все понимаю, но хочу быть реставратором, понимать, что и откуда. Это всегда важно — знать причину и следствие. В любом деле. В нашем же тоже, правда?

— Да, у нас нужен мотив, потом предлагаемые обстоятельства, это — самое важное. И тогда я — в пред-

лагаемых обстоятельствах. И сыграть можно все! Все-все! Подождите, я помешаю.

С этими словами Аня убежала, а Алексей остался сидеть под виноградником и даже не сразу заметил, как открылась калитка и вошла Анина мама.

— Ой, а у нас гости, да?

— Да. — Алексей поднялся, оторвавшись от своих мыслей, и сказал: — Меня зовут Алексеем.

— Хорошо, вы садитесь. Аня там?

Мама прошла на терраску, спустилась на Симинову территорию и там встретила со своей дочкой. Дочка смутилась, так как еще никогда так запросто не заходил к ним молодой человек, к тому же едва знакомый и который так здорово помогал Ане в ее готовке. Но мама была мудрой, все уловила, поняла, не стала ничего выпрашивать и, когда блюдо было готово, позвала обоих к столу. Пригласили и тетю Симу. Она сменила платье, ощущая торжественность момента, и тоже присела за стол, который стоял в садике у Ани под виноградником. Кавардак выложили в ляган, так называлось блюдо с узбекским орнаментом, все красиво накрыли, тут же заварили зеленый, девяносто пятого номера чай и поставили пиалушки.

— Я уже заметил, что у вас здесь сразу подается чай. В России это делается после обеда, — заметил Алексей.

— А у нас и до обеда, и во время и даже после — тоже чай, — сказала свое слово тетя Сима, потом засмеялась и добавила: — И на работе пьем только его, он у нас на все случаи жизни. Без него никак.

— Так вы из России будете? — спросила, словно уточняя информацию, мама. — Откуда же?

— Я родился в Ленинграде, там и теперь живу, здесь же у родственников, точнее у родной тетки, она, как и вы, приехала в эвакуацию, да так и осталась. Она у меня преподаватель, доцент университета. Знает историю, археологию. Много экспедиций провела.

— А живет где? — снова спросила мама.

— А здесь неподалеку, около ТашМИ. У нее домик, похожий на ваш, и тоже есть виноградник в саду. У вас так странно называется палисадник — садик, точно?

— Да, все так привыкли, — сказала Аня.  
— Это здорово, потому что создает ощущение общего города-сада.  
— А так и есть, — снова отозвалась тетя Сима.  
— Очень вкусно, даже не думал, что обычный кардак может быть таким необычным.  
— Аня у нас мастерица, чего только не научилась стряпать еще в школе. Мы с отцом все больше на работе, она под Симочкиным присмотром росла вполне самостоятельной.

Аня все это время ела немного, все больше слушала и всматривалась в своего нового знакомого. Ей было не только все интересно, что он скажет, но и как он держит ложку-вилку, как сквозь слова просвечивает то, что он думает или только намеревается сказать. Она заметила, что у него есть привычка (надо же, уже увидела, сказала она себе) вскидывать голову, будто ему что-то мешает. Вот и сейчас он пригладил волосы и снова сделал то же движение. «Странно, — подумала Аня, — может, у него что болит, но ведь не спросишь же. А вообще-то он красивый, ну или симпатичный. И не старается угодить, все больше к маме обращается. Это хорошо, что не заискивает, это говорит о силе характера. Так значит, он сильный? А тебе что нужно, чтобы слабак был? Вон их, на курсе полно. Нет, это я загнула, конечно, но, например, Эдька Давыдов, чем он-то силен? Что отчудил на днях? Так это не он первый уже. Второй или нет, даже третий после Сережки Коноплева будет. Надо же, «останься, Аня, после занятий, мне тебе кое-что сказать надо будет». Осталась, пошел провожать. «Ты только не смейся, но я знаю тебя лучше тебя самой. Поэтому выходи за меня замуж». Что, не засмеешься после этих слов? Это же Эдька Давыдов, с которым упражнения и задания всякие на сцендвижении делали, и он туда же. Вот не думала. Обидела? Может, и обидела, не знаю, но не врать же. Так и сказала: «Эдька, да ты в своем уме? Мы же учимся!» Ничего себе довод. И он свое: «Ну и что? И будем учиться». — «Нет, Эдька, ты свихнулся, какое

замуж? Мне актрисой надо становиться». — «Вот и станюсь, я помогу». — «Ты? Ты же комик». — «Ты опять за свое. Комик, но не гомик же». Они оба грохнули и до трамвайной остановки шли, уже смеясь и цепляясь за каждое слово. Эдька ее развеселил так, что она долго не могла успокоиться.

— Ань, ты что, совсем нас не слышишь? — спросила мама, дотронувшись до руки дочери.

— А? Нет, слышу. А вы слышите, как вечер подкрался?

— Может, в кино ходим? — спросил Алексей, и Аня вышла из забытья.

— Сходите, конечно, — поддержала гостя Тетя Сима, но Аня вдруг сказала:

— Не сердитесь, я дома останусь, завтра экзамен.

— Вы же готовы!

— Все равно.

— Приходите к нам еще, — провожая гостя, сказала мама, и Аня закрыла за ним калитку.

А еще через день он встречал Аню у ее дома, прямо у ворот. Она спросила, почему он не заходит, но он ушел от ответа и был почему-то очень строг, а может, просто печален. Но точно какая-то тревога была совсем рядом с ним. Аня посмотрела внимательно и вдруг поняла: он должен уехать. За прошедшие дни она множество раз перебирала их разговоры, встречи, но только теперь, вот сию минуту, что-то случилось с ней и она поняла: все это не просто так, эта встреча отзовется и во всей ее будущей взрослой жизни, потом, много позже, и просто так не пройдет.

— Я был в городе всего немного больше недели, думал, задержусь, но дела. Мне надо ехать. Приглашаю сегодня в гости. Пойдешь? — Он вдруг перешел на ты, сам не заметив этого, как видно. — Я подожду здесь, выходи. — И с этими словами он отошел от ворот и остался стоять у большого странного дерева, дерева-скамеечки, где ребятня, становившаяся все взрослее и взрослее, привыкла собираться около него, сидеть вокруг, благо, много было на нем выступов, чтобы си-

деть и разговаривать. Когда, заходя в ворота, Аня оглянулась, то увидела, что он тоже присел на краешек дерева. «Ничего, это хороший знак», — подумала девушка и по двору побежала быстро-быстро, уже зная, что наденет, и думала только о том, чтобы еще увидеть его и чтобы с его отъездом не кончилось бы знакомство. Или что это? Трудно сказать, пока — да, знакомство, но какая же в нем притягательность!

Аня быстро переделалась, надев зеленое платье, которое сшили вместе с Любочкой, и им еще помогала Любина мама, ставшая в последние годы хорошей портнихой, и уже теперь медленно пошла назад по своему дорогому двору, не встретив, к счастью, никого. Даже тетя Катя, и та не стояла у своей калитки, напрочь разнесенной в дикие куски, не кричала на маленьких, которые, как и Анины сверстники в другие времена, продолжали купаться под водопроводом, а злая немка тетя Катя все так же кричала на них «сволочи». И, казалось, время обошло ее стороной: все выросли, даже старели, и только тетю Катю оно не брало совсем. Она даже внешне мало изменилась.

Когда Аня появилась, Алексей уже стоя ждал ее, и они, не сговариваясь, отправились в дорогу. Шли сначала молча, потом он отчего-то взял ее за руку, и она не сопротивлялась. Добрались до ТашМИ — медицинского знаменитого института, свернули на железнодорожные пути и очень скоро оказались у похожей на все ташкентские калитки, которая легко открылась, и они так же легко ступили внутрь сада. Их никто не встретил, и Аня поняла, что тети не будет, что дома никого нет. Она сбросила туфли у входа, как это полагалось во всех городских семьях, и оказалась в просторной, чисто убранной комнате, в самой середине которой стояла огромная витрина с разной величины камнями и табличками к ним. Это было что-то вроде шкафа, только с огромными стеклами, которые призывно говорили об интересах хозяйки и столь же настойчиво открывали что-то вроде тайны: хозяйка и не старалась скрыть эти свои интересы, она словно настаивала

на том, что вот она я, и я — такая. Это было очень интересно, тем более что Аня ничего подобного до этого не видела.

Она повернулась и разглядела накрытый стол с фруктами и чистыми тарелками.

— А что, мы ужинать будем? Ой, и вино еще здесь.

— Да, и вино, и сейчас я открою плов.

— Кто ж его сделал?

— Тетя Вера, она мастерица. И знала, что у меня будет гостья.

— Какой предусмотрительный!

— Я такой. Садись, сейчас открою казан.

Аня удивленно смотрела на приготовления Алексея, который, хотя и не был жителем Средней Азии, все делал точно по их заведенным традициям. Он ловко выложил на ляган плов, открыл нарезанный тонко-тонко салат из помидоров с луком — ачичук — и протянул руку: мол, угощайтесь. Но Аня не спешила, она почему-то медлила и старалась не думать о том, что они вдвоем, что ситуация напоминает ей какие-то кадры виденного фильма и что это может вот-вот закончиться. Она смотрела на плов, на приготовленные тарелки, на самого хозяина и думала о том, что сейчас, наверное, мама думает о ней, а сама Аня — о своем доме и о том, как долго еще ей жить в нем, и когда предстанут перемены, да и случатся ли они.

— Ты не слышишь меня? Кушай. Давай поднимем бокалы этого светлого вина и выпьем.

— За что?

— За то, что я уеду, но ты меня не забудешь. Можно так спросить?

— Можно. Я и не забуду.

— Нет, я очень серьезно.

— Я тоже. — Аня смотрела прямо на Алексея, ничего не боясь, и только старалась запомнить странный жест и то движение, какое производил молодой человек, особенно когда о чем-то говорил. Она поняла, что и он взволнован. — А вы... ты был на войне?

— Был, конечно, был. Как ты поняла? Я знаю, что как-то кручу головой. Смешно, наверное?

— Я бы не сказала.

Алексей поднялся, подошел к Ане и взял за руку. Она не отрывала свою ладонь, так и держала. Через мгновение он сказал:

— Через месяц я получу диплом, а у тебя тоже будут каникулы. Приедешь? Ко мне приедешь? Ты же наша, ленинградка?

— Я уже тутошняя. Но приехать хочу. — Она почему-то отняла руку и встала. Он привлек ее к себе, и Аня задохнулась от невыразимо странного чувства: ее еще никто не обнимал, и она думала, что воздух так и закончится скоро, и дышать уже будет нечем. Она охнула, отступила, но не сказала ничего, а только поднесла руку к губам и едва не заплакала. Он стоял молча, ничего тоже не говорил, а потом привлек ее снова и снова почти задушил, хотя прижимал очень бережно и даже нежно. Это просто Ане так казалось, так она нервничала и так стучало и пыталось убежать сердце. И было ощущение, будто ее сжимают со страшной силой, неистово и пытаясь что-то сломать или выкрутить.

— Ой, я, наверно, пойду. Страшно.

— Мне на войне тоже так страшно не было, как сейчас. Подожди, еще минуту. Так как, дождешься?

— Пойдем, пора. — Он отступил еще на шаг, потом поднял снова бокалы и спокойно, как казалось, сказал:

— Плов удался, а на улице... на улице жарко. Идем, я провожу тебя.

Они шли медленно, и каждый думал о своем, и не было такого шороха или звука, который бы пролетел мимо их слуха и не тронул, не коснулся. Что-то произошло, что именно, трудно было пока сказать, но Аня вспоминала недавний сон, музыку, неведомые прежде ощущения и хотела только одного: поскорей оказаться дома. Хотя и дорога, которой они шли, была такой недолгой, короткой, Аня думала, что вот теперь все в ее жизни будет по-другому, и уже хотела, чтобы дорога не кончалась, чтобы скорей прошел месяц и ее бы отправили в Ленинград, в город, где она станет совсем-совсем взрослой.

Наступала ночь, луна была полной-полной, и Аня почти не спала. Потом было утро, день, затем еще один и так прошел месяц, и пролетели экзамены, и показан был спектакль, и все приняли их этюд с Юркой Муравичкиным, и все было замечательно. Все, кроме одного: она скучала по Алексею и ждала, когда родители примут решение о ее поездке. И снова была ночь, и наступил еще один день, и Аня стала собираться в дорогу.

Вечером отец посадил ее на кушетку, стоявшую в первой комнате, считавшейся большой, а в ней-то всего было четырнадцать метров, и решительно сказал:

— Ты, Анюта, уже совсем взрослая. И надо тебе расширять кругозор. А Ленинград посмотреть — дело святое. Ты там родилась, я — тоже, наша с мамой там молодость прекрасная прошла. Заодно справишься, узнаешь, кто там в нашей комнате теперь. Может, еще не все потеряно. Сможешь узнать?

— Узнаю.

— А родители у него есть?

— Только мама, с отцом связана какая-то тайна. Но на войне был.

— А сам? Сам-то воевал?

— Был последний год войны, а так, все четыре года в блокаде пробыл с матерью, не успели уехать. Тетя Вера уехала сюда, а мама все медлила, боялась, что муж не узнает, где они: писем не было. Так и остались. Еле выжили.

— И контузия у него была.

— Я заметил.

— А когда? Ты же его только у наших ворот и видел.

— Да когда? Тогда и заметил, когда стал с ним знакомиться и говорить.

— Папа, он хороший.

— Ты у нас тоже хорошая. Вот, отпускаем тебя с матерью. Оправдаешь наши надежды?

— А как же! Я же всегда оправдывала. Скажи, тебе этюд с Юркой понравился?

— Еще бы! Сильный парень, далеко пойдет. Про-

странства ему мало, так и хочет что-то фантастическое учудить. Так и с этими голубями.

— Представляешь, сначала не хотели утверждать этот этюд, думали, завалит. Тогда он еще один работал, ну, когда шел по жердочке, спасал голубя. Для первого полугодия это годилось. Без слов, на одни физические действия. Макаронычу понравилось. Но он же еще не был нашим руководителем, а Козлов тогда тоже редко приходил, собирался уже уезжать из Ташкента. А главный наш, Лобач, одобрил, сказал, что получится, только девушку хорошо бы ввести. Меня и взяли.

— Ты что же, поначалу голубем была?

— Да зачем? Я просто рядом с голубем оказалась, нас обоих он спасал.

— Да, замечательный в самом деле получился этюд. Юрка ваш молодец.

— Все Юрка да Юрка. А я?

— И ты умница. — Папа обнял свою дорогую доченьку и спросил, готов ли ее чемодан и вообще...

— Папуля, у меня все, абсолютно все готово. И деньги подальше спрятала. Ехать же четверо почти суток.

— Там вокзал в Москве буквально напротив, выйдишь, прогуляешься, а через три часа поезд на Ленинград. Смотри, не растеряйся, не забудь.

— Да что я, маленькая что ли?

— Знаю, знаю, что не маленькая, но все же. И еще, дочка. Береги себя. Ты меня понимаешь? Надеюсь, что ты умница и вправду и все понимаешь. Но, не буду занудствовать, все сказано. Осталась одна ночь.

А наутро Аня проснулась и явственно поняла, что скоро, очень скоро наступит такое время, когда надо будет что-то серьезное очень решать. И она подумала, что справится.

На вокзале было много народа: одни уезжали, другие провожали, но сутолоки, суеты не наблюдалось, скорее, проходило таинство отъезда чинно и без спешки. Многие были с цветами.

У Ани оказалось третье купе и место нижнее. Папа

загрузил ее чемодан вниз, под стол поставил сумку с продуктами и огляделся. Наконец в вагоне показались двое: мужчина и женщина, оба средних лет, и их провожала взрослая дочь, которая все упрашивала взять с собой цветы.

— Ну, что ты, Нюрочка, до Арала они сразу же засохнут, до Москвы не доберутся. Оставь дома, все-таки наши, ташкентские.

Папа попросил, чтобы попутчики приглядывали за дочкой, мол, в первый раз едет. Но мама неожиданно защитила Аню:

— Ничего-ничего, все будет хорошо, она совсем взрослая, еще вам поможет.

— А мы вас где-то видели, — сказал мужчина. — Вы не из нашего театра будете?

— Буду, — сказал папа и неожиданно рассмеялся. Громко, от души, как только это он умел делать. — Приедете, приходите на спектакль.

— Какая радость, придем непременно. Я и фамилию вашу знаю, — сказала женщина. — Вы — Кремнёв.

— Точно, — ответил папа, и тут объявили, чтобы провожающие покинули вагоны.

Возникло некоторое замешательство, но и оно не перешло в сутолоку, и провожающие с поцелуями и объятьями мирно покинули вагоны.

Какое же это было чудо — вокзал того времени! Он напоминал подиум, куда приходили граждане, чтобы увидеть знакомых, пообщаться, показать себя. Причем надевалось все самое лучшее, все стремились не просто быть нарядными, но атмосферу праздника, что излучало вокзальное действо, оттенить и поддержать. Своего рода спектакль, не иначе, который сопровождался импровизационным текстом, неожиданными встречами, а стало быть, мизансценами. Никаких выкриков, повышенных голосов, все ровно, чинно, благородно. Такая ситуация была вполне оправдана и объяснялась стремлением людей после войны в любом месте, даже в таком, не особенно располагающем к идиллии, закрепить ощущения и ожидания победы и соответ-

ственно праздника. Настрадавшиеся люди, так долго пребывавшие в ожидании светлых известий, сочинили и здесь для себя некое пристанище, где можно было выступить в новом наряде, с новым знакомым, да и просто обновленным человеком. Конечно, эти детали не так уж выпячивались, вся игра была более простой и безыскусной, но то, что вокзал в пятидесятые годы был явно местом привлекательным и отнюдь не скандальным, не взрывным, точно.

Поезд шел около трех суток. Впоследствии это время то значительно сужалось, то, напротив, растягивалось, но что около трех, так это точно. Когда проезжали Аральское море в ту пору, оно еще не было высохшим и его заполняла вода. На станции продавали много разнообразной рыбы, но Аня получила строгий наказ родителей не есть рыбу в поезде, поэтому воздержалась. А вот пирожки ее соблазнили, и она купила один. Их же купили и попутчики из вагона, к которым присоединился еще потом молодой мужчина, ехавший до Куйбышева. Он чаще всего спал и не стал заметной фигурой в их купе. А пара была интересная, оба преподавали в университете, тоже были родом не из Ташкента, а из Москвы и пригласили и Аню к ним в гости, когда узнали, что она будет в тот же вечер пересаживаться на ленинградский поезд.

Вообще ехали дружно, ели часто, чаю пили вдоволь, который исправно носили проводники, и без всяких кондиционеров добрались в срок до столицы. Когда Аня на перроне услышала туш, бравурную музыку, чуть не заплакала от счастья: настолько ей показались символичными и встреча, и огромные здания, которые уже виднелись на подъезде к городу, и сами люди, веселые и улыбочивые. Да, в те годы они были именно такими, и такие лица не забываются.

Ее попутчики действительно настояли, чтобы она отправилась с ними, тем более уверили: билет брать не надо, только прибыть к поезду. И она согласилась. За ними тем более пришла машина, светло-коричневая «Победа», за рулем которой был средних лет муж-

чина в гимнастерке, и они отправились. Ехали, как показалось, Ане, очень долго. На самом же деле дом семьи Яхровых находился на Смоленской площади, а это было совсем не то, что ехать в какие-нибудь современные Кузьминки.

Когда Аня подняла голову, чтобы сосчитать количество этажей, ее соломенная шляпка свалилась на землю, и она так и не сумела понять, сколько же этажей в этом доме и как им предстоит подниматься. На это был, естественно, лифт, в котором она никогда прежде не ездила, и они оказались перед дверью квартиры. Им открыла в возрасте женщина, в белом переднике, очень сдержанная, но, несомненно, приветливая. По меркам и представлениям Ани о большой квартире, которую она видела, скажем, у Лены Вольинской, своей одноклассницы, эта была еще больше. Ну, намного больше, раз в пять, наверное. Ей предложили пройти по комнатам и осмотреться, что она с удовольствием и сделала. Насчитала пять. Еще был балкон, с которого Москва казалась если не игрушечной, то совсем маленькой. Этаж был восьмой, и Аня в своем городе никогда тоже не поднималась на такую высоту, тем более что таких домов у нее в городе и не было совсем.

Стол был накрыт, их ждали, и Аня с удовольствием увидела, как много прекрасных и незнакомых яств выставлено на нем. Все было свежее, горячее, но совсем непривычное. Ели суп, который еще со времен детского сада Аня терпеть не могла, потом жареную курицу, было несколько видов салатов, а еще пельмени. В красивых светящихся кувшинах были квас, компот и сок. «Ужас, ну и ну, не только у нас могут закормить, но и здесь!» Она услышала: «Ну, что, Анечка, как вы, немного отошли от поезда? Кушайте, а то когда еще удастся горячего поесть?»

Часы, стоящие на полу, пробили девять часов, и решено было, что на вокзал Аню отвезут на той же машине. «Нечего девочке по метро ездить. Заблудится еще!» — сказала Валерия Никитична и действительно,

вскоре они спускались вниз, и машина уже ждала их у подъезда. «Здорово», — думала Аня, но время все больше сокращалось, и она отметила, как сжимается сердце: скоро, совсем скоро ей предстоит увидеть Алексея, и как все будет, она не могла представить. Понятное дело, что думала, мечтала, сочиняла саму встречу, но знала твердо, что действительность опрокинет все ожидания.

Хозяева попрощались с ней, вложили листочек с адресом и телефоном, велели звонить и попросили сообщить, как она доберется до Ленинграда. На этом московская часть поездки была закончена, и уже через полчаса она шла по перрону, чтобы сесть в восьмой вагон и ехать в город Ленинград.

Оставались еще минуты, и она снова и снова рассматривала вокзал, перрон, спешащих, торопящихся людей. Первое, что бросалось в глаза, конечно, величественность и даже помпезность вокзала. Тем более что комплекс поддерживало соседнее здание гостиницы «Ленинград», стоящей чуть поодаль, но явно намекающей на родственность и причастность к ленинградскому вокзалу. Его высота, устремленность ввысь словно настаивали на особом статусе здания, его обособленности и редкости. Она уже знала, что таких огромных зданий в Москве несколько, и только не успела побывать у здания университета: не хватило времени. Но решила, что непременно это сделает на обратном пути.

Однако она заметила и то, что той неспешности и отсутствия суеты, какой-то домашности, что ли, что были явными на ташкентском вокзале, здесь не было и в помине. И Аня сделала для себя маленький вывод. Люди, даже все сообщество людей всегда отражают особенности города. Вот и вокзал тоже таков: в Ташкенте одно, здесь, в огромном городе все иначе — обстоятельнее, деловитее и более отчужденно. Это у нее дома чуть ли не раскланивались друг с другом, настолько многие были знакомы, а иногда и просто на всякий случай; в Москве же все были чужими, тут не очень-то

раскланиваться пристало, засмеют. Не деревня же, в самом деле! Нет, очевидно, что дома ей было значительно симпатичней, к столичной сутолоке и несметным массам людей еще предстояло привыкнуть. А на это требовалось время. То, что вокзал — как маленькое отражение жизни народа, было, конечно, точным наблюдением. И ритм города, и его привычки, и даже то, как он разговаривает и слушает людей, все это говорило о том, что же есть этот город на самом деле. И вокзал в точности отражал его традиции и уклад.

Вот и в купе все было иначе, не так, как в Ташкенте, где все сразу стали знакомиться и общаться. Здесь только один пожилой мужчина вел себя так, будто ездил на поезде едва ли не каждый день, так спокойно и несуетливо он вел себя. Остальные же были родственниками и не особенно обратили внимания на молодую девушку. А она знала, что утром проснется уже в городе своего рождения, и ничего страшного в том, что ее проигнорировали. Белье было немного влажным, но, поскольку на дворе стояло лето, это не волновало. Она расположилась и стала смотреть в окно. Однако увидеть что-либо было нельзя, так как стояла уже ночь, и вскоре даже огни перестали мигать.

Она лежала и думала об Алексее, о последнем телефонном разговоре, где она сообщала о своих передвижениях. Он даже вызвался встретиться ее в Москве, но она отказалась. Зачем такие траты, если всего через ночку они увидятся? Он знал время, вагон, и она представляла себе, как они встретятся, что скажут. Прошло два месяца, целая вечность. Что ее ждет?

Она проснулась от резкого толчка и прикосновения. Ее пожилой попутчик трогал ее за плечо и говорил, что пора подниматься, приехали. Она вскочила и сразу посмотрела в окно. Но на перроне никого знакомого не увидела. Она вышла из вагона, прошагала весь путь, все восемь вагонов и уже собиралась войти в здание вокзала, как ее окликнули. Она оглянулась, но смотрел на нее не Алексей, а совсем другой человек. Был он тоже высок, тоже аккуратно причесан, но в

фигуре, во всей его позе сквозила какая-то тревога. Может, это ей только показалось? Она подошла, молодой человек назвал себя, звали его Олегом, и Аня все смотрела, желая одного: поскорее узнать, отчего нет Алексея.

— Видишь, такое дело...

— Что случилось?

— Да...

У него была явно странная манера говорить, с какими-то паузами, привычкой подергивать свой воротник. Словом, он нервничал, это было ясно.

— Да говорите же скорей, — Аня схватила его за локоть, — говорите.

— Тут позавчера как раз Алешка под машину угодил.

— Под какую машину? Где? Что вы такое говорите?

— Нет, не на улице. В лаборатории. Машина там одна есть, так и зовут машиной. Вот и проблемы, меня послал.

— Он жив? Он может говорить?

— Ну раз послал! Только ходить не может. А так — в полном порядке. Велел вас пристроить. Поедем к нему домой.

— Что? Я никого не знаю.

— Узнаешь.

Молодой человек, явно склонный к лаконичным изъяснениям, вывел Аню на улицу, и только тут она подняла голову и увидела перед собой стоящее полукругом здание, а главное — уловила особый воздух, совершенно непохожий на московский, и уж тем более — на ташкентский. «Как будто рядом море», — подумала почему-то Аня, сама не зная, насколько же оказалась права в своем определении воздуха. В Ленинграде он был и правда особенным. Она, конечно, растерялась, но присутствия духа не теряла и активно соображала, что теперь делать, куда идти. Хотелось, естественно, сразу к Алексею, но Олег сказал, что сначала они поедут к маме, а потом уже в госпиталь. «Надо же, госпиталь, почему? Хотя да, он же военный. Или

был им». Они сели на седьмой троллейбус и отправились на Петроградскую сторону, где жила мама Алексея. Может быть, так и было лучше, но нетерпение Ани достигло какого-то такого предела, что впору было не послушаться и повернуть назад. Она спросила, чье это пожелание, и Олег спокойно ответил, что так решили все. «Кто это все?» — снова подумала Аня, но послушно шла по улице к дому Алексея.

Этот старенький, даже ветхий дом поразил ее не просто изрядной обветшалостью, но что-то в нем просвечивало такое жалкое, что его и вправду становилось жаль. Он, такой большой и все же красивый, был похож на живое существо, которое так состарилось и обнищало и которого, по всей вероятности, забросили родственники, что он просто терпит, скорбит и сносит все невзгоды судьбы.

Когда по большой, совсем не дряхлой лестнице, они поднялись на третий этаж, и когда мама Алексея открыла им двери, и когда наконец она увидела эту женщину, то сделалось хорошо, почти совсем здорово. Такая добрая стояла мама в платке, наброшенном на плечи, хотя было лето и совсем не холодно, и так это подходило под привычный образ жительницы города, о котором Аня уже успела послушаться и от родителей, и от знакомых, что можно было четко сказать: да, это коренные ленинградцы, и платок на плечах — вовсе не дань моде, а привычный атрибут, и что чистота внутри старого дома — тоже весьма примечательная деталь города.

Маму звали Татьяной Егоровной, и она спокойно и вместе с тем вежливо пригласила гостей в дом. Аня огляделась, повернулась и чуть не упала: перед ней сидел огромный пес, и, если бы и на нем был старенький платок, она ничуть не удивилась бы. Хозяйка легонько погладила собаку, и та благодарно лизнула ей руку. Здесь чувствовалось, что все друг друга понимают.

— Мне Олежка сказал, что вы подъедете. Так идемте, вы же с дороги. — И больше ни одного слова. Никакой суеты, паники, всхлипываний. Аня подчинилась и

прошла в большую просторную комнату, где стоял в середине большой круглый стол, пианино, висели картины, но чувствовалось, что это не такая уж богатая обстановка, что все жилище подкупает не роскошью, а, скорее, чистотой и свежестью. Да и комната сама была обращена к солнцу, что большая редкость для города на Неве, и потому света в ней было достаточно.

Стол был скромно накрыт, но тарелки располагались на белой скатерти, а посередине стояла ваза с цветами. Сели, и тут Аня решилась.

— Скажите, пожалуйста, что такое...

— Минуточку, все по порядку. Основное Олег вам сказал, а детали чуть позже увидите сами. — Сказала, как отрезала. — Вы кушайте не стесняйтесь, а с Алешей все будет хорошо, поверьте.

«Надо же, какое самообладание», — подумала Аня и с особым интересом посмотрела на женщину, сын которой находился в больнице, с ним случилось несчастье, к нему приехала почти невеста, а его мама успокаивает ее, что все будет замечательно. «Наверное, только в таком городе может быть такое с людьми. У нас бы уже дым коромыслом стоял», — снова подумала Аня, а вслух сказала, что очень рада, что попала сначала к родителям Алексея.

— А как же! Он столько о вас говорил, мы и сами ждем вас, а тут неприятность. Придется потерпеть. Поживете тут, осмотритесь.

— Как? Я что же, у вас останусь?

— Ну, а куда вам деваться? Разве вас еще кто-то дожидается? Ничего, пообвыкнете, не смущайтесь. А сейчас кушайте. И вы, Олежек, тоже.

Татьяна Егоровна напекла оладушек и стала убеждать Аню, что от них не поправляются, так как они на кефире.

— А я и не боюсь, — храбро сказала девушка, и все почему-то засмеялись.

— Вот и хорошо, и не надо ничего бояться, даже испортить фигуру.

Она произносила слова каким-то особенно приятным

спокойным голосом. Ровно и убедительно. И от этого спокойствия Аня наконец расслабилась и с удовольствием стала поедать вкуснейшие изделия хозяйки.

Однако среди всего этого удивительного покоя и достоинства Аня неожиданно уловила одну вещь. Ей показалось, что мать Алеши чем-то не просто огорчена и расстроена, но более того: что-то трагическое пронизывало весь ее облик, саму манеру говорить, слушать, общаться. И совсем скоро она поняла, с чем это связано. Она подошла к портрету, который висел на стене, отдельно от инструмента, как-то сам по себе и всмотрелась в фотографию. И поняла, что очевидное сходство лиц говорит об одном: это отец Алексея. Но что с ним и где он, она этого не знала. Все больше он говорил о матери, только упомянув, что отец — физик, причем, известный.

— А где этот человек? — простодушно спросила Аня.

На что ей ответили, что это ученый, что его теперь нет в городе и что он действительно отец Алеши.

— А что он, отдыхает?

Женщина усмехнулась, как-то вдруг сразу спала лицом, даже плечи ее опустились еще ниже, и она добавила:

— Нет, отдыхом это вряд ли можно назвать. Но об этом тоже не стоит.

Однако Аню такой ответ не устроил, она была человеком с сильным характером и такое уклонение не поняла.

— А разве это большая тайна? Ну, раз это отец Алеши, можно же знать, где он и как его можно увидеть.

— Вот этого точно нельзя. Увидеть никак не получится.

— Знаете, у нас в городе все как-то по-другому.

— Как же?

— Легче, что ли. Нет таких тайн.

— А ты разве не допускаешь мысль, что у каждой семьи, у каждого рода могут и даже должны быть свои тайны? И что не так уж бегом о них можно сказать?

— Могу, отчего же нет. Но вы приняли меня, уго-

щали, а такой вещи сказать не можете. Может, вы меня боитесь? Я же не шпион, учусь всего-навсего в театральном институте.

— Я не только шпионов, я даже членов правительства не боюсь. — Видно было, что женщина не на шутку разволновалась и что этот разговор ее беспокоит, и вряд ли она хочет его продолжения. Аня споткнулась о собственную же настырность и устыдилась.

— Ой, не сердитесь, я лишнее говорю, спрашиваю. Вы правы, у каждого свое. Мой папа, когда с фронта пришел, тоже не хотел говорить, что там было и как он жил три года. Так по сей день мы не особенно много узнали с мамой. Он больше молчит теперь. И я его понимаю.

— Вот и славно. Это хорошо, что понимаете. Дайте время, все встанет на свои места.

Аня вдруг поддалась какому-то порыву и обняла эту худенькую женщину.

— Не сердитесь? Я вижу, вы добрая. Можно, я поеду к Алеше?

— Можно, конечно, можно. Захватите только пакет, я приготовила.

«Господи, она и это успела сделать, — снова неожиданно для себя подумала Аня. — Как она собрана и как все у нее ясно. Мне бы так!»

Все это время Олег почти не произнес ни слова. Он продолжал оставаться за столом и только молча и строго смотрел в сторону Ани. Наконец собрались и вышли из дома.

Снова ехали долго на троллейбусе, затем шли перелуками, потом через какой-то двор и неожиданно оказались перед большим крыльцом, где было светло и ничто не выдавало всего сложного, не очень чистого пути, которым шли Аня со своим спутником. Часто им попадались и мусорки, и просто не убранные дворы, но несмотря на все это хотелось не ругать этот город, а напротив, пожалеть его и поклониться. Он столько пережил! И что там какой-то мусор, окурки? Они, хотя и изредка, но все же попадались на улице.

Олег прошел вперед, с кем-то поговорил, и их сразу пропустили, выдав белые халаты. И только тут Аня почувствовала, что сердце вот-вот выскочит и самостоятельно минует все ступеньки, оказавшись на третьем этаже. Но она успела выдохнуть, удержать его и быстро вбежать наверх. Олег еле нагнал ее, и они оказались перед дверями палаты, в которую предстояло войти. И тут мужество снова покинуло ее, и она едва не дрожала перед тем, как спросить, можно ли.

Когда она увидела Алешу, лежащего на высокой кровати, совсем не такого, каким он был в ее городе, красивого и подтянутого, со своим замечательным взмахом рук, жестом, который она запомнила, когда она взглянула на его лицо и увидела отражение боли, еще чего-то непонятного и скрытого, до чего добираться было пока трудно, не под силу, она подумала, что, скорей всего, не готова к этой встрече. Все разом куда-то подевалось: и ожидание этой встречи, и ожидание разрешения родителей, и сама поездка, и новые знакомства, люди, дома, — все это так сплелось и смешалось, что Аня не могла ни говорить, ни даже думать. Просто стояла и молчала. И только не к месту вспомнила отрывок из «Войны и мира», когда князь Андрей приходит делать предложение Наташе, его принимают, и он вдруг ощущает, что нет в нем прежнего чувства, что более того, он не готов к такой любви. Но и осознавая это, он тем не менее произносит необходимые слова, ожидает ответа, смотрит, ждет. Так и с ней, наверное: ждала-ждала, а тут вмиг все куда-то унеслось, и она не находила нужных слов и только думала, как ей хотелось бы сейчас в свой родной город, домой, к своим. И что скорей бы прошло лето, и снова началась бы учеба, последний ее год в институте.

Из ступора ее вывел голос.

— Что же вы молчите? Проходите, можно и сесть.

Она опомнилась, взяла себя в руки, подошла ближе и дотронулась до спинки кровати. Алексей рассмеялся и вытянул свою большую руку, тряхнул ею и снова попросил сесть. Олег что-то говорил ему, а Аня только

смотрела, но оцепенение прошло, и она уже осознавала, где она, кто перед ней и что надо делать.

— Вы, наверное, тут скучаете? А я вам вот что скажу. Нечего грустить, я вам рассказ сейчас почитаю. — Все снова рассмеялись, она — тоже, но все же решила не отступать и сказала снова: — Нечего смеяться, я уже все про вас знаю, мне ваша мама рассказала. А рассказ этот я на экзамене читала, вот и вы послушайте. — Она оглянулась — А нас не выгонят? — и отступила на пару шагов, огляделась, увидела наконец еще две кровати, на которых тоже лежали мужчины, которые во все глаза смотрели на нее и молчали. И Аня решилась: она начала своим низким голосом говорить текст Антона Павловича Чехова, когда его героиня Анна входит в залу, как смотрит в зеркало, как затем танцует, забывает о муже, обо всем на свете и чем все это кончается.

Она так яростно, так откровенно говорила о своей героине, что не оставалось сомнений: и она бы поступила, наверное, точно так же. Именно так, случись с ней подобное. Ей самой на мгновение стало не по себе: так искренне и так по-взрослому она, оказывается, может понимать жизнь, женщину, другое время.

Но случилось неожиданное: ту реакцию, то впечатление, которого она ожидала от Алексея, не случилось. Напротив, он был задумчив и сосредоточен. Словно ушел в себя. И смотрел на Аню так, как будто видел ее впервые.

Действительно, она и самой себе показалась такой неожиданной и новой, что понимала смятение, в котором находился ее ленинградский друг. Но что-то еще томило его, это было ясно. Но что? Может быть, он ожидал более явной заинтересованности в своем здоровье? Может, думал, что встреча эта пройдет совсем иначе? Наверное. Но явно его Аня расстроила. Чем, она толком не могла понять. Напротив, ей очень хотелось поднять всем лежащим настроение, сказать, сделать нечто такое, что могло бы вывести их из унылого положения, отвлечь от грустных мыслей. Может, палку перегнула? Тоже вероятно.

И тут Аня нашлась. Так бывало не раз, когда каким-то внутренним чувством она сознавала, что сделала что-то не так или была недостаточно корректна. И сейчас ей ее интуиция подсказывала, что где-то она сплусовала.

— Алеш, я тут веселюсь, а вам не до этого, правда ведь?

И заметила, что его взгляд помягчел, стал не таким жестким.

— Все нормально, Аня. Может быть, ты присядешь?

Вот оно: она кружилась как стрекоза, а ему нужно было спокойствие, такое же, как и у его мамы. Ему нужно было, чтобы она просто помолчала. И она присела. На самый край кровати, осторожно, словно и не было всего несколько минут назад ее феерического выступления, огневых взоров, резкости и такой очевидной, вызывающей сексуальности, что у мужчин невольно испортилось настроение. Как же так? Она хотела одного, а вышло иначе: она чуть ли не обидела своего друга и его товарищей по палате.

Она дотронулась рукой уже не только до спинки кровати, а до руки и спросила:

— Алеш, ну, ты как? Что с тобой стряслось?

— Так, об этом не стоит, все образуется. Иду на поправку.

— Ты как о самолете: иду на заправку. — Господи, опять не к месту этот юмор. Что из нее прет такое?

— А я и есть почти самолет. Непонятно? Скажу: машина выдерживает огромные, просто-таки колоссальные нагрузки, и может летать без всякого ремонта несколько лет. Но и она изнашивается. Согласна?

— Конечно. Но ты же не машина.

— Все мы в каком-то смысле — машины. И тоже даем сбой, требуем мастеров по ремонту, да и просто запчастей.

— Хватает? Запчастей хватает?

— Надо в самом себе находить резервы. Не ждать кого-то или чего-то. Или не согласна?

— Мне трудно пока это понять. Знаю одно: ты очень сильный и тебе не нужны особых дел мастера. Попробуйся, я точно знаю.

— Вот и хорошо, что знаешь. Это уже кое-что.

— А ты разве сомневаешься?

— Сомневаться — это не по мне. Я иду, и всегда только в одном направлении. И тебе совету.

— Мне даже не по себе: что это я тут устроила?

— Это неплохо, не кори себя. Даже интересно. Я тебя словно заново открыл, увидел что-то новое, незнакомое.

— Да, я заметила, как ты смотрел на меня.

Все это время Олег сначала находился где-то в районе входа, потом за кроватью, а потом и вовсе куда-то испарился. «Как это ему удастся быть таким незаметным?» — подумала Аня, оглядываясь на дверь. Но Олега к палате не было, и она подумала, что он-то как раз деликатный в отличие от нее.

— С мамой познакомились? Она хорошая.

— Хорошая. — Аня как-то сникла и уже той ошеломительной, взрывной дерзости не было и в помине. Ей хотелось молчать и только слушать Алексея.

Она и не заметила, как вошла медсестра и стала раздавать таблетки. И еще она обратила внимание, что эта девушка не очень-то дружелюбно взглянула на нее. Может, показалось? Она скисла еще больше, и захотелось на улицу, в этот город, который еще предстояло открывать. И надо было зайти по адресу, который вложили в ее кошелечек родители с наказом непременно прийти к их бывшему дому и все-все узнать. И она обещала.

Алексей сжал ее руку, помолчал, затем притянул к себе и тихо произнес: «Ты умеешь ждать?» Аня растерялась и только было открыла рот, чтобы ответить утвердительно, но тут заметила, как испытующе смотрит на нее сосед по палате. Она смутилась, отодвинулась и промолчала.

— Так как же? — снова переспросил Алексей.

— Наверное, — не очень уверенно ответила Аня.

— Знаешь, иногда важным бывает поймать верный тон, ты в своем театре наверняка это знаешь.

— Знаю. Так и Чехов говорил о своем Треплеве.

— Вот видишь, даже Чехов. А ты никак не попадешь. Или мы, не знаю. А мне бы хотелось ясности и понимания. Как считаешь?

— Я же приехала.

— Верно, приехала. Но тут же и разочаровалась. Мне так кажется. Или я неправ?

— Я должна все хорошенько обдумать. Все так быстро: дом, мама, больница.

— Конечно, ты себе все иначе представляла. Но жизнь на то и жизнь, что в ней все не так, как планируешь. И это замечательно.

— А разве плохо планировать?

— Да ничего плохого нет, просто сами текущие обстоятельства, движения души, можно сказать, могут изменить весь ход событий, все, к чему человек готовился. Не так ли?

— Наверное.

— В тебе сейчас что-то такое происходит, не знаю даже. Там, в своем городе ты была другая.

— Я ехала, хотела встретиться.

— Да, но к чувствам это порой не имеет никакого отношения. Человек осуществляет задуманное, можно сказать, умозрительно представляет себе, что и как. А на самом деле...

— Да, понимаю.

— Вот и славно. Иди. Олег куда пропал? Вечно с ним такое. Придешь?

— Конечно. А когда можно будет встать?

— Скоро. Главное — я встану, это уж точно.

— Какой ты сильный.

— Ты тоже не слабая. Маму обними, привет передай, успокой.

Аня повернулась еще раз у входной двери, помахала рукой всем лежащим и вышла. На душе было смятение. Ехала, ждала, а вышло все не так. Почему? Она

спускалась по лестнице и думала, что надо будет завтра же ехать домой. Что-то такое с ней сделалось, что ей казалось, по-другому нельзя. Надо ехать. Где этот Олег?

А Олег стоял у самого выхода и смотрел куда-то вперед. Был он задумчив, но не угрюм, и, как показалось Ане, все прекрасно понимал: и что происходит с ней, и что вообще происходит. От этой его мудрости, что ли, ей сделалось совсем уж не по себе, и она громко, нарочито громко спросила, не знает ли он, как попасть на улицу Казанскую. Олег помедлил, взглянул на Аню и, усмехнувшись, ответил, что это знает каждый ленинградец. «А мне туда и надо», — сказала Аня, и они отправились по нужному адресу.

Дом из красного кирпича поразил ее своей не просто обветшалостью, как это было с домом Алексея, но какой-то совершенной отключенностью от города, выраженным одиночеством. Он, стоящий вплотную с другими домами, был тем не менее совершенно лишен какого бы то ни было партнерства, что ли. Сам по себе и все. Оглянувшись, можно было увидеть край Казанского собора. И, наверное, эта близость к великому сооружению, осознание своей причастности к чему-то вечному порождали его такое дряхлое величие. Подъезд, все внутри были под стать фасаду. Но снова тот же фокус, превращение, что и с домом на Петроградской стороне. Как только Аня позвонила, и ей тут же, без всякого «кто там?» открыли, она увидела все ту же чистоту и порядок. Вылизанность даже. На пороге стояла довольно полная женщина и тоже куталась почему-то в платок. И платок был изрядно покусан молью. А может, просто годами ожидания лучших времен. Она даже ничего не спрашивала, просто молчала, не находилась и Анна. И выручил Олег. Он задал первый вопрос.

— Простите, эта девушка — Анна Кремнёва, ее родители, жили в этой квартире давно, еще в начале войны.

— Так что же, заходите, комната ваша закрыта.

Ключ при вас? А то где-то на кухне в шкафчике был запасной. Идемте.

Она не попросила паспорт, не смотрела пристально и подозрительно, она почему-то сразу поверила. «Какие они странные все же, — подумала Аня, но с уважением подумала: — Сразу верят, зовут. Почти как у нас».

Сердце ее билось так, как даже в клинике не стучало. «Неужели я и правда сейчас увижу свое детство и свое начало?» — думала снова и снова Аня, не решаясь сделать шаг.

И все же она вошла. Даже здесь, несмотря на прошедшие годы, ей показалось, что комната не так уж и запущена, что она довольно светлая и главное — она была большой, очень большой. В ней находились стол, кровать, что-то еще из мебели, а над маленькой колыбелькой висел мишка. Он, конечно, был потрепанный и пыльный, но свой, все-таки свой!

Она взяла его в руки, стряхнула пыль, оглянулась, но соседки рядом не было. Как, впрочем, и никого, кто бы присматривал за ее действиями. Она стояла посреди большой комнаты совершенно одна и не могла поверить, что это действительно та самая комната, из которой увозили ее маму рожать ее, Анну, та комната, из которой они уехали в другие края, а комната — она как верный друг: стояла и ждала. Запертая, пыльная, все эти годы молча и смиренно поджидала вот такого прихода хозяйки.

Аня опустила на кровать, застеленную когда-то светлым покрывалом, и заплакала. И тогда на пороге показалась та самая женщина. Она все поняла и у дверей спросила, можно ли, и, не дождавшись ответа, все же зашла. Села рядом, притянула Аню к себе и спросила:

— Ты Кремнёва?

Аня мотнула головой, продолжая плакать, а женщина продолжала.

— Мы здесь все годы оставались, не уехали. Возраст, куда нам? Маму помню, отца — тоже, тебя бы, конечно, не признала. Как тебя зовут, Анна?

Аня снова кивнула и прижалась к женщине. «А вас как?» — «Меня Ирина Савельевна. Одна осталась, сын погиб. Муж — тоже. Но об этом потом. Есть хочешь? Насовсем или как?»

Аня не знала, что отвечать, и только обводила взглядом самую комнату, свое детское жилище и все думала, что, наверное, та, другая и уже ставшая родной жизнь так и останется с ней навсегда. А вообще-то, кто его знает? Все может стать.

Так она думала, а сама силилась представить, как это все было: война, отъезд, сборы, разлуки. Толком ведь и не задумывалась об этом, все спешила куда-то, так и верила, что всегда все было: радушие, теплый город, любящие друг друга люди, соседи, друзья, а теперь вот и институт, и скоро совсем другая жизнь. Наверное. Театр или... Нет, только он, театр, больше ничего.

Как это она не задумывалась о том, что пережили родители? Бабочкой летала, пританцовывая и порхая. Разве так можно? Вот и к Алексею приехала зачем-то. Также мне, Болконский в юбке. Не чувствовала того, что коснулось ее тогда в Ташкенте, куда-то уплыло, забылось. Боже мой, ну что она наделала!

Ирина Савельевна ей так понравилась, что она спросила, можно ли ей остаться у нее. Ей не хотелось возвращаться пусть и к хорошей, но чужой женщине и в чужой дом.

— Что значит «можно»? Это твое жилище, располагайся, пойду поставлю картошку. Она у нас замечательная.

Соседка вышла, и Аня подумала, что, наверное, только так и нужно было поступить: остаться, убрать все, вымыть и вдохнуть старый воздух, которым дышали еще мама с папой.

И остаток дня, и весь следующий день она драила, мыла и трясла вещи, обметала стены, словом, приводела комнату в жилой вид. Олега попросила сходить к маме Алексея и все объяснить, а еще дать телеграмму родителям о том, что благополучно добралась.

Когда она занималась уборкой, то все думала, как было бы замечательно жить в этом городе и в этой своей, совершенно своей комнате. Но ее ожидало окончание института, и этому она изменить не могла.

Она ходила за продуктами, звала обедать Ирину Савельевну, а иногда — та ее, словом, мир и дружба в коммунальной квартире были на самой высоте.

И Алексея Аня увидела лишь через три дня, когда он уже смог встать, и они смогли поговорить в коридоре. Все, что было связано с ее новыми обстоятельствами, она почти опустила: не хотелось говорить о таком ценном и дорогом вот так, на бегу. Но случился не менее важный разговор, и она даже представить не могла, какие он возымеет для нее последствия и в ближайшее, и в самое отдаленное время.

Алексей напрямую спросил ее, что случилось. И она не увиливала, не в ее это было характере. Она прямо ответила.

— Не знаю, Алеша, я хочу быть честной с тобой. И у меня ничего особенного не случилось, просто то, ташкентское, куда-то подевалось. Да, может, мы вообще все придумали?

— Подожди, так не может быть, не говори так. Я уверен, что это не так. Но даже если ты и чувствуешь в себе какие-то перемены, э— он усмехнулся: — к худшему, то вот тебе мое слово. Я ждать умею, точно знаю. Просто вообще знаю себя. Если сочтешь нужным, приходите не надо, ни к чему. Дома разберетесь. Иногда время и расстояние — лучшие подсказчики.

— Когда ты успел стать таким взрослым и таким умудренным?

— Потом поймешь. А сейчас все, иди. Передавай привет родителям.

— Ты тоже скажи маме спасибо.

Она вышла и вздохнула легко, словно освобождаясь от чего-то такого, что давило, не позволяло раскрепоститься и делало ее жизнь не похожей на ту, к которой она привыкла, где все было так ясно и беззаботно

жилась. Она шла по улице, долго шла и наконец оказалась на своей Казанской. Как же ей нравился этот дом! Облупленный, растревоженный войной, но все же оставшийся неким оплотом улицы. Он воплощал представление о ленинградском достоинстве, о чем-то таком странном и почти потаенном, о чем прежде Аня даже не подозревала.

Но шло время, с легкой руки Олега она узнала, где можно звонить по межгороду и два раза говорила с родителями. Те словно поняли, прочувствовали что-то, и мама сказала, что, наверное, не стоит задерживаться, а, может, походить по музеям, посмотреть на город, все узнать и уезжать.

— Я так и решила, — ответила Аня.

— Вот и славно. Будешь в Москве, тоже не пропусти случая, все-все обсуди. Это так помогает. А у тебя последний год, вот увидишь, придется поездка кстати.

Как же мама была права! Она и сама не представляла.

Аня действительно использовала время своего пребывания с максимальной пользой. Где она только не побывала и чего только не посмотрела! Не приходила, а едва доползала до железной кровати и падала без сил. И везде, почти всегда ее сопровождал Олег. Он был кем-то вроде подруги. С ним можно было говорить обо всем, не таится, не кокетничать. Аня даже иногда забывала, что знает его всего несколько дней, так они сдружились.

Уезжала она поздно вечером, и Олег неожиданно дал ей свой адрес и даже телефон. Аня назвала свой, и расстались.

В Москве она сразу же взяла билет на другой поезд, который уходил вечером, и отправилась в Третьяковскую галерею. Конечно, она знала, что надо бы съездить и на выставку достижений народного хозяйства, и попасть в Большой театр, и посетить Пушкинский музей, но сердце рвалось домой, и единственное, куда она успела сходить, это была Третьяковка.

Когда Аня поднималась по лестнице, в груди что-то

ухнуло, и, как и совсем недавно, сердце снова побежало вперед, совершенно оставив свою хозяйку, не понимая, как такое величие могло быть собрано одним человеком. Или начало собираться. Она всматривалась в черты лица Третьякова и не находила ничего в них сверхъестественного. Открытое простое лицо. Но лицо очень умного и глубокого человека. Это бросалось в глаза сразу. И Аня с благодарностью подумала, как хорошо их учили и как правильно предлагали, смотря на любого человека, задумываться о его биографии, судьбе, свойствах характера. Аня так вовлеклась в это занятие, что это стало едва ли не привычкой. Она, только взглянув на человека, безошибочно определяла, кто перед ней, что за характер, даже могла сказать о каких-то недугах.

И вот теперь, разглядывая это лицо, вглядываясь в него очень внимательно, Аня поняла, что такой человек и не мог не сделать такого мощного, такого решительного шага. И тут она обрадовалась: как хорошо, что в мире есть такие личности, что есть вообще нечто такое, какая-то такая сила, что способна перевернуть привычное. Что такая сила способна созидать. Вот, пожалуй, главное. И Аня еще подумала, а зачем вообще появляется на свет человек? Что это за миссия? Что он ищет в этом мире? Наверное, вот за этим, за созиданием. И только развитие души, ее стремления и потребности определяют смысл и назначение человека.

Такие сложные мысли посетили ее, пожалуй, впервые. Нет, она, конечно, размышляла частенько над тем, что есть человек и зачем он пришел, но чтобы так пристально? Она решила, что все это надо хорошенько запомнить, чтобы применить на занятиях, в работе над ролью.

Она ходила по залам, переходила из одного в другой, но более всего ее занимала одна и та же мысль — мысль о человеке, его назначении. Что бы она не смотрела, где бы ни останавливалась, этот вопрос занимал ее более всего. И в какую-то минуту она обрадовалась такому ходу мыслей. Как это здорово, что можно не

только общаться, говорить с людьми, но познавать в них нечто такое, что не лежит на поверхности, что скрыто и спрятано. Но оно же есть — вот что важно!

Даже шла она теперь иначе: более степенно, спокойно что ли. И про себя решила, что теперь люди для нее будут не только говорящими, но глубоко думающими, страдающими, и что она непременно начнет в каждом искать тот особый смысл, тот дух, который, быть может, и есть то главное, что определяет человека.

Однако приблизился вечер и Аня поехала на вокзал. Там она нашла телефон, позвонила своим новым московским знакомым, которые очень расстроились, что она так скоро уезжает и что не заехала к ним. Но решили, что в Ташкенте, когда они туда приедут, непременно увидятся.

И вот — поезд. Кончилось ее путешествие, которое во многом разрушило иллюзии, а с другой стороны — приобщило ее к новым представлениям о человеке, взгляду на него.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ПЕРВЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗВОНКИ

*Молодой человек решил добыть эту птицу, которая, как казалось, специально заманивала его в свои сети. То подлетит совсем близко, то взвоет так высоко, словно призывает не только посмотреть на нее, но и полететь за ней. Загадочная, редкая птица. Что ей надо и куда зовет она?*

*И только однажды, как-то под вечер, когда обычные птицы укладываются спать и перестают разговаривать, он услышал, как совсем-совсем рядом, почти на плече раздался голос. И он услышал: «Иди, иди, все вперед и вперед. Но бойся одного» — «Чего?» — успел спросить Он, но птица, как кокетливая женщина, взмахнула своим крылом, и след ее простыл.*

Роль, которую сыграла Анна в дипломном спектакле, запомнилась не только ей одной. На курс хорошо расходилась пьеса Антона Павловича Чехова «Чайка». Нервный Юрка играл Треплева, тоненькая Галочка — Нину Заречную, а Аркадину сыграла Анна Кремнёва. Мало того, что просто взрослую женщину, актрису, но еще мать. Как же Ане помогли воспоминания о Ленинграде, о тех двух женщинах, с которыми она познакомилась прошедшим летом. Их стать, достоинство, умение помолчать, не загружать вопросами. Пусть в Аркадиной всего этого нет напрямую, но что-то от хорошо воспитанной дамы, приветливой и капризной, жертвенной и нетерпимой, — все это сошлось в роли. Хотя стержень был, наверное, в другом. В желании и готовности провоцировать, на самом деле желая любви, томясь по ней, обманывая себя ею. Любовью в ней можно было оправдать и ее невольную жестокость, и даже равнодушие к ближним, нежелание видеть и принимать их беды. Она словно заслонялась от них ожиданием любви. Где-то придуманной, где-то реальной. Она то уносится в своих мечтах в сказочный Париж,

то вновь возвращается к надоевшему возлюбленному, отпускать, однако, которого все же не хочет. Так и мечется между желаемым, придуманным и вполне реальным настоящим.

Но Аня привнесла в роль, которая многим виделась эфемерной, чуть ли не воздушной, какой была эта дамочка, такие черты, которые только виделись, наверное, самому Чехову. Она была определенной, вот что важно! И в момент, когда она завязывала раненую голову своему сыну Косте, то делала это столь решительно и резко, что тоже в какой-то степени входило в противоречие с устоявшимся взглядом на трактовку роли. Она вообще была решительной во всех своих действиях и проявлениях. И поэтому метания ее, провокации усиливали ее непростую натуру. Было очевидно, что роль эта, может быть, и не была явно Аниной. Но девушка столько нового и неожиданного привнесла в нее, открыла в ней, что ее Аркадина заиграла совсем незнакомыми красками. И это отметили все. Кокетливая — да, это всем было известно, слегка безразличная — и это тоже, скучающая и томящаяся — да, несомненно. Но как же могла выстоять эта женщина, потерявшая былую известность, подлинную любовь, если б не эта сила, что в ней таилась. Не сила Кабанихи или Вассы Железновой, но истинная женская сила, смешанная с хитростью, приправленная воздушностью и трепетностью.

Все это сумела передать (или почти все) сама Анна. И сама же удивлялась себе: неужели в ней столько всего, что она смогла воплотить этот образ. Ну, разумеется, не вполне совершенно. Не все удалось, но образовалось главное: она поймала, уловила женским своим чутьем характер и его сыграла. И характер этот был!

После дипломного, который смотрело руководство русского академического театра имени Горького, ее пригласили туда работать. Было это столь неожиданно, что Аня сначала растерялась, потом отказалась. И вышло совсем смешно: ее, молодую, начинающую актрису стали уговаривать и даже успокаивать: мол, ниче-

го в театре страшного нет, да ведь там и папа. В случае чего поможет.

И в самом начале сентября Аня вышла на работу. Она запомнила этот день навсегда. Солнце, еще жгучее и палящее в эту пору, вдруг в один день словно сдалось и сделалось не так жарко. Аня уложила свои прекрасные косы, надела синее в полоску платье, взяла сумочку, с которой все пять лет проходила в институт, и отправилась в театр. Причем пошла одна, без отца. Тот уже убежал на репетицию, да и свои административные дела прибавились, поскольку много сил отдавал и институту, и студии при театре. Театр был для отца не просто домом, смыслом жизни, он просто-напросто там проживал свою жизнь. И это было нормально. И для него самого, и для мамы, и привыкла к этому и Аня. Так что шла она именно в театр, а не к папе, который занимал значительное положение.

Когда она вошла в здание, то ощутила уже знакомый трепет, и снова ее сердце подскочило и бросилось бежать. Однако его хозяйка мгновенно повернула ситуацию и вскоре вернула его на место. Сердце успокоилось, затихло и стало биться ровно и почти спокойно.

Далее она пошла по хорошо известному, много раз хоженному фойе, которое постепенно, ближе ко входу в артистический тайник, снижалось, и эту его особенность стоило запомнить, чтобы не упасть. Хотя бы для того, чтобы в потемках не упасть. Фойе это по левую свою сторону открывало возможность попасть сразу в зрительный зал. Именно через него был этот вход через несколько дверей, отстоящих друг от друга на ровном расстоянии.

Она воспользовалась последней, той, что была дальше всего от сцены, и вошла в темный зал. Шла репетиция пьесы, которую только недавно играли у них в институте. Да, репетировали «Чайку», и Аркадину играла ее дорогая Нина Петровна, а ее стареющего возлюбленного — тоже дорогой Дмитрий Алексеевич. «Вот это школа!» — подумала Аня, когда тетя Нина в ярко-желтом платье со сложной прической, которую она время

от времени поправляла, проходила по авансцене и произносила знаменитое «цъп-цъп». Аня замерла: как же виртуозно действовала актриса, как легко и органично произносила свой текст. Ничего общего не было в трактовке роли, но Аня понимала, что мастерство Нины Петровны никакими оригинальными трактовками не перещеголяешь. Она — точно мастер! Аня не могла оторваться от сцены и все задавалась вопросом, как это возможно такое и неужели когда-нибудь и она сможет приблизиться к такому уровню.

Когда же на сцене появился Треплев, Аня замерла снова. И было, отчего. Статный человек с какой-то выразительной манерой стоять, говорить, поворачиваться и в особенности молчать сразил ее. Никаких других определений она бы и сама не смогла подобрать. Он резко выделялся из всей группы актеров. Ее дорогие Алексеевы были в особом ряду, с ними тоже, наверное, никто не смог бы сравниться. А может быть, это вообще такой высокий уровень актерского мастерства в театре? Она же видела многие, почти все спектакли за время учебы, но сейчас словно изменился угол зрения. У самой прибавилось и опыта, и понимания.

Однако этот актер! Кто это и почему так мало она знала о нем раньше? Режиссер в это время обратился именно к нему, назвал по имени, и Аня поняла, что просто не случилось видеть его прежде. Хотя нет, возможно, и видела, но так он ее не задевал. Оказывается, его звали Аркадий Григорьевич. Она все всматривалась в его фигуру, интонации, когда ее окликнули и велели зайти в отдел кадров. Как же не хотелось отрываться!

Она заполняла необходимые бумаги, с удивлением обнаружила, что она — актриса второй категории и что ее зарплата будет равна 75 рублям. Это радовало.

Когда она снова вышла в фойе, к ней подошла худенькая, чуть сутулящая женщина и сказала, что Аня будет вводиться на роль Маши.

— Пьесу знаешь, видела тебя. Но Аркадина у нас есть, как видишь, а вот Машу играть будешь. Возьми текст у помрежа, читай, завтра репетиция.

— Уже?

— Ты же профессионал? Или как?

— Не знаю. Очень рада.

— Вот и хорошо, — сказала Виктория Алексеевна и резко повернулась, уходя в зрительный зал.

Ужас! Неужели уже началось? Так сразу? Интересно, папа знает?

Вопросы множились, и Аня не находила на них пока никаких ответов. Она только начинала понимать, что началась и правда какая-то другая, наверное, по-настоящему взрослая жизнь.

Текста роли было немного, но какой же сложный характер предстояло играть. К тому же, ясное дело, она была влюблена в Костю Треплева, а значит, со сцены это должно прозвучать. Как, ну как это сделать? Она вспомнила, как их Марк Ароньч говорил, что есть только один способ сыграть любовь на сцене: это внимание, повышенное внимание к объекту своей любви. Ведь и в жизни так? Когда любишь, человека не упускаешь из виду, интересно в нем все: что говорит, как говорит, что делает, с кем общается и т. д., и т. д. Но Аня подумала, что еще ни разу не любила, и ей придется довольствоваться только своими представлениями об этом чувстве. То увлечение, которое коснулось ее, все же не назовешь любовью. Это ясно она осознала в Ленинграде. Наверное, время ее еще не подошло, так решила девушка, выходя из театра и направляясь к скверу, а потом по своей улице Карла Маркса к дому. Скорей бы пришел отец! Так много надо ему сообщить.

Она миновала любимый сквер и вдруг остановилась: так неожиданна была мысль, пришедшая в голову. Она, Аня, в своем дипломном спектакле в сцене со стареющим, уставшим от жизни писателем не меняла тактику. Она сознавала, что ей нужно одно, так и руководитель курса говорил, — оставить его при себе любой ценой. Эту задачу и пыталась реализовывать Анна. Но тетя Нина! Что делала она! Не только оставить, но еще и устыдить, и покорить, и заставить сокрушаться над самой возможностью, над самой попыткой отдалить-

ся. Да, стратегия была неизменной, но вот тактика... Она меняла приспособления одно на другое, убеждаясь, что что-то не работает, она вела сцену так, что уже невозможно было не поддаться очарованию и нежному натиску этой женщины. И Тригорин не просто сдавался, он был еще благодарен своей спасительнице. А спасительница торжествовала. Но тихо так, скромно, словно и не было во всем этом никакой ее заслуги. Она была такой явной, такой откровенной обольстительницей, что, конечно, Ане еще было ах как далеко до таких высот и даже до такого понимания роли. Умозрительно она понимала правоту героини в исполнении тети Нины, но женской наполненной сущностью не доросла пока. Но то, что понимала и принимала, это уже было много.

Дома она тут же стала расспрашивать отца о зерне роли, то есть о том, что было в методике ее обучения. Зерно, действие, предлагаемые обстоятельства. Их учили замечательно, потому что, во-первых, было, кому учить, а во-вторых, курс подобрался великолепный, так что и учиться было кому.

— Пап, ну вот ты скажи, ты же знаешь пьесу, как идут репетиции. Все знаешь. Что такое эта Маша? Почему она выпивает? Что, только из-за невозможности быть с Костей? Что мужа не любит? Почему люди вообще выпивают? Ты же вот не пьешь!

Отец усмехнулся и горько сказал, что мог бы. Все обстоятельства жизни способствовали.

— Но ведь не пьешь? А она, женщина, да не старая еще, а пьет! Что в ней? Что с ней? Скажи!

— Ты детство свое хорошо помнишь?

— Что? При чем тут детство?

— А в нем все, все заложено. Припомни, может быть, самую горькую свою обиду. Ну, на нас с мамой, на кого-то.

— Да, помню.

— ?

— Что ты оставил нас и ушел на фронт.

— Ну ничего себе!

— Да, я много читала по психологии. Так там говорят, что дети даже смерти кого-то из родителей не прощают. Им кажется, что и этот страшный факт — против них, что могли, мол, и без этого обойтись.

— Неужели так и написано?

— Представь себе!

— Так есть еще что-то? Хотя, нет, стой. Вот видишь, обида: ушел на фронт, бросил, значит. А Машу, еще только она родилась, уже бросили. Причем все и сразу. Ты поищи, подумай. Вспомни мой фронт и свою обиду. В Маше эта обида копилась, зрела годами, она привязалась уже к ней, без нее жить не может. Предложи ей изменить жизнь всерьез, она ни за что не согласилась бы. Она так срослась со своей обидой и усеченностью этой жизни, что протестует только водкой, да и то втихаря. Она не бунтарь. Но и смирения в ней нет.

— Так что же в ней играть?

— Протест. Но скрытый, не явный. Ищи взгляд, походку, жест — во всем этом ее протест. Но он так прикрыт — то платком, то смирением, что и не поймешь сразу, что она протестует. На свой лад, конечно. Может, она и любит, но так, из высших целей. Она никого ниже Треплева полюбить и не может. То есть спуститься ниже не может. Здесь тоже элемент протеста. Ее жалеют, порицают, сокрушаются, но она — выше всего этого. Не характером и стержнем, а другим: тем, что она все-все понимает, но действовать будет именно так и не иначе. Ей ее муж даже нужен, даже удобен, он тоже как подтверждение того, что вот она что несет, какой крест тяжкий. Пусть, мол, все смотрят! Она почти верит, что выше многих, и именно они, бедные, не понимают многого. Это они, другие, бедные, заблудшие души. Она — терпит и молчит, страдает и терпит. И только рюмка выдает истинный настрой.

— Пап... Палочка, ну, ты даешь! Я так не смогу!

— Сможешь. Должна. Ты что, протестовать не можешь? Да ты вся сплошной протест!

— А вдруг меня чуть ли не монашенкой оденут?

— Да хоть во что! Ты все должна оправдать. Понимаешь это слово? Учили вас ведь оправданию? На сцене можно все, но только важно, как это оправдывается, какая мотивация под всем этим, что за подтекст. Подтексты — вещь вообще замечательная. У меня там ролишка крошечная, но сквозь всю пьесу проходит. И я рад, что смогу даже в молчании оправдать своего Дорна.

— Папочка, ты у меня такой умный. Что бы я без тебя делала?

— Главное — никогда не обижайся, это такая глупость в сущности. Мелочность характера выдает.

— А как не обижаться, если иногда так и тянет надуться?

— Ну, скажем, надуться — это вообще не про тебя. Ты глубже, значительней. И помни это. Фамилию свою помни. И — не роняй!

Аня почти не спала, все переворачивала разговор с отцом, все обдумывала, вспоминала детали. Надо же, Маша может быть сильной, а никакой не пьяницей. Она, значит, протестует? Что ж, может быть. Очень даже...

Репетиции начинались с одиннадцати, продолжались до двух часов, а к началу спектакля надо было быть за час, то есть к шести вечера. Вот и шла Аня на первую в жизни репетицию. И времени у нее было много. Она даже не почувствовала, что не выпалась. Ей постепенно стал открываться смысл жизни ее героини. Не до конца, конечно, но все же. Изольда Петровна повела ее одну в репетиционную комнату. Не было партнеров, вообще больше никого не было. Посадила и спросила:

«Готова?» — Анна кивнула, но Изольда почему-то подняла руку, сделала ею какое-то движение и сказала:

— Подожди. Что ты знаешь о Маше? Знаешь ведь что-то, раз вы дипломный делали?

— Конечно. Она не слабая. В ней что-то зреет, но до конца никак не может оформиться. Какое-то сильное чувство. Может быть, даже протеста.

— Протеста? Это интересно. Так Машу еще не играли. А почему? Почему она протестует?

— Наверное, потому, что что-то важное в ее жизни не случилось, не реализовалось, вот ей и тошно. Но показать не хочет. Потому и пьет, ну, выпивает.

— Так, понятно. А ты тоже считаешь, что она Треплева любит? Или цепляется за это? Что это за тема в ее жизни? Ладно, молчу, а то слишком литературно получается.

Аня раскрыла листочки и начала. Изольда слушала, но снова прервала: «Зачем такая обреченность? Она не едет с мужем не из-за нелюбви даже, понимаешь, ей не то что скучно и тошно, но вот он, твой протест. Не очень мотивированный, не очень логичный, но все же... Давай». Аня снова продолжила, и что-то ее зацепило, словно какая-то сила поставила ее на лед, надела коньки и... двинула. И Аня заговорила. Не текстом. А тем, что было где-то глубоко внутри. Внутри и самой Ани, и ее героини. И слова стали получаться не топорными, а окрашенными, живыми что ли.

Изольда Петровна посмотрела на свою подопечную и снова спросила: «Как думаешь, на середину когда сможешь выйти? Завтра сможешь?» — «Да», — храбро заверила Анна.

Ей как можно скорее хотелось увидеть актера по имени Лев Леонидович и, хотя был он совсем не стар и не так уж строг, а, скорее, в цветущем возрасте, его почему-то так и величали — Лев Леонидович. Причем все, от актеров и режиссеров до буфетчицы и костюмеров. Что в нем была за тайна, трудно сказать, но была, однако. Аня стала всматриваться, вслушиваться в то, как он говорит, ведет себя на сцене, и заметила, что есть некоторая разница между тем, как привыкли работать они, актеры этого театра и выпускники, и этим актером. Это чуть позже она узнала, что он из Ленинграда, оказался в эвакуации, а на фронт не взяли по здоровью. Не отмазывался, а именно болел. Говорили, что даже ходил проситься, чтоб отправили, но, как и у дяди Димы, у него была язва.

Все это Аня узнала не сразу, не в один день, но настало такое время, когда сведения об этом человеке сошлись в один ком, и Аня беспрестанно думала о нем и о его жизни. Не зная почти ничего, она все думала и думала о нем. И ждала сцены, когда они вместе окажутся на площадке.

И такой день настал. Он, обратившись к ней, сказал: «Ваш текст» — и улыбнулся. Не рассердился на то, что Аня сидела, чуть ли не раскрыв рот и забыв про свой собственный текст, а именно улыбнулся.

*ТРЕПЛЕВ.* Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

*МАША.* Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

*ТРЕПЛЕВ.* Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

*МАША.* Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий!.. Я люблю Константина.

Так легко было играть эту сцену, в которой были и другие персонажи, и очень ей помогал их старый актер Курицын, игравший Дорна в очередь с ее отцом. Она ждала своих коротких реплик, а в особенности тех мест, когда появлялся Треплев — Лев Леонидович.

Через недели две репетиций, в перерыве Лев Леонидович неожиданно подошел к Ане.

— А вы через сквер домой ходите?

— Да-а... А вы знаете?

— Знаю. Живу в тех же краях. Театр снимает жилье. Пройдемся вместе? Буду ждать.

Аня не знала, сумеет ли дождаться конца репетиции. И когда все же этот момент наступил, она выскочила из проходной и никого не увидела. Она чуть не заплакала. «А я вас жду», — услышала она голос и действительно чуть не заплакала уже точно. Он стоял рядом, и как она не увидела его, было непонятно. Он стоял в наброшенном пиджаке и курил папироску. Но через мгновение подошел к арыку и загасил ее, бросив в траву. Пошли. Медленно, спокойно, не оглядываясь. Эта его мерная покойность, достоинство, которое вы-

читывалось и из походки, потом уже действовали на нее гипнотически. Он не бежал от проходной, не думал, наверное, о том, кто их видит, да и видят ли, он был настолько выше всего этого, что Аня замерла, как это было в последнее время уже не раз.

Но эти ее замиранья были где-то так далеко и скрыто от окружающих, что никто не подумал бы, что Аня трепещет и едва владеет собой. Напротив, внешне она казалась выдержанной, даже строгой. Не каждый решался запросто заговорить с ней, Аня умела держать дистанцию. Однако здесь все выходило иначе. Да и вообще, когда с ней заговаривали люди, которые были ей приятны и от которых не предполагалось ничего худого, неожиданного, она была приветлива и доброжелательна. Просто тот стержень, который, очевидно, был в ней и о котором совсем недавно напоминал ей ее отец, был все же определяющим. И какие-то черточки, детали поведения проистекали от этого именно стержня. Он был главным. Все остальное — производное. Она могла улыбаться кому-то, не улыбаться, все это было второстепенным, ибо все чувствовали в ней некую скрытую силу, которая еще только зрела, еще только готовилась обнаружить себя в полную силу.

Лев Леонидович, почти вальяжно выпшагивающий рядом, сказал, что очень прикипел к городу, что ему очень нравится его уклад. Что после репетиций он легко восстанавливается, просто прогуливаясь по нему и все. И конечно, коллектив театра, сильный, не склочный, дееспособный.

— Я вот спросить вас хочу. Вы как, в театр навсегда или еще не решили?

— Я все, ну или почти все делаю раз и навсегда.

Лев Леонидович рассмеялся, да так задорно и неожиданно, что Аня смутилась.

— Это что же, опыт у вас такой уже? Или представление о себе?

— Наверное, и то и другое.

— А я, мне кажется, так и не знаю до сих пор, хотя в театре около десяти лет, что он для меня, жизнь или

некое увлекательное занятие, способ познания этой жизни?

— Как не решили? Работаете, здесь, в чужом городе находитесь, а все еще решаете? Разве так бывает?

— К счастью, уважаемая Аня, только так и бывает: человек может всю жизнь разбираться, то ли он делает, туда ли идет, это ли ему надобно. Сомнение, знаете ли, очень питает творческую натуру.

— Рефлексии ваши, наверное, от неуверенности. Вы не вполне уверены, нужен вам театр или нет. Как же вы сможете убедиться?

— Можно, наверное. Но... даже не знаю. Всю жизнь так и буду стремиться понять, туда ли иду. Я вам завидую, вы все знаете.

— Мне просто так кажется. Может, и я не все знаю.

Лев Леонидович снова весело рассмеялся, с какой-то задорной готовностью, которая никак не вязалась с его рассуждениями о неготовности и неуверенности его.

— Знать все никак нельзя. А то, что вы такая собранная и уверенная, — это хорошо. Это поможет в профессии. Вам не кажется?

— Я еще только начинаю, пока не все понимаю, конечно, — сказала простодушно Аня. На это ее спутник заметил:

— Начинаете верно. Думать, мне показалось, умеете. Это важно.

— А как же говорят, что актер не должен много думать? Что это даже мешает?

— Все это глупости. От собственной несостоятельности это. Каждый должен думать. Пусть и заблуждаться, но все же думать.

Они шли, не торопясь, и уже миновали гастроном на Пушкинской, пересекать стали Гоголевскую, как неожиданно Лев Леонидович произнес:

— А хотите зайти ко мне?

— Может быть, в другой раз, — быстро произнесла Аня, а сердце снова побежало вперед и значительно опередило ее шаг, сам ход мыслей. Более того, она подумала, не перебежало ли оно и Первомайскую? Но

взяла себя в руки, вздохнула и... вернула его на место. И — более того — решила, что такие сердечные пробежки надо унять, хватит ему отделяться, нечего покидать свою хозяйку.

— Как скажете. Тогда я вас покину, поверну, мне в ту сторону, — произнес Лев Леонидович, показывая в сторону только что пройденной Пушкинской с ее гастрономом.

«Интересно, он что, на Хорезмской что ли живет», — подумала Аня, и осталась одна, и так и дошла до своего дома, перебирая сказанное ее спутником и не во всем с ним соглашаясь.

На другой день во время репетиции она обратила внимание на то, что Лев Леонидович совсем в другом настроении, не таком благостном и улыбчивом, как обычно. Но он снова во время перерыва подошел к ней и спросил, не пойти ли им вместе к их домам? Она кивнула и тут же отошла.

И снова, как и накануне, они шли и говорили о театре, о городе, о пьесе. Он был не такой беспечный, что ли, более сдержанный и озабоченный. И в какой-то момент сказал:

— Мне предстоит поездка. Это не совсем вовремя, но придется. Есть вещи, от которых никуда не деться. Вы не считаете так?

— Наверное. Мне этим летом тоже предстояло то, что казалось важным и даже жизненно важным. А оказалось...

— Что же?

— А куда-то все делось.

— Так, понятно, влюбились. Или думали, что влюбились. Угадал?

— Почти.

— Не почти, а точно. Это и по тону вашему понятно, и вообще понятно. Понятно?

Оба засмеялись, и, когда подошли к той же самой развилке дорог, Лев Леонидович неожиданно спросил: «А вы влюблены теперь в кого-то?» И не дождавшись

ответа, сам же и ответил: «Кто ж это тебе скажет, глупый ты Лев!»

Однако Аня неожиданно остановила его и сказала: «Нет, не влюблена. И не знаю, посетит ли это меня когда-нибудь или нет?» На что ее спутник откинулся назад, смешно воздел руки куда-то ввысь и заголосил: «Посмотрите, люди добрые! Девушка не может влюбиться! Что ж делать-то?» Аня посмотрела на эту комедию, вдруг посерьезнела, повернулась на своих каблуках и, махнув рукой, сказала «до свидания» и ушла. Просто ушла. Лев Леонидович оторопел, но виду не подал, за Аней не побежал, а, склонив голову, пошел по своей улице.

Еще недели две шли репетиции, Аня очень продвинулась в понимании и роли своей, и просто-напросто характера Маши. Выстроились и главные сцены всего спектакля: у Треплева-Платова с матерью и с Ниной Заречной. Изольда требовала так много и так разнообразно, и каждый день, что смотреть даже просто из зрительного зала было сплошным удовольствием. Она много и интересно рассказывала о Чехове, о разных трактовках, но больше всего — требовала того, чтобы складывалась ее собственная концепция пьесы и чтобы актеры соответствовали тому рисунку, который она выстроила.

Аня, например, к своему удивлению, обнаружила, что последняя сцена героя с Ниной строилась таким образом, что он больше слушал, вслушивался в ее рассказ, нисколько не страдал вроде бы, а только все больше погружался в то, что составило его драму, его жизненную сложность. Ведь почему-то возникает в этой несмешной комедии выстрел. И подводит к нему именно последняя сцена. Треплев в ней сидит. Не мечется, не бегаёт по сцене, он действительно напряженно думает, оценивая все то, о чем рассказывает Нина. Это она в смятении. А он... Он, скорей всего, давно все продумал, оставалась лишь маленькая капелька, некая подвижка. И она происходит.

Когда после последней сцены в конце репетиции, Лев Леонидович подошел к Анне, она даже удивилась: так давно он этого не делал. А он, как ни в чем не бывало, спросил, не подождет ли она его сегодня. Она кивнула.

И все повторилось. Они шли, были оживлены, говорили о пустяках, как бы намеренно не касаясь будущего спектакля. И вдруг актер спросил:

— Вы, наверное, обиделись на меня?

— Нет, я предпочитаю думать, а не заниматься глупостями. — В это время она вспомнила разговор с отцом, который так запал ей в душу, что запомнился на всю жизнь. — Нет, обижаться — это удел слабых. А я...

— Я понял, вы сильная.

— Представьте себе.

— Да нет, я это давно понял. В особенности по тому, как вы репетируете. Вы и правда сильная. Даже отважная, я бы сказал.

— Не преувеличивайте. Но вот лучше сами скажите... А вы, вы человек обидчивый?

— Я? Нет, скорее, вспыльчивый, что тоже нехорошо. Но обид долго не держу.

— А вы постарайтесь не обижаться совсем, ну, просто вычеркнуть обиду из своего понимания, из своего жизненного запаса.

— Надо подумать.

— И еще. Я сегодня сверну раньше.

— Жаль, хотел вас пригласить. Может, перенесем тогда на завтра?

— Может быть.

Она простилась и раньше обычной их развилки свернула вправо. Дело в том, что это она так, нарочно. Что-то ей мешало, не давало спокойно дышать и спокойно разговаривать. И она решила, что лучше не умножать сложности, а пресечь. Потому и ушла раньше.

И только дома она поняла, что думает, беспрестанно думает об этом человеке, что он ей совсем не безразличен. Но виду, однако, решила все же не подавать и жить так, чтобы Лев Леонидович ни о чем не дога-

дался. Она отметила только, что сегодня он был чем-то больше обычного снова озабочен, хотя поначалу и говорил много, и смеялся. Но Аня зорко заметила, что что-то не так. Наверное, его беспокоит предстоящая поездка? В театре она уже слышана была, что жил он раньше в Ленинграде и что неизвестно, насколько он останется в их городе. Но эти мысли она отбрасывала и считала, что самое главное сейчас — это роль и работа в спектакле.

Но сколько бы она не уговаривала себя, где-то глубоко в душе понимала, что что-то с ней не то, что все дни и даже ночи только и делает, что думает об этом человеке.

Однако наступал день, приходилось идти на работу, и Аня преодолевала волнение, собиралась, много записывала за Изольдой, сидела в зале, когда не было ее сцен, и все смотрела и смотрела на своего Треплева.

А он репетировал так точно, так скрупулезно выбирая все ценное из сказанного режиссером, из своего объемного запаса актерских сил, опыта, дарования, что становилось понятным, почему такой актер так полюбился и местной публике и которого так ждут в его родном городе!

В сцене, к примеру, когда он собирается показать свой драматический спектакль и готовится к этому и когда слышит все-все реплики, в том числе, и сказанное матерью, прямо говоря, не особенно лицеприятное, он не нервничает, не становится суетливым, неврастеничным, как играли его таковым множество раз. Нет, он погружен только в то дело, которое дорого и занимает его более всего. Вообще в трактовке Платова выходило так, что Треплев — довольно глубокая и отнюдь не неврастеническая личность; и именно поэтому его финальный выстрел придавал происходящему какой-то особенно глубинный смысл его характер выглядел не просто как попытка неврастеника откреститься от этой жизни, но глубоко продуманная линия жизни, которая, по его представлению, должна закончиться именно так и не иначе.

Уже была назначена генеральная репетиция, и оставалось всего ничего до премьеры. Изольда даже сказала напутственные слова Ане, и выходило так, что она пока довольна тем, как Аня работает.

Однако на второй генеральной вышла незадача: Ане не дошили платье, куда-то подевалась шаль, в которой она всегда выходила на сцену, и этим дело не ограничилось. В гримерке, где она обычно сидела, появилась мышь, и это сильную, мужественную Аню испугало так, что она вскрикнула и запрыгнула на топчанчик, который стоял тут же, в гримерке. В связи со всеми этими наворотами она чуточку опоздала на свой выход и тут же схлопотала выговор от Изольды. Словом, образовался целый ком всяких неожиданностей, которые, как казалось, должны были вывести Аню из себя и сказаться на репетиции. Однако случилось обратное. Аня собралась, отбросила все эти мелочи, подумала, что до премьеры еще сутки и шаль найдется, платье дошьют, мышь изловят, и вышла на сцену. Никогда еще, ей так казалось, она не была так убедительна в своих нескольких небольших сценах. И даже рюмку, которую всегда брала с отвращением, на сей раз держала в руках и нехотя, и как неотвратимое наказание за собой же созданную судьбу.

Изольда воздержалась от комментариев и только в фойе мимоходом заметила, что завтра надо удержать то, что состоялось сегодня. «Не терять!» — заключила строгая дама-режиссер и пошла в курилку.

А на улице возле проходной ее дождался Лев Леонидович. Они прошли молча какое-то расстояние, перешли сквер, а потом он сказал, что сегодня стоит зайти и выпить вместе чаю. Она молчала, однако, не возражала.

Дошли до развилки. Он вопросительно взглянул, она снова промолчала, и тогда он взял ее под руку и пошел так до своего дома на Первомайской. Дом располагался во дворе, довольно далеко от входа, был окружен садиком, как и большинство домов подобной постройки. В середине двора был, как водится, водопровод, а

еще правее — калитка. Она-то и привела к крылечку, залатанному, ветхому, но зато из какого-то камня, не просто из дощечек. Он открыл ключом дверь, и они оказались в светлой, просторной комнате, которую и не ожидала увидеть Аня: так заросло все в саду и уже успело побагроветь и даже слегка покрыть дорожки своим неподражаемым золотым цветом. Чувствовалось, что хотя еще и тепло, но уже вот-вот наступит другая пора, пойдет скоро снег и все изменится.

Дома ее Треплев вел себя столь же естественно и непринужденно, как и во время репетиций, и по дороге домой. Он быстро организовал чай. Подогрел в казане какое-то кушанье, достал светло-сиреневые бокалы и налил вина, не спрашивая, можно или нет. Аня сидела и только осматривалась. Они подняли светло-золотистого цвета вино в бокалах и чокнулись.

Господи, ну сколько же людей на свете пьют в этом самом месте вино, потом обнимаются, потом плачут, а потом начинается драма. Вот и они, предчувствуя, что не все, скорей всего, сложится безоблачно и легко, выпили вина, что-то надкусили и... бросились друг к другу. Он целовал ее так, словно это была последняя возможность в его жизни. Аня не только не сопротивлялась, напротив, впивалась в его губы, шею, как волчица, которой дали волю, открыли путь. Они упивались друг другом, и это было так естественно! Два с лишним месяца запретов самим себе опрокинули вдруг все табу, и оба поняли, что неотвратимость близости и нужна и неизбежна, и так желанна!

Давно стемнело, а они все шептались друг другу, как долго этого ждали, и как нужны друг другу, и что теперь будет. Что слова?! Не было внятных слов, были одни признания и одна любовь. А то, что она случилась, было ясно и понятно обоим. Они любили, и это все придавало и придавало им силы, и страсть множилась и ложилась на плечи своей роскошной накидкой, совсем не похожей на ту, что всего несколько часов назад потеряли в том театре, откуда пришла девушка.

Это был ее первый опыт, но Аня и не заметила никаких неудобств или неловкости, все произошло легко и так, как она об этом мечтала. Она была вполне зрелой и опытной, но откуда взялся этот опыт, сказать было бы затруднительно, поскольку только страсть диктовала свои подходы, свои паузы и свое буйство.

С этого дня они начали встречаться почти каждый день. Перерыв был только в дни, когда спектакль сдавался худсовету, потом приемка спектакля была министерством культуры, а уж только потом разрешили премьеру. Иной раз прием спектакля происходил по налаженной схеме не два и не три раза, а значительно больше. Но тут возражений больших не было, показ для общественности с высказыванием приглашенных только убедил в этом. Но все профессионалы понимали, что премьерный показ всегда таил некий секрет, непредсказуемость, которые невозможно было предположить.

Все занятые артисты получили программки с пожеланиями и напутствиями режиссера, Изольды Петровны. В правом углу той, что досталась Ане, значилось: «У тебя, девочка, большое будущее. Осознай это и иди к нему!» Такая краткость была и приятна Ане, и навела на размышления. А в этом спектакле, к примеру, угадывалось, ощущалось это будущее или речь шла только о том, что могло быть? Но Аня лукавила: она понимала, что хотела сказать режиссер и чего на самом деле она ожидала от нее. Ей было интересно, что Изольда написала Льву, но, понятное дело, спрашивать об этом не могла и ждала, что он скажет сам. И действительно, он показал после спектакля программку, где в том же правом углу была надпись: «Дорогому Льву, так трепетно и чутко уловившему дух, тон самой пьесы, характер героя. Всем бы так! Поздравляю!» Вот это надпись! Аня порадовалась и подумала, что и она когда-нибудь заслужит подобного изъяснения чувств у неприступной Изольды. На премьере были и мама с папой, и тетя Сима, и друзья по институту. Все поздравляли, были воодушевлены, трясли Аню и гово-

рили, что эта роль даже больше ей удалась, чем главная в дипломном спектакле.

А потом, уже совсем поздно, после банкета и многочисленных поздравлений пошли домой. Но большой гурьбой, все вместе с родителями. И свернуть к Льву Леонидовичу не удалось: нехорошо как-то было. Он понял это, проводил всех до Аниного дома и услышал: «А вы заходите к нам. Сегодня уже поздно, но вообще-то рады будем». Это сказал отец, который уже, конечно, догадывался, что происходит с его дочкой. И она благодарно прижалась к нему и молча смотрела на своего Льва-Треплева. Играл он и правда бесподобно! Ей казалось, что какая-то крошечная малость есть и ее заслуги. То, как он раскрылся в жизни в последний месяц, как чувство, захватившее его, их обоих, сказало на работе, было столь очевидным и волнующим, что, скорее всего, многие уже были в курсе их романа, если не все.

Дома эта тема не обсуждалась, Аня только заметила, что отец больше ушел в себя, понимая всю деликатность создавшегося положения. И мама молчала тоже. Лишь однажды она, когда на терраске накрывали на стол, вдруг неожиданно спросила дочь: «Что, это у тебя серьезно?» И сама же ответила: «Вижу, что так».

В доме Ани вообще воцарилась молчаливая атмосфера понимания. Все уже обо всем знали, никак не комментировали происходящее, и только тетя Сима однажды высказала предположение: «Ну, ничего, бывает и так. Нашей семье повезло: мы все знаем, и слава богу. Но кто может знать, что из всего выйдет? Да и нужно ли это знать?» — вопрошала тетя Сима, но родители не спешили развивать разговор, поскольку еще не совсем понимали, во что эта связь выльется, к чему приведет. Всем было ясно, что существует проблема, что человек Анин не местный, что всякое может быть. И, пожалуй, отсутствие представления о будущем — а ведь это является залогом приятия и спокойствия — смущало и не давало покоя. В первую очередь — родителей. Будущее человека, дочери в особенности, нала-

гало некие вериги на отношения внутри семьи. Аня не могла не быть благодарной своим близким за их деликатность и молчание. Никто не спешил с расспросами, никто не тревожил ее прогнозами на будущее. Отлично осознавали все, что на многие вопросы просто не найдется ответов.

А страсть Льва и Ани не утихала. Они встречались, шли вместе до его дома и не сразу уже теперь впивались друг в друга. Иной раз что-то готовили, потом вспоминали репетиции, спектакль, замечания Изольды, игру коллег. И боялись подступиться к теме, которая настойчиво уже витала в воздухе. Эта тема была — Ленинград.

И все же однажды они не могли устоять, затронули болезную тему. И начал ее он, Лев.

— Ты говорила, что была этим летом в Ленинграде?

— Не только была, но и квартиру нашу старую отыскала. Отмыла ее и полюбила.

— И что с ней?

— А ничего, пусть стоит. Может, пригодится.

— Да. Вот и у меня квартира. Да только с домочадцами.

— И что же делать?

— Ты, как всякий русский человек, начинаешь с главного вопроса: что делать? А вот на западе другая теория в ходу. Иной раз предпочтительнее вывесить проблему за окошко, пусть отвисится.

— Вот как, за окошко? Нет, такой уход от ее решения — не для меня.

— Почему уход? Никакой это не уход. Нужно, чтобы выстоялось, улеглось.

— Ты что же, хочешь, чтобы чувства улеглись?

— Нет, конечно. Не чувства. Но сам подход к решению, само видение сложностей.

— Знаешь, я думаю, что жить надо легко и просто. Есть проблема — надо решать, а если ее можно обойти, то надо обходить. Но вывешивать, ждать...

— Да, может, ты и права. Но там есть обязательства.

— Ты любишь свою жену?  
— Прошло много времени, я даже забыл ее лицо.  
— Ты не отвечаешь...  
— Нет, скорее, нет. Но нужно все закончить по-человечески.

— Никто не спорит. Это твое, глубоко твое личное дело. И я не стану в него вмешиваться.

Он притянул ее к себе и шепотом сказал, какая она мудрая и не по возрасту дальновидная. Аня несколько напряглась, но понимала, что разговор такой неизбежен, что его, рано или поздно, все равно пришлось бы коснуться. И что он не может не быть безболезненным для обоих. Главное она видела в другом: она безотчетно верила, нисколько не сомневалась в чувствах своего Льва. И это правда было самым важным. Он же запрокинул голову ее и, шутливо пытаясь задушить, спросил:

— А ты, ты сама, любишь ли ты правда меня? Так, как никто, как я в своей роли Треплева, быть может? До смерти, до гибели, до конца?

— Да, люблю. До гибели. И мне иногда даже кажется, что в какой-то форме она меня настигнет, достанет за мой грех.

— Господи, да какой у нас грех? Что полюбили? Это счастье, а не грех. И запомни это. Запомнишь?

Он смял ее и снова чуть не задушил, но уже от страсти, уже всерьез. Она задохнулась, охнула, застонала и вскрикнула: «Ты меня правда когда-нибудь съешь. Или удушишь».

То жизненное счастье, которое коснулось Ани и в котором она пребывала последние полгода, даже больше, никак не вязалось с той ролью, которую ей приходилось играть в пьесе «Чайка». Но странное дело, именно по прошествии времени Изольда все чаще стала говорить ей все более теплые слова, нахваливая ее исполнение и трактовку характера. Вот ведь какая странность: в жизни одно, на сцене другое. И даже стали поговаривать, что Ане сделают ввод в Нину. То есть, обычным языком говоря, скоро она может приступить

к репетициям роли Нины Заречной. Такие упорные слухи ходили по театру, но сама Изольда ничего Ане не говорила пока. Ни словом не обмолвился и Лев. Аня просто ждала.

Однажды, когда она особенно долго задержалась и пришла домой около часа ночи, хотя спектакля не было, ее отец спросил:

— Аня, я не лезу в твою жизнь. Но надо жить так, чтобы даже слухи о твоей жизни не испортили кому-то судьбу, жизнь.

— Ты, папа, о жене Льва Леонидовича? Так он не станет с ней жить, они разведутся.

— Это он тебе твердо заявил?

И вдруг Аня сорвалась:

— Что вы меня мучаете? Я и сама все вижу и знаю. Не трогайте меня. И в театре все вижу. Будто нет других проблем, все ко мне лезут. Надоело! Отстаньте!

Она еще что-то выкрикивала, но подошел отец и крепко сжал ее, велел замолчать. Аня постепенно затихала, но все же всхлипывала, плакала, не могла успокоиться. Тогда отец снова сказал.

— Театр — это такая коробочка хитрая. Стоит ей постоять открытой, как тут же найдутся охотники в нее заглянуть. Жить надо так, чтобы коробочка стояла закрытой. Ты всех допустила посмотреть на свои приключения. А театру только это и подавай.

— Но что же делать? Куда нам спрятаться? Уже и так все знают. Пусть примиряются с этим. Пусть они, а не мы смиряются. Вот так!

— Послушай моего совета. Театр и это стерпит, это понятно. И мы с мамой проглотим, куда ж деться от своего чада! Но лучшим выходом будет его поездка домой. Он задержался здесь, война давно закончилась. Надо просто прояснить этот вопрос. Иногда нужна открытость в жизни, ясность ситуации. Ты понимаешь?

— Он и так собирается. Разводится собирается.

— А я слышал другое.

— Что, что, скажи? Что ты скрываешь?

— А выдержишь?

Аня молча взглянула на отца, и он уловил знакомое выражение лица. Именно с таким он частенько стал кивался в зеркале.

— Говори.

— Она пишет ему. Письма иногда приходят на театр. Их, конечно, никто не читал, но они есть, человек без надежды не станет писать. Понимаешь, театр примет любую ситуацию, но с той, в которой столько неясности, он не справится. Он начнет гудеть, тебя измочалят. Я-то знаю. Пусть едет, посоветуй ему.

— А ты? Ты, папа, не можешь сам ему это сказать?

— Я? Неожиданно... Я подумаю. Может, так и надо сделать.

Аня еле успокоилась после этого тяжелого объяснения, но вскоре поняла, что разговор у отца состоялся.

В какой-то день Лев был сильно опечален, ждал после спектакля, шел молча и только держал, как обычно, за руку.

— Наверное, надо ехать. Тянуть больше нельзя.

— Поезжай. Как раз есть дни, свободные от спектакля.

— Ты будешь...

— Я все буду, поезжай.

И Лев Леонидович вскоре уехал.

Аня ходила в театр, потому что ходить было больше некуда, ждала звонка, была очень растерянна. Но про себя верила, знала, что все должно закончиться хорошо.

И только спустя время отец сказал, что Лев, видно, крепкий мужик. Так и сказал. «Но с налетом все же такой аристократической слабинки. Лишь бы не дрогнул!»

Через две недели Аня получила письмо.

Она думала, что к концу сезона, когда предстояли еще гастроли, Лев приедет сам, что он больше двух недель и не задержится, поэтому никакого письма не ожидала. Но вот оно пришло. Целый день Аня ходила, не торопясь распечатывать конверт. Что-то удерживало ее и рождало не совсем светлые мысли. Что

могло случиться, что он так задерживается? Что изменило его планы? Только к вечеру, когда мама была уже дома, можно было забраться под виноградник и спокойно прочитать. До этого же был снова театр, читка «Живого труп», прогулка через сквер и преодоление все того же маршрута, которым она ходила весь год. Это был апрель, и уже зацветали фруктовые деревья, уже повсюду пахло весной и так не хотелось не то что грустных мыслей, но ничего грустного вообще. Хватило того, что столько времени она одна, что ее Лев-Треплев уехал и она ничего не знает о нем. Но вот — есть возможность узнать обо всем, однако что-то все же удерживает распечатать письмо.

И все же. Все же она раскрыла конверт, оттуда выпал листочек и еще маленький листик, совсем крошечный. Это обстоятельство несколько успокоило Аню. Если бы было что-то страшное, вряд ли бы он положил такой знак, такое послал о себе напоминание.

Она держала в руках листок, исписанный с обеих сторон, поднесла его даже к лицу, даже и понюхала, но только через некоторое время сумела собраться с духом и начать читать. «Здравствуй, моя дорогая! В городе еще холодно, но сегодня я уже видел двух птичек и поразился, что жизнь есть, она продолжается, и что даже птицы живут парами. Мы с тобой в скором времени непременно возьмем с них пример и объединимся, чтобы никогда не расставаться. Я не знаю их породу, как они называются, но то, что они были прелестны, — несомненно. Ничего не знаю о тебе, как ты, как родители, что в театре? Хотя понимаю, на все эти вопросы уже не сумею получить ответа. Нет, ничего страшного, просто еще немного придется обождать: дела. Заболела серьезно Галя, поэтому пришлось отложить свой отъезд, который и был намечен, и уже должен был состояться. Как ты? Слышишь ли меня? Понимаю, что не совсем порадую тебя своим письмом, но лучше сказать всю правду. Главное — это то, что есть мы и что ничто не сможет помешать нам быть вместе. Просто придется потерпеть какое-то время, повреме-

нить. Тебя, конечно, волнует, сказал ли я обо всем? Она и так уже все знала, добрые люди сообщили, донесли. Пришлось только подтвердить то, о чем она уже знала.

Ты не думай, она заболела всерьез, не с целью удержать меня. На следующей неделе уже отправляюсь. Дома обо всем договорим. Знаю, что нас обоих волнует больше всего: будем ли мы в этом городе и как скоро совершенно свободны? Потерпим, моя дорогая, моя милая девочка. Скучаю и хочу видеть тебя. У вас весна, завидую. Пока прощаюсь, жду. Целую. Твой Лев-Треплев».

Аня закусила губы, но не удержалась, расплакалась. Что-то такое она вычитала между строк, что ее и задело, и расстроило. Выходит, он там ДОМА? Там и правда его дом, в котором живет женщина, его жена и которая теперь больна, и он ухаживает за ней, откладывает отъезд, заботится? Выходит, так. А она? Неужели там, где все кончено, некому поухаживать, неужели он нянька? А если это так, значит, ничего еще не закончено, расставания еще нет настоящего. Им не по сто лет, чтобы кормить из ложечки друг друга! Почему он медлит, почему не поручит кому-то уход, заботу? У нее же есть мать, родственники, знакомые. Почему?

Она плакала и сквозь обиду и непонимание, сквозь несогласие и боль понимала, все же понимала каким-то краешком сознания, что он честный, порядочный человек и что он просто не может бросить все вот так и уехать. Но душу, неужели и душу его там тоже держат? Иначе почему целых две недели, да еще и следующая?

Ах, как плакала Аня и как терзалась оттого, что сознавала не только свою правоту, но и то, что она не в силах отказаться от этого человека, что он для нее дороже всего и вся на целом свете. Неужели это и есть самая настоящая любовь? С такой болью и такой страстью? Наверное.

Она вздрогнула, когда ее обняла мама и села рядом.

— Что, дочка, трудно? Вижу, что трудно.

— Мама, мама, я так хочу его видеть.

— Увидишь, он же придет.

— Да, но он там, и что-то его все держит и держит.

— Но, наверное, обстоятельства, невозможность все оборвать разом. Расставаться всегда трудно.

— Но у нас же все решено. Неужели он изменился? Неужели вернется к той?

— Вряд ли. Просто пойми, что мужчине в особенности принять решение много труднее, чем женщине. Женщина скорее и с большей готовностью идет на разрыв, выяснение отношений. Мужчина же тянет до последнего. Ты думаешь, они сильные? Нет, мы сильнее. А твой характер и правда крепкий. Тебе еще труднее будет.

— Что, всегда?

— Кто может знать про всегда? Но то, что трудно, точно. Ты максималистка. Тебе подавай все или ничего. Вот Алексей чем-то не понравился, и все, ты его уже отвергла.

— Но зачем же я буду обманывать? Я же не люблю его?

— Ох, моя дорогая, любовь — такое протяженное понятие. И время его частенько меняет. Думаешь, любовь, оказывается, привязанность. Только решишь, что нет ее, любви-то, как она тебя и припечатает: вот она я, не прогоняйте, это я и есть.

— А вы... вы с папой?

— Что мы?

— У вас разве не настоящая любовь?

Мама помолчала немного, потом вздохнула и сказала:

— Ты в последнее время видишь только свое, на нас тебе некогда обратить внимание.

— Так что, у вас сложности?

— Не то, чтобы сложности, но кое-что есть.

— Скажи, мам, скажи.

— А что говорить? Куда-то все уплыло. Что-то утратили. Работа, работа, некогда вникнуть в то, что ты сам есть, что и кто рядом. Суета, заботы одолели.

— Но, мама, я и не знала. Что случилось, скажи?

Мама снова немного помолчала, потом встряхнула все еще красивыми своими волосами и сказала:

— Есть свои сложности, потом об этом, когда поспокойнее тебе будет.

— Скажи сейчас. Ты сама говорила, как писал Лев Толстой, помнишь? Хочешь помочь себе, помоги другому. Что-то похожее. Я хочу тебе помочь.

— А особенно и помогать нечего, идет жизнь, а в ней застревают свои сложности.

— Но ты, ты любишь папу?

— Люблю, успокойся.

— А он?

— И он.

Они сидели, обнявшись, и обе понимали, что взрослая жизнь уже начинает с размахом брать свое: сметает и плохое, и хорошее, сгребает, как осенние листья. Но сейчас весна, и так не хочется думать, что эти зеленые листочки когда-то упадут, пожелтеют, завянут и наконец вообще превратятся в пыль. Весна и должна быть весной, звенящей и дающей надежду.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ

*Мысль о неизвестной птице, что хотела что-то сообщить, но не успела, не давала покоя.*

*Он внезапно подумал, что в ее душе, если она есть, конечно, сосредоточена чья-то неразгаданная тайна, стало быть, тоже душа. И кто бы это мог быть, мужчина, женщина? И что за жизнь они прошли? Может быть, поведение птицы способно приоткрыть тайну? Действительно, птица снова неожиданно подлетела, присела рядом, помолчала, как самый настоящий собеседник, и чуть хриловатым своим птичьим голоском прошептала: «Сам знаешь, что надо идти, чего уселся? Она еще придет, не бойся, еще увидишь ее, главное — иди». Сказала, обернулась вокруг себя, как самая настоящая женщина, вокруг ножки-лапки, и улетела.*

Настал день, когда вернулся Лев Леонидович Платов, когда встретились они у Аниных ворот и пошли к нему. И все снова было прекрасно. Как и раньше, как и с тех самых пор, когда он только возник в ее жизни. И неизбежен был разговор. Насытившись, утолив жажду страсти, успокоившись, оба могли говорить и постепенно стали разговаривать о том, что было, и о том, что будет. Он гладил распущенные ее волосы и говорил.

— Ты ведь никогда не острижешь свои косы?

— Если тебе нравится. А вот ты зарос, даже борода появилась. Как играть будешь?

— Спрошу у Изольды. В этом что-то есть, да и зрители пусть увидят меня новым.

— А в душе твоей все по-старому?

— И не сомневайся, все-все! Мужики ведь что, их пока запряжешь! Пока раскачаешь! Это вы у нас скорые и быстрые.

— Что одно и то же.

— Нет, скорые — это по-старому, в этом есть другой

оттенек. А быстро вы хотите большие, сложные проблемы решать.

— Это что, упрек мне?

— Ни в коем случае! Это упрек, скорее, мне. Все жалею, а, наверное, не надо.

— И сколько же жалеть будешь? Сколько попросят?

— Да меня, собственно, никто и не просит, сам понимаю, что нужно постараться это так решить, чтоб никому совестно не было.

— Но ведь там все знают, правда?

— Аня, милая, не спеши, я тебя понимаю. Да, знают, но надо по-человечески выйти из всего.

Аня поднялась, оделась, уложила волосы и спросила:

— А у нас, у нас разве по-человечески?

— Еще как! Разве ты сомневаешься? Все будет хорошо! Посмотришь.

— Ладно, мне идти надо. Вечер какой ясный. И закат, посмотри. Я иногда начинаю думать, что не наш ли это закат? Очень уж он яркий, что-то предвещает.

— Вещунья ты моя, прекрати, все хорошо. И все будет хорошо.

Он проводил ее до Аниных ворот, еще постояли, был первый час ночи. Аня ушла, но спать ложиться не стала. Сидела на кровати и думала. Все думала о том, что что-то все же неуловимое, еле-еле заметное оставило след на нем после поездки. Эта жалость! Зачем она? Кому нужна? Оттянуть время? Да разве его так много в жизни?

И вдруг — она еще даже не поняла, что случилось — что-то сильно грянуло, взорвалось, раздался страшный грохот и возникло зарево, которое можно было видеть из окна. Красное, огромное, оно полыхало так, что казалось только одно: война. Рассказы о ней еще не ушли из разговоров дома, еще не утратила она свой очевидный след в памяти людей. Но это явно было что-то другое, потому что не одно только зарево кольхнуло и взорвало дом. Он еще стоял, но шатало его так, словно картонную игрушку. И тут она уловила, догадалась,

наконец, что это землетрясение. Господи, какое же сегодня число? — не к месту подумала она и вспомнила, что так и не ложилась и что наступило уже двадцать шестое апреля. А часы показывали начало шестого. Но в какой-то момент и они свалились и всю квартиру накрыла дымка, превращающаяся постепенно в густую, тяжелую пыль. Она оседала, не давала дышать, и становилось ясно, что происшедшее имеет какой-то огромный размах, что сила и мощь этого землетрясения не сравнима ни с одним, которое доводилось переживать семье Ани.

Все выбежали во двор, там уже стояли и другие жильцы, а мама Любочки так причитала, так хваталась за все подряд и голосила, что Валентине пришлось одернуть ее и сказать, чтоб взяла себя в руки. Гул стоял не только от только что ворвавшейся в жизнь стихии, но и от ропота, возгласов людей, которые силились понять, что же именно произошло и с чем связано то страшное красное свечение, которое видели многие. Зарево, все говорили о каком-то зареве, но и слово «война» тоже проскакивало, не все освободились от дыма ее и воспоминаний о ней. Хотя не пришлось она на город, обошла далеко, но все, все люди так или иначе были с ней связаны: кто рассказами очевидцев, тех близких и родных, что побывал на ней, кто сам вернулся оттуда, из самого пекла, как произошло это с отцом Ани.

Замешательство, страх, неопределенность — эти чувства испытывали все люди. Аня стояла рядом с мамой и думала, что делает сейчас лев. И в эту минуту появился он. На нем была ее любимая в полосочку рубашка, неизменный пиджак, но озабочен он был изрядно. Подошел и при родителях обнял Аню. Так и стояли обнявшись.

Прошли минуты, час, еще другой. А люди все не расходились, и только время от времени забегали в свои квартиры, чтобы проверить, что от них осталось. Забегала и Аня, хотя ее чуть ли не за руку пыталась удерживать мама. Но Аня почему-то не боялась, ей хотелось

удостовериться, цел ли тот сервиз, который на первом курсе подарили ей на день рождения ее сокурсники. Рядом стояла хрустальная ваза, которая еще хранилась со времен тети Нади и которая так и осталась музейной приметой вечной недозволённости и призыва не трогать руками. Но она волновала Аню меньше всего. Она бросилась к буфету, убедилась, что сервиз почти весь цел, разбились две тарелки, но когда она подняла голову, стало страшно: стены были насквозь пробиты огромными трещинами, потолок в нескольких местах обвалился, а из стены, что граничила с квартирой тети Дины и Тани, — так по-старому ее называли, хотя хозяйка давно сменилась и жила там огромных размеров женщина по имени Фаина, — зияла дыра. Аня отступила, так как снова случилось колебание, затряслось все, и Аня выбежала из квартиры.

— Что там у тебя? — спросила она Льва.

— А что, не знаю. Что-то съшалось, рушилось, я бросился к вам, сюда.

— Было страшно?

— Познавательное, я бы сказал.

— Какой ты аналитик. Всем страшно, а ему нет.

— Почему, мне тоже страшно. Но вот я думаю, будет сегодня репетиция?

— Да, ты помешан на театре.

— Как и вы, сударыня, — поклонился Лев.

— У нас квартира в жутком состоянии. А мой сервиз цел!

Все засмеялись, и это было так здорово, потому что напряжение достигло максимума, требовалась разрядка. И незначительное Анино замечание привело всех в норму. Каждый начал громко рассказывать, что там у него, что увидел, какие разрушения. Выходило, что пострадали все, не осталось ни одной целой квартиры.

Однако шло время, и папа отправился на терраску, обследовал все, поставил чайник на газовую плиту, которая едва умещалась на крохотной, метра в два кухоньке. Потом окликнул своих, и все расположились под виноградником, чтобы отдохнуть и понять, что

произошло. Было очень прохладно, как бывало всякий раз накануне землетрясения. Неизвестно, что на этот счет говорили ученые, но все местные жители прекрасно знали такую связь, которую установили давно, и непредвиденного похолодания ожидали с неприятным чувством. Понимали, чем оно может грозить.

Папа, обладавший удивительным самообладанием, первым разрядил ситуацию.

— А не отправиться ли нам, Лев Леонидыч, в театр? Прямо теперь, до репетиций? Каково там, посмотрим.

— Согласен.

— И я с вами, — отреагировала Аня, но отец почему-то помахал рукой и заметил, что лучше пока остаться дома, с мамой.

Тут вышла тетя Сима с Аликом и тоже стала греть чайник. Их позвали, раздвинулись и так сидели, долго пили чай с конфетами и бубликами.

Со двора доносились голоса детей, которые отошли от стресса и уже извлекали из ситуации свою, ребячью, выгоду. Выходило, что в квартирах спать будет опасно, поэтому стали уже вытаскивать кровати в садики, что привело детей в настоящий восторг. Еще нет лета, а им уже разрешат спать на улице. Улицей назывались все те же дворики и садики, прилегающие к каждой квартире. Получалось, что жили хотя и в одном дворе, но достаточно обособленно. И еще вдобавок у каждого была своя маленькая зеленая территория.

Вскоре отец и Лев Леонидович ушли, а мама тоже решила готовить спальню под виноградником. Они вместе с Аликом вытащили большую железную кровать, поставили ее вдоль живой изгороди, напротив виноградника и решили, что это спальное место для родителей. Для Ани же соорудили топчанчик под виноградником, который использовался просто как место для отдыха всегда, но был завален книгами, рукописями, текстами ролей. Расчистили, постелили и мама предложила опробовать новые места. Легли вместе, на

большой кровати, но уснуть не удавалось, и Аня в конце концов заявила, что тоже пойдет в театр. Мама не возражала и только попросила быть осторожней, не находиться долго в помещении.

А у театра уже толпились люди. Здесь были все: и артисты, и осветители, и из пошивочного цеха две женщины. Как люди любили свой театр, свое дело. Об этом, скорей всего, успели подумать все!

Шел десятый час утра, и пришедшие артисты решили, что самое время начинать репетицию, поскольку все были в сборе. И пошли на сцену. А уже приступили к репетициям «Живого труппа», шли первые, еще застольные репетиции, и всем очень не хотелось пропускать этот период.

Наверное, время было особенное: никто не отговаривался нездоровьем, плохим самочувствием, элементарным страхом, все готовы были быть рядом, вместе и сообща работать. А у каждого была семья, близкие люди, но невероятная преданность делу граничила с фанатизмом. Выбора иного не было, как только пойти на работу и продолжать свое дело.

Еще по дороге в театр Аня заметила, как на их улице, немного ближе к трамвайной остановке, был дом, из которого одна стена просто-напросто выпала, а там, не обращая внимания ни на что и ни на кого, ходили по комнате люди и подметали полы, что-то привинчивали, стучали молотком. Вообще не было стены! И никто не кричал, все пытались приспособить эту ситуацию и продолжать жить.

Потом эту странную квартиру с выпавшей стеной Аня видела не раз, проделывая свой ежедневный путь. И однажды вечером даже увидела мужчину, который сидел в совершенно пустой комнате под лампочкой без абажура и читал книгу! Не обращая внимания на весь окружающий мир.

Во время репетиции к Ане подошла помреж Света, с крутым, неуступчивым характером женщина неопределенного возраста и предложила пойти домой вместе.

— С удовольствием, — ответила Аня, хотя сама не очень-то была готова к такому повороту дел. Но дружбы со Светой искали многие, Аня это знала и понимала, что открытое пренебрежение будет неуместно, и согласилась.

Еще она успела сказать Льву, чтоб шел отсыпаться, а она подойдет попозже.

Светка начала с места в карьер.

— Хорошо работаешь, — сказала она ни с того, ни с сего. — А вот с личным у тебя что? Кранты?

— Почему это кранты? Вполне даже замечательно.

— Это я знаю, что замечательно. Но о будущем, ты о будущем думала?

Еще никто никогда не смел говорить с Аней о ее проблемах столь жестко и категорично.

— Думала, как же! Я только о нем и думаю.

— Вот именно, что о нем! Но не о будущем. Смотрю я на тебя и жалко. Такая девка чудная, можно сказать. На весь театр такой нет. А пропадает.

Аня аж остановилась. Посмотрела на Светку, маленького росточка, с выцветшими волосами, завязанными в слипшийся узелок. Жуть! И она еще дает советы, учит уму-разуму?

— Свет, а тебя, собственно, что волнует? Мое моральное поведение или что? Может, ты по поручению?

— Ну и дура ты, Анька! По какому поручению? Ты видишь, я — ни с кем. Сама по себе. А о тебе даже ночью думаю. Все понять не могу, что твои родители, как им-то? Ведь он уедет, пойми!

— Замолчи!

— Не ори на меня. Я не первый день к тебе приглядываюсь. Он на сколько тебя старше? Вот так-то, на целую жизнь, можно сказать.

— Подумаешь — семь лет!

— В театре семь — это жизнь.

— Свет, ну, ты и злая.

И Не злая я, а добрая. Он и родителей похоронил.

— А ты знаешь, где он всю войну был?

— Ты с ума сошла! В войну он ребенком был, в Ле-

нинграде жил, еле выжил, потому и родители так рано умерли. Там учился, в театре там начал играть.

— Ты все думаешь, прижился, никуда не уедет. Уедет, помани мое слово!

— Свет, а тебе-то что? Смотрю я на тебя и не понимаю. Ну, старше, ну, не развелся еще, но ведь пять лет уже здесь.

— Но как можно: жил себе, жил, женился, и — на тебе, приехал! Зачем, спрашивается?

— Вот его и спроси.

— А я и спрашивала.

— И что же?

— А то, что у него больные легкие, климат ему другой нужен был.

— Ну вот, все и узнала. Что ж еще?

— А почему не с женой приехал, не знаешь?

— Нет, не знаю. Да и знать не хочу.

— Врешь ты все! Сама мучаешься, что, не видно, что ли?

— Давай так: я сама разберусь с собой и с ситуацией.

— Как знаешь. Хотела тебя предупредить. Уедет он от нас. Сам сказал, что последняя эта роль его в «Труппе».

— Уедет?

— Да, представь себе. Думай.

Светка повернулась резко и пошла семенить на своих маленьких ножках. Аня стояла, не в силах двинуться дальше. Как последняя роль? Что такое? Не может быть!

И все же случилось так, как сказала Светка. По театру поползли слухи, что вскоре Лев Леонидович уезжает. Аня поняла, что снова предстоит разговор не из легких.

И был он, этот разговор, не принесший ни облегчения, ни ясности. Прояснилось лишь одно: он мучается и понимает, что так дальше нельзя. Это сознавала и Аня. Но что делать? Что было делать обоим? И тогда предложила снова Аня:

— Сыграем премьеру «Живого трупа», поезжай. В конце концов, поживи, подумай, все оцени.

— А ты? Как ты, как я без тебя?

— Я поняла одно: что-то должно произойти, какое-то мощное событие, чтобы можно было принять решение. А так мы и будем душой скитаться...

— Да, это точно — «душой».

Вдруг Аня несколько насильственно рассмеялась и даже закружилась по его небольшой комнатке.

— Ты заметил, что мы играем про самих себя? Там ситуация, все события зовут вернуться, и здесь — то же самое?

Лев вздохнул, ему явно было не так весело, да и понятное дело, отчего ж веселиться?

— Заметил, я все заметил. И еще заметил, что ты тоже какая-то другая стала.

— В чем же?

— Еще недавно ты бы не пустила меня, удерживала. Теперь сама чуть ли не гонишь.

— Что ж, время идет, решение созревает. Не все так спонтанно, как хотелось. Смотри, осень снова наступает. А как же со спектаклями, гастролями? Хотя, правда, до них еще целая вечность. А у тебя могут быть свои края. В единственном числе, так сказать.

— Вот, ты уже кусаешься. До гастролей еще далеко. Да и неясно, что будет в следующем году. Может, и не будет ничего, дожить надо.

— А, ты уже узнавал, понятно. Я, пожалуй, пойду.

Аня перестала кружиться, успокоилась, села, взяла свою сумочку и посмотрела на Льва.

— Действительно, что-то не то. Может, и к лучшему.

— Аня, что ты меня, нас хоронишь? Это все проекты, ничего неизвестно.

— Понятно, я пошла, родители просят приходиться пораньше, волнуются.

Простились не так, как всегда. Было понятно, что что-то встало между людьми, хотя они все еще любили друг друга, стремились быть вместе, но были обстоятельства, которые никак не преодолевались сами по себе. И требовалось мужество и терпение, чтобы что-

то изменилось, жизнь наладилась и ушли из общения недомолвки.

А репетиции шли полным ходом, и ситуация внутри пьесы, что почти под кальку ложилась на отношения Ани и Льва, только усугубляла внутренний конфликт, который никуда не девался, скорее, наоборот, все разрастался и становился глубже.

Светка теперь частенько поджидала Аню у выхода, и они шли вместе какое-то расстояние, иногда заходили к Ане, кушали, сидели почти до самого вечера, когда приближалось время собираться на вечерний спектакль.

Аню ввели еще в два спектакля, и она вечерами теперь была частенько занята. Самый главный был — «Иркутская история» Алексея Арбузова. Она уже несколько лет шла на разных сценах, и появление ее в театре было глотком свежего воздуха. Такая удивительная тема! И при том, что там неожиданно прозвучала еще одна тема, тема смерти. Это было тем более удивительным, если учесть, какое это было время. Не было на отечественной сцене подлинной трагедии, а если и была, то только мажорного, оптимистического толка. И Аня с восторгом, с воодушевлением играла Вальку, главную героиню пьесы.

Это было для нее спасением, она это чувствовала, хотя ни за что не призналась бы даже сама себе. Ей просто нравилось быть в театре, ходить по его закоулкам и фойе, дожидаться в гримерке, когда соберутся остальные, когда заглянет Светка. Но больше всего, конечно, она была счастлива, когда встречалась даже в театральных лабиринтах со Львом, и они могли перекинуться словечком, а иногда и дойти до их замечательного убежища. Но теперь они встречались не так часто: были и заботы дома, так как часто стала прихварывать мама, была большая нагрузка вечерами, да и внутри было что-то, что нашептывало одну и ту же мысль — подожди, не спеши, надо, чтоб отстоялось.

Сказать, что Аня намеренно стала удаляться от Льва, было бы, наверное, преувеличением, но какая-то правда

в этом все же была. Она едва сдерживала себя, даже когда очень-очень хотела видеть своего Льва, хотела обнять его, впитаться в него всем своим существом, ощутить его запах... Но получалось, что она и правда что-то такое выстроила про себя, какую-то такую пирамиду, в самом конце которой светилась маленькая звездочка. И Аня понимала, что добраться до нее много сложнее, чем просто задирать голову и рассматривать их в огромном количестве на ночном небе. Эту пирамиду она все усложняла, повышая уровень сложности, расстояние до той самой звездочки. И сердце ей подсказывало, что так и нужно, что легкая победа только упрощает содеянное, завоеванное, что даже если и предстоят трудности, она их выдержит. А они не только мерещились, они и составляли смысл нынешнего Аниного существования, и, понятно, что их не становилось меньше.

Сыграли премьеру, отметили ее, но Аня побывала на празднике совсем недолго и одна побежала домой. Ей не нравилось состояние мамы, и она чувствовала угрызения совести, что почти на полтора года бросила ее, оставила дом, выбросила его из своей жизни. У мамы частенько прихватывало сердце, появились капли, пузырьки. А однажды она пришла раньше обычного и застала медсестру, которая делала маме укол. Рядом была тетя Сима, которая ступевалась при появлении Ани и даже пыталась шутить, что вот, мол, пришли, чтобы витаминчик Валентине сделать. Но по каким-то деталям Аня поняла, что эта медсестра здесь не в первый раз, и это не могло не настораживать. Когда они с мамой остались вдвоем, она спросила:

— И давно тебя колют? Мамочка, молчи, это все я виновата, я знаю. Ты за меня переживала. Господи, что я наделала? Хочешь, я никогда больше с ним не увижусь, хочешь?

— Я хочу только одного, ты же знаешь.

— Чего, говори, я все, все сделаю.

— Чтобы ты была счастлива. Но не так, как сейчас, а открыто, не таясь. Тогда и всем будет хорошо. Понимаешь, всем!

— Я поняла, мама, милая моя, я все-все поняла. Только успокойся. Скажи, что с тобой? Что тебе колют? И давно это?

— Не очень. Нужно немного поддержать сердце. Вот, кокарбоксилаза, и действительно витамины разные, еще там кое-что.

— А папа, папа знает?

— Да.

— И что же? Он хоть переживает?

— Да мы оба уже напереживались.

— Нет, все изменится, вот помотришь, уверяю тебя.

— Я верю.

— Ты веришь мне, да, правда? Я так боюсь за тебя и так люблю тебя.

— Верю, моя дорогая, моя единственная девочка.

— Вот и хорошо.

— А знаешь, у нас и новость есть.

— Что? Какая?

— Переписывали нас, ну, помнишь? Когда компенсацию за ущерб при землетрясении давали. Так вот, скоро переезжаем, квартиру нам дают. Папа уже обо всем договорился.

— Где? Неужели далеко?

— Нет, недалеко. Вот, поправлюсь, начнем паковать вещи. Всего за полгода выстроили дома. Нам дают построенное москвичами, здесь совсем близко, у зоопарка.

— У зоопарка? Вот здорово! Это такие кирпичные дома, да?

— Да, замечательные. И у нас будет три комнаты. В этом же году папа стал народным республики, ему льготы положены. Потому так много и дают.

— Мамочка, но ты скажи, у вас все хорошо? Нет больше сложностей?

— Да их, дочка, и не было по-настоящему. Так, накрыло немного, и все. А по большому счету, у нас все отлично, мы же пара. Все видим, все понимаем, чувствуем. Словом, любим... Знаешь, это счастье. Еще узнаешь.

Они сидели, обнявшись, и Аня сквозь слезы, сквозь угрызения совести чувствовала, понимала, как дорога ей мама, и как она неправа, что так отделилась от них за прошедшие полтора года.

Когда через несколько дней повеселевшая мама укладывала в плетеную корзину посуду, Аня обхватила ее, закружила, и мама, отбиваясь, радостно призывала дочку присоединиться к паковке вещей.

— Мама, но где, где, я хочу посмотреть.

— Сейчас придет машина, и первую ходку можешь сделать с нами. Там и помотришь!

Когда Аня подъехала к дому, увидела перед собой красоту с лоджиями, о которых только слышала, но не знала толком, что это, то буквально ахнула. «Неужели это мой дом?» — спросила она вслух, на что ей ответили утвердительно. Она вспомнила, что забыла спросить про этаж и засмеялась, вспомнив, как мама, еще когда водили Аню в детский сад, объясняла ей, что такое этажи. Такой четырехэтажный, один из очень немногих домов довоенного и доземлетрясенного Ташкента был как раз напротив ее детского сада. И Аня никак не могла взять в толк, что ей говорила мама. Она думала, что этажи — это не ввысь, а поперек, и мама всегда смеялась, говоря дочке, что такой тугодумкой быть нельзя. Что такое «тугодумка», Аня тогда тоже не знала, но понимала, что это что-то не совсем хорошее.

И теперь она смотрела на свой дом, считала этажи и еще не знала, на какой нужно им. Мама сказала: «Четвертый без лифта», — на что Аня немедленно отреагировала своим «здорово!»

Какая же великолепная была квартира! Большая, с лоджией, три отдельные комнаты, еще балкон и сушилка — так строили москвичи! Окна выходили на бассейн, с одной стороны, и на цветник, за которым прятался еще один дом, — с другой. Мебели не было, и когда Аня запела свой любимый романс «День ли царит», то поняла тут же, что и хорошо, что ее нет, вот бы подольше так было, поскольку в пустой квартире

акустика была идеальная. Она закружилась по комнатам и спросила, какая достанется ей. Мама ответила: «Выбирай», на что Аня аж остановилась и сказала, что должно все быть по справедливости, а значит, ей — самую маленькую.

Потом постепенно перевезли вещи, и в какой-то момент оказалось, что необходимо переезжать. Вот это оказалось полнейшей, как выяснилось, неожиданностью. Одно дело носить корзинки в новую квартиру и петь там, а другое — совсем оставить свой родной двор и навсегда, навсегда уехать с любимого места, из своего двора. Вот это пережить было куда труднее!

Не помогали ни доводы рассудка, ни уверения, что там есть вода и намного лучше, что уже почти все перебрались из общего двора. Ни-че-го! Аня приходила, как и прежде, ночевать и только в какую-то ночь поняла по изменившимся звукам, что и правда, двор опустел. Она не услышала привычных возгласов тети Кати, не увидела соседской собачки Бульки, которая лаяла, кажется, постоянно. Не было даже Любочки, чья семья перебралась чуть подальше от Аниного нового дома. И улица называлась Новомосковской. Словом, из привычных будничных примет, а главное — из звукового оформления — не осталось ничего, все и всё куда-то подевалось. Это был явный знак того, что время настало, что переезжать придется, как бы не хотелось оттянуть этот момент.

И однажды, когда она вернулась из театра не слишком поздно, нашла на столе записку, где были слова: «Доченька, ждем тебя на новом месте. Приходи!» Тут уж действительно, не останешься же одна в пустом доме, да вдобавок — в пустом дворе. Она собралась и пошла. Идти было всего два квартала, и она вскоре оказалась у своего подъезда. Глянула наверх и... увидела свет в окне.

Ее родители, папа и мама, сидели на просторной кухне и пили чай. Все было, как всегда, как сложилось за жизнь: тишина, покой и понимание. Хотелось петь и заплакать одновременно. Она и запела, а потом разре-

велась. Но не от потери Карла Маркса, родной своей улыбки, а от ожидания чего-то нового, такого, к чему еще только предстояло привыкать и приспосабливаться.

Когда она заглянула в свою комнату, ахнула: там стояла застеленная кровать, стоял письменный стол и висели четыре книжные полки с книгами. Была поставлена даже ваза с цветами. Как она могла?! Как еще смела медлить и не идти домой? Вот он, ее новый, такой замечательный приют, где даже стоят цветы, а под окном светятся огни и виден бассейн. Говорили, что скоро в него пустят воду. Может, не теперь, не осенью, но к лету точно. Аня свесилась вниз и закричала: «Ура! Люди, слышите меня?» Где-то хлопнуло окно, и кто-то засмеялся. Аня поняла: услышали.

Но самое удивительное и непривычное заключалось в том, что у них был в доме туалет и ванна. Все — отдельно. Она снова заглянула на кухню, увидела ту же идиллическую картину и спросила, можно ли пользоваться водой. Мама улыбнулась и ответила, что не только можно, но и нужно, что воду уже неделю как дали и что теперь не придется ходить в баню. Это была новость хоть куда! Не придется покупать козинаки, проходить мимо курантов, в самой бане мыть тазы и сидеть три часа в очереди? Потрясающе! Аня покрутила краны, вода действительно лилась, и она сказала себе, что с этой водой, убывающей так быстро, непременно уйдет все плохое. И за последние несколько месяцев она была счастлива. По-настоящему!

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### МЫ НЕ БУДЕМ ВМЕСТЕ

*Эта игра в поддавки стала утомлять, и где-то внутри поселилось чувство, что он так и не услышал чего-то важного и определенного, что его попросту водят за нос и что нужно, наконец, добиться хоть какой-нибудь, но ясности. Правда, чего удумала себе эта своенравная птица, чего она добивается и почему не отстает от него? Что за тайной владеет, да и откуда взяться человеческому голосу? Уж не съехала ли у него совсем крыша? Нет, но он точно слышал. Сам слышал этот воркующий голосок и запомнил, что он сказал, о чем предупредил.*

*А между тем птица появилась снова, но не приближалась к нему, а только смотрела издали и, как ему показалось, весьма грустно. Интересно, птицы умеют смотреть грустно или это снова его придумки, фантазии и просто черт знает что?!*

Аня не рассчитала нового маршрута и опаздывала в театр. Но бежала все же бегом, не садясь на автобус. Она толком до сих пор не знала, а что туда ходит? Наверное, ничего. Но все же по дороге успела заметить, что осень в самом разгаре. И что ташкентская эта пора не похожа, скорей всего, ни на что. Все было в сочетании еще теплого воздуха, возможности пробежаться вот так, в легком пальтишке, и удивительного цвета листьев, которые все облетали и облетали, и только осенью можно было оценить, какое же их количество. Весной все воспринималось иначе, такая зелень, да и сама пора были чем-то обязательным, естественным. А в том, как сбрасывались они по осени и что за настил был на тротуарах — дело особое. Мало того, что их действительно было очень много, но они лежали таким нежным, таким покорным покровом, что, казалось, они и сами по себе готовят жителей к еще более сложному периоду — к зиме. Они словно прощались с привычными к ним горожанами, нехотя падали

и устилали все возможное пространство, включая мостовую, они обсыпали сады и дворики, еще оставшиеся в городе, и создавалось ощущение позднего прощания. Они как бы говорили, что это последняя такая осень, что дальше Ташкент преобразится, станет похожим на многие города в стране, что осень даже будет похожей на другие, а вот теперь, именно теперь — ее прощальный, триумфальный выход. И он длился и длился, был подчас неуправляем, сквозил во всем этом некий шик, тоже присущий каждой поре в этом городе. Осень говорила свои скорбные, свои прощальные слова, и это понимали все. Понимали, что большие дома вскоре потеснят деревья, что листьев уже будет не так много, как теперь, и что вообще той осени, к которой привыкли люди, уже никогда не будет. В этом «никогда» была и своя прелесть, и горечь, и тайна.

Аня подняла оранжевую веточку и так, помахивая ею, побежала дальше. К своему удивлению в зале репетиции не было, и она взбежала наверх, в свою гримерку. Там сидели три актрисы, которые оживленно что-то обсуждали. При виде Ани они сначала затихли, но потом одна, которую звали Ольга Ивановна, жена известного артиста, маленького росточка женщина, в годах, так и оставшаяся играть инженеру, разных там мальчишек, но сохранившая тем не менее гонор и завышенную самооценку, спросила Аню, чего это она пришла, коль репетиции отменили.

— А я и не знала ничего.

— Ну, конечно, куда ж тебе сообщать, ты ж у нас переезжающая.

— Ой, а вы откуда знаете?

— Ну, дорогая, такие вещи быстрее переездов доходят. Нам в Ц-1 не дали, например. А у меня тоже муж — заслуженный артист.

— Ну и что? Где-то ведь дали?

— Где-то...

— Да подумай, где жить! Что такого!

— Ах, Аня, не обломали бы тебе крылья, смотри. Не поднимешься. Не улетишь.

— Да кто ж мне их обломает? Да и за что?  
— А ни за что, за то, что это театр, и все тут. Поняла?  
— Поняла. Хотя, нет, не поняла. Какие крылья, за-  
чем? Кому это надо?  
— А вот поживешь с наше, узнаешь.  
— Ой, Галина Ивановна. Я и со свое уже пожила.  
Но никому ничего плохого не желаю.  
— Спасибо.  
— На здоровье.  
— А ты не такая простая, как кажешься.  
— Нет, конечно, какая ж я простая?  
— Это ничего, сгодится. Садись. Проблему обсуж-  
даем.  
— И что такое?  
— А то, что роли распределяют плохо. Не по прави-  
лам.  
— А какие нужны правила?  
— Какие? Ты еще спрашиваешь? По чину, по рангу,  
ты что, с неба свалилась?  
— Я думала, все определяет талант.  
— Ох, эти мне молодые дурочки. Что они о себе  
понимают?  
— Ничего!  
— То-то я и вижу.  
Тут в разговор вступила третья дама, которая отли-  
чалась более миролюбивым нравом и у которой не было  
мужа, заслуженного артиста. Она была просто талант-  
лива сама по себе, хотя и в годах.  
— Ань, ты не стой, мы тут в этой общей гримерке  
любим посидеть. Ничего, не мешаем?  
— Да вы что, Людмила Павловна, сидите себе!  
— Смотрю я на тебя, и жалко становится.  
Аня напряглась, думая, что сейчас возникнет тема  
Льва, но ошиблась.  
— Жалко. Тебе бы Медею сыграть, мощь, силу. Ты  
хоть знаешь, какая в тебе сила? А, нет... Я и думаю. А  
хотела бы Медею?  
— Ну, Людмила Павловна, какая я Медея?  
— Такая! Я тебе точно говорю!

— Ну, ты, Людка загнула! Девчонка еще, опыта нет,  
в своих сердечных делах пусть сначала разберется, —  
строго заявила Галина Ивановна. — Медея! Нашла, тоже  
мне.  
— А вообще-то я хотела бы. Наверное, смогла бы.  
Еще в институте по зарубежке когда проходили, очень  
меня это волновало.  
— Вот, я же говорю!  
— Да молчи ты, Люда! Была ты Золушкой, так и  
осталась, — заключила Ольга Ивановна, — годы тебя  
не берут.  
— Так и хорошо, — парировала Золушка-Людми-  
ла. — Я всегда молода!  
— А морщины-то от мачехи Золушки будут. Поняла?  
— Поняла.  
— Вы осень сегодня видели?  
— Мы ее каждый год наблюдаем, — отрезала Ольга  
Иванна.  
— Нет, каждый год — это не то. Сегодня она с нами  
словно прощается. Как будто говорит, что такая она —  
последняя. Вы не заметили?  
— Ах, девочка, все еще только начинается. Какая  
последняя? — спросила Людмила Павловна.  
— А так. Такой больше не будет.  
— В твоей жизни и не то еще будет.  
— А вот с этим гастролером лучше порви, нечего  
ему наших девок клеить. Вон, высохла совсем, — не  
унималась Ольга Ивановна.  
— Ничего я не высохла.  
— Ты что же, любишь его, что ли?  
— Какие вы любознательные. Все вам знать нужно.  
— Тебе же лучше хотим, чтоб не вляпалась куда не  
следует. Отец испереживался весь, — снова сказала  
Ольга Ивановна.  
— Он мой лучший друг!  
— Кто, Лев, что ли?  
— Нет, папа!  
— А-а, а то я думала... У него таких подруг!..

— Ольга Ивановна, ну зачем вы так? Вы же ничего не знаете!

— Все я знаю, все, деточка! И то, что он бежать собрался, тоже знаю.

— Ну почему бежать сразу? У него обязанности.

— А думал он о них, когда тебя впутывал в свои дела? Говорил, что, мол, повременим, я развестись обязан? У него вообще обязательства имеются?

— Имеются, — совсем уже расстроено сказала Аня и повернулась, чтобы выйти.

— Ты не обижайся, мы тебе же неприятностей не желаем. Ты сильная, оставь его, дело тебе говорю, — на прощанье все же отрубил Ольга Ивановна, и Аня, не проронив ни слова, вышла из гримерки.

Она шла по пустому фойе и еле сдерживалась, чтобы не разреветься. «И что они лезут? Теперь уже все подряд? Что им не живется спокойно? Лучше бы творчеством занимались, чем сплетничать», — зло подумала Аня и тут натолкнулась на Льва. Он шел медленно по фойе, склонив голову, и думал о чем-то очень углубленно. Был он так же печален и не похож на себя: рубашка помята, волосы не причесаны.

— Что с тобой? — тут же спросила Аня, утирая слезы.

— Это я должен бы спросить, что с тобой?

— Со мной все в порядке. А вот ты...

— Я? Что я? Осень достала. Прямо щемит сердце. Не могу.

— Ты что, болен?

— Болен, я болен. Тобой я болен.

— Так лечись.

— Я и пытаюсь.

— Лев, что происходит? Что мы все вокруг да около?

— А то и происходит, что нас без нас разводят. Не хочет театральная общественность видеть меня с такой нежной пташкой рядом. Вот и пристают. К тебе, думаю, тоже.

— Мне на них наплевать

— Не думаю, — ответил Лев и снова нагнул голову.

— Не думаю. Иначе...

— Что иначе? Что?

— Иначе, — он улыбнулся, — ты бы давно пригласила меня на свою новую жилплощадь. Без права, конечно, на ней проживать.

— Так приходи, я же дом показывала тебе.

— Приходи... Так не могу, я не твой школьный товарищ. Лучше ты ко мне.

Аня замялась: она решила не бывать больше у Льва. По крайней мере, до тех пор, пока все не станет на место. А на какое место, она и так понимала. Ей хотелось ясности и определенности. Да и родителей больше ввергать в переживания не хотела. Потому и сказала: «Давай повременим, отложим. До лучших времен. Надеюсь, они скоро настанут. Ты веришь?» Лев молчал, только крутил по своей привычке ворот рубашки и снова низко наклонил голову.

— Не знаю. Иногда мне кажется, я ничего не знаю.

— Как же ты живешь? Как играешь?

— Это кто-то, не я. А я, скорей всего, просто умер. Хорошо бы, если б на время. А может, и навсегда.

Он поднял голову, посмотрел с той же печалью на Аню и, не прощаясь, пошел за кулисы.

И сама Аня, и другие актеры заметили, что и в игре Льва Леонидовича появились шероховатости, просто откровенные дыры, не оправданные изнутри, и все это наводило на мысли, что с артистом не просто что-то случилось, но это что-то отразилось на его работе, на профессионализме. Сцены, которые блестяще получались в «Живом труп», в особенности с Машей, или те, когда надо принимать решение и этому способствует его цыганка, вдруг появился странный, условный какой-то темпоритм, немотивированные паузы, и создавалось ощущение, что он еле-еле тащит за собой свою роль. Что не она не дается, а жизненные обстоятельства воздействуют так, что она плетется где-то позади его судьбы, и что-то, что составляло его привлекательную выразительность, даже блеск, куда-то подевалось, поблекло и стало таким тусклым и неинтересным, что

стали уже шептаться и зрители, поговаривая, что с Платовым что-то не то и не так.

А на самом деле так и было: не так! Жизненная ситуация тянула вниз, роль получалась больной, и замечательные места, в которых прежде блистал Лев, подвяли, осыпались, и руководство театра решилось на невиданное: не просто поговорить с артистом, но предложить ему отпуск. Время, чтобы он смог непременно поехать к себе в Ленинград и все-все для себя обрешил. Ибо причина тормоза в работе для многих посвященных в театре была очевидна. Что ж, человек запутался, стал вянуть. Куда-то стало уплывать прежнее очарование, мастерство, особые находки и тонкости в импровизации. Все стало в его игре угловатым, натянутым, внешний вид тоже оставлял желать лучшего. Словом, разладилось в жизни человека почти что всё! И не спасала прежняя любовь, общение, редкие теперь свидания — ничего не радовало больше. И он тоже уже начинал понимать, что, как для человека нравственного, одаренного большим чувством и большим талантом, такое положение дел неприемлемо, что нужно в душе своей найти покой. А то, что он был утрачен, всем, и Льву в том числе, давно было ясно.

Но никто не знал в точности, как именно сказать человеку, чтобы собирался и отправлялся в путь. Все хоть и понимали, и даже говорили с ним на эту тему, так уж прямо не заявляли, что требовалось сделать. Однако не был бы этот самобытный артист тем, кем он являлся, то есть прекрасным русским актером, если б в один прекрасный день, оставив на проходной для главрежа письмо, попросту не уехал. Причем ни с кем не прощаясь. Даже с Аней.

Поступок был воспринят с пониманием, никто не порицал Льва, все сознавали. Что так надо, время пришло. Письмо тоже говорило о том, что далее терпеть было невозможно. Вот все и сошлось.

И только Аня не могла верить, что вот так запросто мог уехать ее любимый. Разлад, конечно же, наметился давно, и обоим было понятно, что что-то давно

разладилось в отношениях, но оба на решительный шаг не отваживались. Но получилось, что потребность и восстановить свое доброе имя, и разобраться в себе самом, и просто пожалеть двух женщин, которые вконец измучались, была столь явной, что откладывать стало невозможным. Вот Леонид и решился: поехал к себе в Ленинград. А Аня... Что Аня? — осталась одна.

И хотя она понимала, что отъезд неизбежен, ее потрясло столь внезапное и неожиданное исчезновение. Она не находила места. Боялась, что за свои репетиции схлопочет выговор: так они были неубедительны и не устраивали никого. Ни режиссера, ни партнеров. И в какой-то день Аня тоже решилась. Она поняла, что может лишиться самого дорогого — театра, что ее просто не поймут в коллективе, что все так разладилось и покатило, что это может стоить будущего.

Для начала она купила бутылку вина, чего прежде не делала, пришла к себе в гримерку, застала тех же женщин, которые, казалось, и вовсе не отлучались отсюда все это время, разлила напиток и залпом осушила стакан. Потом уставилась на насковзь прожженные перекисью завитушки Ольги Ивановны, вспомнила, как ей актеры рассказывали, что на гастролях видели, как она выскакивает на лестницу и вытряхивает все, включая лифчик и трусики, как она ходит по пятам за своим неказистым Ваней Синявиным, что у них никогда не было детей и все нерастраченное свое женское чувство она обратила на него, став и мамой, и нянькой, и хорошим товарищем. Смотрела на нее Аня и думала, что ни за что на свете не станет на нее похожей. И вдруг ее словно прорвало.

— Ольга Иванна, вы что не покраситесь? Пора уже!

Это было столь неожиданно и так резко, что все женщины опешили, не произнося ни слова. А Аню словно несло куда-то, и она не могла остановиться.

— Вы ж меня не любите, я знаю. И отца моего — тоже. Вы вообще никого не любите. Только себя и своего Синявина. Да и то потому, что любить-то и некого больше.

Ольга поднялась на своих маленьких ножках, вздохнула, потом покраснела, выдохнула и вдруг подлетела к Ане и вцепилась к ней в волосы.

— Ах ты дрянь малолетняя. Что ты понимаешь? Дрянь, дрянь. — Она трясла Аню, мотала ее своими маленькими цепкими ручками и все приговаривала одно и то же слово «дрянь». Было больно, но Аня кричала свое, не останавливаясь.

— Это вы сгубили Синявина, он был талантливый, вы исковеркали ему все, ходите, подкарауливаете, а — а — а, отпустите, ой, вы, вы сгубили, вы. И сами вы — никто. Не актриса! А-а-а-а... Вам в царской охранке работать, а не в приличном театре.

— Убью, я убью тебя, дрянь. Не смей трогать моего Колю. Он выше всех. Дрянь, я тебя уничтожу.

Аня вырвалась, оправляя юбку, а сама хохотала и показывала пальцем на растрепанную артистку.

— На себя посмотрите, уходите подбру-поздорову на пенсию, выметайтесь из театра, все вздохнут только.

— Ах, вот ты какая, я всегда так думала, ты дрянь, просто дрянь.

Она попыталась еще напасть на Аню, но та увернулась и откровенно стала смеяться. Ей вдруг стало весело: и от жуткой этой ситуации, и от того что она принесла неожиданное облегчение, и потому еще, что Аня смогла сказать этой полуартистке все, что думала о ней!

Она отпихнула Ольгу, брезгливо поморщилась, еще раз поправила юбку и сказала напоследок:

— Опомнитесь когда, не бегите в местком сразу, идите в парикмахерскую и приведите себя в порядок. Так будет лучше!

С этими словами она повернулась на своих каблучках и, хлопнув дверью гримерки, вышла. Потом вернулась и сказала:

— И больше в нашу гримерку не смейте шастать. Не по чину будет! — И ушла совсем.

Только на улице она стала по-настоящему успокаиваться и приходиться в себя. Если б ей когда-нибудь ска-

зали, что она способна на такое, ни за что не поверила бы. Но она шла уверенно и не думала, что будет после, потом? Что ее ожидает? Нет, напротив, она поняла только одно: что нужно, наконец, собраться и начать все-речь работать. Не высиживать время на репетициях, а работать! Вникать. Думать, фантазировать! Куда что подевалось? Не-ет, вернуть, все вернуть, да еще и прибавить! Только так!

На днях сказали, что будет читка новой пьесы. Что в Москве и по всей стране она уже идет на ура! Все много слышали, но еще никто не читал само произведение, знали только, что написал его знаменитый драматург Виктор Розов и что в планах театра пригласить его в гости, чтобы сам рассказал и о своем творчестве, и о самой пьесе. Говорили еще, что он очень интересный человек, очень театральный, и весь коллектив был заинтригован предстоящим событием. Тем более что более всего всех волновало распределение ролей.

В театре царило оживление, и никто ничего не говорил Ане о происшедшем. Ей даже стало странно: неужели не знают? Почему молчат? В гримерке больше она никого не встречала постороннего, из чего Аня заключила, что угроза подействовала. А когда ненароком она нос в нос столкнулась у буфета с Синягиной, та махнула своей маленькой ручкой и даже первая поздоровалась. «Ну и ну!» — подумала Аня, но однако на приветствие ответила. «Неужели проглотила?» — изумилась Аня, пытаясь осознать, что чудеса случаются не в одних лишь сказках.

А дома ее тоже ждал сюрприз. На столе в ее комнате лежало письмо, и она сразу поняла, что пришло оно из Ленинграда. Однако читать сразу не бросилась, а повертела, приложила к губам, вдохнула ведомый только ей аромат и прошла на кухню. И только вечером, когда вся семья собралась на кухне, она услышала почти невозможное для себя еще совсем недавно. Родители сообщили, что, посоветовавшись, решили поехать в Ленинград, что с годами тяга к родному городу становится все сильнее, что ностальгия — не пустое слово

и что все уже решено, в театре подписано и уезжают они через два дня. Аня так и ахнула: ничего себе сюрпризы!

Но в процессе разговора поняла, что решение их обосновано, что сто лет они и правда не были нигде, тем более — в родном городе. И она воскликнула: «Вперед, мои дорогие! Я согласна. Только с возвратом. Так ведь?» На что родители сначала ничего не ответили, и спустя время папа неожиданно сказал: «А что, слабо одной остаться?» Аня изумилась: «Неужели вы можете там остаться? А я? А Алексеевы? А театр, институт, все друзья?» Родители снова помолчали, причем вместе, согласованно, и стало вдруг понятно, насколько они едины в своем видении проблем, как им хорошо и понятно вместе. И Аня сдалась.

— Что ж, езжайте. Наверное, правильно. Какая же я эгоистка, ужас! Конечно, поезжайте.

— Да ты не переживай, мы же с возвратом. Наверное, — добавил папа, и все засмеялись.

— Ох, мои хорошие, что я без вас буду делать?

— Как что? Первым делом — вари суп, дальше — ходи на работу, в третьих — пиши нам, а в главных — знай, что мы у тебя есть и что все будет хорошо. Так? — Папа был верен себе и задал свой главный вопрос.

— Так.

Но все понимали, что избежать острой темы не удастся, поэтому папа продолжил.

— Как считаешь, звонить твоему Льву?

— Не знаю. Вот, письмо получила.

— Мы знаем. Прочла?

— Нет еще.

— Так иди, читай.

Аня вышла, зажгла у себя лампу, села к столу и все никак не могла решиться, чтобы раскрыть конверт. А когда взяла в руки листочек и увидела, что там написано, похолодела.

«Милая моя девочка!

Мало кому пришлось пережить то, что досталось мне. Так все складывается, что вряд ли я вернусь. Се-

мейная ситуация напряглась до предела, и я не хочу трагедий. Надеюсь, ты сильней и все выдержишь. Я не забуду тебя. Обнимаю. Лев».

Она сидела за столом, сжимала листок и не могла поверить, что ее первая любовь куда-то безвозвратно уплывает, что всему пришел конец и что теперь надеяться нечего. А с отъездом родителей и вовсе все покатится. Ужас, страх, которых она прежде не испытывала, обуял ее, и она склонилась над столом, чтобы родители не услышали ее рыданий.

Однако вошла мама, увидела дочь, поняла, что случилось плохое, и села рядом. Она гладила Аню по чудесным ее волосам и приговаривала:

— Все еще будет, еще придет другое, настоящее чувство, это только так, начало. Твое начало.

— Нет, мне ничего другого не надо. Только его. Никого, понимаешь? Никто, меня никто уже не поймет.

— Не правда, успокойся, ты сильная, прими это и станешь еще сильней. Иногда надо принять, и все станет на свои места.

— Как, как принять? Он что, выходит, лгал мне?

— Нет, в том-то и дело, что нет? Но человек слаб. Вот и он не рассчитал своих сил. Всего-то!

— Ах, всего-то? По-твоему, это так просто?

— Не плачь, возьми себя в руки. Наш отъезд — тебе во благо. Ты и правда должна повзрослеть. Пока ты была еще под нашим крыльшком. Действительно, побудь одна, взвесь все, оцени. И придет мысль, она никуда не денется: все еще будет.

— Что ты меня утешаешь? Уже ничего, ничего не будет! Такого не будет!

— Значит, будет другое. Но то, что будет, несомненно.

Мама вышла, и Аня почти всю ночь просидела за столом, то беря снова и снова в руки письмо, то отбрасывая его совсем. И к утру что-то переломилось, ей полегчало. Она ушла, работала, вечер тоже прошел спокойно. А еще через день родители уехали.

И первые несколько дней Аня и правда варила суп, ходила пару раз на Алайский и привыкала к новой роли хозяйки своей большой квартиры, построенной москвичами. Квартиры, которую заслужил ее отец, а сам теперь находится в родном городе Ленинграде.

Она старалась не думать о будущем, вообще ни о чем, тем более — о Льве. Просто выполняла свои обязанности, ходила на читки, общалась изредка со Светкой. Больше никого не видела и не слышала. Страшный инцидент в гримерке, казалось, так и был похоронен там. По крайней мере, никто ей о нем не напоминал, отношение коллег не изменилось, и Ольга Ивановна первая здоровалась и сидела исключительно в своей гримерке.

Пьеса, о которой все говорили, так и не была еще прочитана. И как-то ажиотажа поуменьшилось. Но однажды, когда Аня шла на репетицию очередного ввода, увидела много своих коллег, не занятых на сцене, но которые оживленно разговаривали и в фойе, и у самой проходной, у буфета. Все ожидали читки и — более того — рассказа Изольды о встрече с самим драматургом. Словом, предстояло событие нерядового порядка, и все обсуждали его и томилась ожиданием.

Поскольку народа было действительно много и в репетиционном зале явно не все поместились бы, решено было провести встречу прямо в зрительном зале, рассевшись в первых рядах. Когда наконец все разместились, появилась Изольда, спускавшаяся вниз по проходу из фойе. Выглядело ее появление очень эффектно, тем более и оделась она по случаю соответственно. Уже была поздняя осень, и вот под стать ей Изольда надела изумрудного цвета платье, прихотливо задрапированное по всей юбке. Лиф тоже был в складках, и худенькая фигурка женщины выглядела не такой тщедушной. Складки и зажимы, весь фасон платья очень шли Изольде, она сознавала это и ступала так, словно появилась Гертруда на своем главном выходе. Она облокотилась о край сцены, сделала паузу, положила рядышком какие-то листочки и улыбнулась. У другого

человека это не было бы никакой странностью, но улыбка на лице режиссера Изольды Петровны появлялась не столь часто, чтобы ее можно было не заметить.

Она стала говорить. Нельзя сказать, чтобы она была ярким оратором, но мысль держать умела, и потому слушать ее было удовольствием. Речь ее всегда носила какой-то странный прерывистый характер, но спасало эту техническую трудность ее режиссерское умение держать мысль. Как балерина держит точку, так она держала мысль. Никакие ее зашагивания вбок и назад не уводили тем не менее рассказ от нужной цели. И пружина этого изложения была всегда натянута, но никогда не соскальзывала с петель.

Она рассказала, что не только лето, но и часть осени посвятила просмотрам спектаклей по пьесам и Алексея Николаевича Арбузова, и Виктора Сергеевича Розова на разных сценах. Причем не одной только Москвы. И самая сейчас популярная, на которую бросаются все театры, это «В день свадьбы» драматурга Виктора Розова и «Потерянный сын» Арбузова. Встречалась она и с самими авторами, и они произвели-таки на нее нужное впечатление. Еще бы! Кто-то нагло спросил, не будет ли наш спектакль повторением московской версии, на что прозорливая Изольда ответила: «А, это вы, наш незабвенный Владимир Иванович? Жаль, что не Даль. Того так же звали. Затосковали без ролей? Что ж, я устрою вам веселую жизнь, будете одним из членов семьи, ничего, что возраст, вы тоже у нас не Иван-царевич. Читали пьесу? А-а, то-то, а туда же. Не лезьте пока, всем работы хватит, действующих лиц полно. А насчет версии и повтора... Я если и смотрю что, то на предмет протеста или несогласия. И никогда, запомните, никогда, не слизываю чужие решения. У самой фантазии хватает». На что зал загудел, и кто-то крикнул: «Это мы знаем, Изольда Петровна, не слушайте его. Он не завтракал просто». Все засмеялись, и Изольда, повернувшись в своем изумрудном платье, стала рассказывать, что ее не просто покорила этот драматург, но и потряс своей мягкостью и проникновен-

ным пожеланием поставить пьесу лучше, чем у всех. «Вот, поставили же «Иркутскую» ничуть не хуже, чем у Гончарова, со своей Борисовой-Кремнёвой, и здесь не подкачаем». Все загудели и стали даже и выкрикивать имена лучших героинь. Прозвучала и фамилия Ани Кремнёвой. «Не знаю, как насчет Кремнёвой, но играть есть кому. И соображения на этот счет — тоже. И героя — соответственно. А чтобы не обидно было, выпустим три состава. По крайней мере главных — точно. Как, потянем? Я тоже так думаю».

Зал гудел ровно, то хохоча и надрываясь от какой-то чрезмерной радости, что и у них будет не хуже, а даже наоборот; то затихая, вслушиваясь в слова Изольды и думая, что кому достанется. Болезненный, самый острый момент — ожидание распределения ролей.

«Читка была, все слышали?» Зал загудел громким «нет». «Это еще что такое? Все должны ходить на читки. А вы — сначала хотите узнать, кто кого играть будет, а потом и с пьесой познакомиться. Нет, все не так, не по правилам. Сегодня — снова читка. Для двоечников. Для тех, кто пропускает». Зал стих, и было понятно, что двоечников подавляющее большинство. Все хотели этой читки, столько о ней говорили, и вот — на тебе! Что делать?

«Можем поступить иначе. Возьмите у Виктории Алексеевны экземпляры пьесы и читайте дома. Но только я-то вас знаю, ничего вы не почитаете. Нет, через пятнадцать минут начинаем. Все, пейте идите ваш чай!»

Снова все загудели, делясь впечатлениями, никто особенно в буфет не рвался, и большинство решило подчиниться и послушать пьесу. А остальные — и по второму разу.

Читать поручили второму режиссеру. Сама Изольда села в первом ряду, повернулась к залу и так и смотрела всю читку в зал на своих актеров. С вопросами и перерывом на все про все ушло больше трех часов. Но никто, кажется, не устал. Под конец стояла тишина, и Изольда даже перестала испытующе разглядывать зал, а тоже внимательно вслушивалась в текст. Было по-

нятно, что пьеса захватила. Все ждали, что увидят потом, под стеклом на доске объявлений. А Изольда Петровна сказала уже, что сегодня же вывесят распределение.

По окончании читки зал заплодировал, как будто это уже была премьера. Приподнятое настроение, царившее в зале, передавалось от одного к другому, было понятно, что пьеса настолько нужная и своевременная, что лучше и придумать нельзя было. Все хотели ролей и понимали, что на таком материале хорошо могли бы показаться. Социальная подоплека, которая не была очевидно декларируемой, задела тоже. Решение героини, совершающееся не вдруг, не сразу, а через осознание того, что ее может ждать в будущем: какая такая нелюбовь? — тоже задело. Не было в последнее время пьес, где бы соединялась чисто человеческая нотка и могучая подоплека другого, общественного толка. Сыграли арбузовскую «Иркутскую историю» и словно заново на жизнь взглянули, так радовались пьесе, ее неукротимости, неожиданному, совсем для современного театра непривычному решению образов. Даже смерть, которую позволил себе драматург, тоже была к месту и тоже задевала всех. Все истосковались по настоящей современной тематике. И вот она — получайте. Здесь, конечно, была другая и стилистика, и манера, и не было той, уже привычной по «Иркутской истории» речевой изюминки, сложных персонажей. Но была своя, пусть и немного надуманная, но тоже речевая характерность. И волжский говорок, и смешные старики. А главное — поступок героини. Все понимали, что это и есть главный козырь будущей постановки, который надо и понять, и сыграть, и внутренне оправдать.

Как стремились артисты к доске с распределением ролей, трудно сказать. Толпились, оттесняли друг друга. Раздавались довольные возгласы, и разочарованные вздохи. Все ждали, кто героиня, кто будет играть Нюрку. Но, к досаде многих и, в первую очередь, многих женщин-актрис, разочарование было велико. Настолько неожиданным был вердикт режиссера, не увидевшей

в актрисах, привычно играющих главных героинь, Нюрки. Не увидела себя в списке и Аня. Аня, которая тоже была Нюрой и которая так хотела сыграть эту роль.

Не увидела и отправилась домой, ни на минуту не задерживаясь в театре. И там, не раздумывая и не медля, стала проделывать с попавшимся чулком все то, что едва не привело ее к гибели окончательной и бесповоротной. Едва не привело, если бы не своевременный приход Светки.

Когда Светка более или менее осознала все то, что увидела, поняла, что могло бы произойти, она вдруг сказала:

— Послушай, подруга, а что, если тебе тоже махнуть в Ленинград? Увидишь там своего друга сердечного, родителей и все разом разъяснится. Чего плохо?

— Да вроде бы ничего. Только не нужно это все. Он подумает, что я приехала или торопить, или вызов бросить, да еще и родителей как могучую силу привезла. Нехорошо получилось бы.

— А тебе что? Он с тобой хорошо поступал? Скажи? Два года почти? Он что, не мог определиться за это время? Все раздумывал, все прикидывал?

— Ничего он не прикидывал, он порядочный. Просто не очень сильный. Как все, наверное, мужики. Мы скорей горазды на всякие там перемены. Им сложнее.

— Боже мой, посмотрите на нее, она еще его жалеет! Еще в его положение входит! Ну, Анька, ты точно ненормальная.

— Может быть. А я тебя сегодня что-то и не видела на читке.

— Конечно, не видела, потому что меня и не было.

— А где ж ты пропадала?

— Сначала с Григорьичем в его кабинете, потом в своем кабинете, потом тебя вот хватилась, когда к доске подошла. Я ж понимаю, что тебя добило окончательно: распределение. Что, не так разве?

— Может быть. Но я бы у Изольды все равно попросила бы Нюрку, пусть и в сто вторую очередь, все равно. Пьесу я уже прочитала, сама ж мне давала.

— Да уж, таких трудов стоило ее выщарапать для тебя.

— Я оценила. Я, наверное, и впрямь вслед за своими героинями иду. То вот Валька. Только она сначала дешевка. А потом... И, наверное, во мне произошло то же, что и в жизни Валентины, но только наоборот. Она сначала дешевка, а через любовь и рождение приходит к другим ценностям, а у меня все шиворот-навыворот. Я — сначала тихоня и целка-невридимка, а потом... Потом ты и сама знаешь, что. Ну, а Нюрку хочу сделать на контрасте. Ее и полоумной называют, да и сама она не очень поначалу с этим спорит. Но потом, ведь говорит потом, что она им не табуретка кухонная. И самое главное — это то, что она добровольно, уже расписавшись даже, отпускает своего Мишаню. Вот и я отпустила. Сама. Не он бросил меня, нет, а я так решила. Думаешь, нельзя было бы вернуть, что-то предпринять?! Но нет, не стану, не по мне это. Я и Нюрку эту захотела только лишь потому, что она хотя и не сильная вроде, но что-то екнуло, пересеклось со мной. Поэтому так и дрожала за роль.

— Глупости! Потом... Нет потом, есть здесь и сейчас, слышала?

— Да, в какой-то пьесе вроде бы.

— Нет, дорогая, не в пьесе, а в самой что ни на есть жизни.

— Ну, хорошо, не кипятись, пусть в жизни. Есть здесь и сейчас! Согласна.

В этот момент раздался телефонный звонок, и Аня, как могла быстро, направилась к аппарату.

— Мама, мамочка, дорогая, я так рада. Ты даже не представляешь, как. Нет, ничего не случилось, все в порядке. В полном. А вы, что вы, как? Ну, хорошо, я успокоюсь теперь. Нет, тебе просто показалось, я спокойна. Немного погода действует. Что значит «уже»? Осень, она на всех влияет. А как там? Комната понравилась? Еще не успела запылиться совсем? Откуда, откуда он узнал? Вы же всего несколько дней там. Значит, у него здесь свои шпики, другого не скажешь. Все,

поняла, да, я кушаю. Даже варила суп. Вчера или позавчера. Забыла. Но варила, правда. Папу целуй, я вас люблю и буду ждать.

Она положила трубку и присела на диван. Силы снова покинули ее, и Светка озабоченно спросила, что случилось.

— Представляешь, он узнал, что родители приехали. Звонил и хочет зайти.

— Отлично, пусть заходит. Надеюсь, папа твой ему скажет пару ласковых.

— Ладно, Свет, я спать хочу, давай до завтра?

— Но я могу быть спокойна, что ты...

— Можешь, можешь... Вполне. Иди, иди, моя хорошая, я больше не буду. Никогда не буду. Если уж Вальку сыграла, то Нюрку — точно. Это моя роль. Жаль, Изольда почему-то не поняла этого.

— Еще все впереди, какие наши годы?! Пока, завтра жду.

И Светка вышла из Аниной квартиры. Когда захопнулась дверь, Аня почему-то пошла в комнату родителей, постояла, а потом рухнула на кровать и уснула сразу.

И только утром чувство голода подняло ее рано, и она, вспомнив происшедшее накануне, возмутилась. «Как это я могла? Чудовищно, просто чудовищно», — корила она себя, а сама собиралась на работу. И решила, что никогда в жизни не повторит того, что намеревалась сделать, что бы ни произошло. «Хоть вешать будут, расстреливать, не давать ролей, никто не полюбит, но я выживу, буду жить, буду, во что бы то ни стало!» — сказала она себе и отправилась в свой театр.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, РОЖДАЮЩЕЕ ПЕРЕМЕМЫ

*Круги по воде расходились так медленно, так осторожно, словно последнюю осеннюю радость пытались сгрести всю до самого конца. Он сидел у самой ее кромки и смотрел на удивительные превращения, творящиеся на ней, в которых был свой смысл, свой удивительный природный замысел и которые растворялись так синхронно, что чувство слияния с природой, со всем земным человечеством, чувство гармонии и порядка невольно захватывало сердце. От этой нехитрой игры кругов по воде рождались самые радужные мысли о связи всего сущего, о зависимости природы и человека. Вот, сидит же он сейчас, смотрит на движение воды, и покой словно обволакивает сполна. Он заметил, как пролетела знакомая птица, махнула крылышком, но близко не села, облюбовав веточку довольно далеко от него. Но он понял, что она видит его и о чем-то своем размышляет.*

Когда Аня вошла в театр, к ней подошел молодой актер, заменяющий Льва в «Живом труппе», Валерка Ромашов, и спросил, когда можно будет пройти с ней парные сцены. Аня ответила, что хоть сегодня, что она свободна.

— Как же свободна? Тебя поздравить можно?

— С чем?

— Ну, ты даешь! Загордилась совсем! С ролью!

— С какой ролью?

— Ань, ты себя на доске видела?

— Не видела. Думаю, и не увижу.

— А вот и зря. Сегодня туда внесли изменения. Или вечером, да, скорей всего, вечером, я сам видел. У меня же спектакль был, точно. А ты еще не знаешь?

— Да что я должна знать, говори, прошу тебя!

— Да с тебя, выходит, причитается! Смотри, после репетиции проставляйся!

— Валер, перестань морочить голову, скажи, в чем дело? А, ну тебя, через час можем начать. Да даже и сейчас.

И с этими словами Аня отошла от актера Ромашова и направилась через фойе к доске объявлений. Шла медленно, словно нехотя, словно цепляя свои шаги за кое-где выступающие из пола зацепочки, шероховатости. Пол был наклонным, и сделать это не составляло труда. Она намеренно тормозила себя, желая как можно дольше оттянуть миг, когда окажется перед расписанием, где обычно и висело следующее объявление: о занятости актеров в новых пьесах.

Уже и подошла почти, но из курилки, что располагалась слева, вышел пожилой артист по фамилии Курицын, за что натерпелся немало и от коллег, да и от зрителей тоже. Как его только не величали! И Курилкин, и отец курицы, и уткин (почему-то) сын, и ненавистник петухов, и родственник всех гусей... Словом, кошмар, да и только! Но дядька он был такой добрый, знал про все свои наименования и никогда не обижался. Бывало, наоборот, сам подбрасывал какое-нибудь прозвище.

— Анют, смотрю, ты идешь. Да уж, походка у тебя не как у уточки. Справная походка, ясная что ли. Как ты сама.

— Здравствуйте, дядя Толя, что вы тут сидите, да еще один?

— А так, знаешь, думаю.

— И о чем же вы думаете?

— А о новом спектакле. Всем ролей хватит, молодец этот Розов, знает театр не понаслышке. И мне досталась. А теперь это для меня редкость.

— Поздравляю! А я пролетаю.

— Ну, это ты не скажи!

— Почему?

— Да так, а то загордишься сильно.

— Да что вы все сегодня как сговорились.

— И про что же мы сговорились?

— Да все про то же!

— Вот, я и вижу, — глубокомысленно заключил дядя Толя, которого так и звали, если без прозвища.

Аня дошла, наконец, до доски объявлений, оглянулась, удостоверившись, не остановит ли ее еще кто-нибудь, и своими глазами увидела, как над всеми фамилиями справа от имени Нюрки, главной героини, стояла ее фамилия, написанная жирным черным карандашом. Поверх всех трех, расположенных ниже и напечатанных аккуратно на машинке. В десятый, сотый раз Аня прочитывала свою фамилию, снова соотносила ее с указанным слева именем главной героини и все не могла отступить от доски. Все стояла и стояла, все смотрела до тех пор, пока ее не окликнули.

«Что, Ань, любишься?» — Это была очень пожилая дама, которая всегда задыхалась, много курила и все равно, несмотря на нездоровье, продолжавшая курить, с огромным перстнем на пальце, который на время спектакля она почему-то завязывала бинтом. «Любуйся, любуйся, тебе сегодня положено. Вчера дописали. Тебя уже не было, искали все, даже Изольда приглашала. Все бегали, но ты куда-то смылась. Куда ты убежала?» Аня невидящим взором смотрела на Чапльгину и ничего не могла произнести. «Ну, любуйся, я пошла. Ты к Изольде-то зайди», — пожелала Чапльгина и стала тяжело подниматься наверх в примерку.

Аня еще стояла и стояла, в упор глядя на листочек, прикрепленный под стеклом, пока наконец не поняла, что она в театре, что скоро репетиция, что нужно помочь актеру, который вводится на роль Федя и что поход к Изольде что-то такое откроет еще. И она оторвалась от своего места, к которому была прикована и снова вышла в фойе.

Не прошла она еще за поворот, как столкнулась лоб в лоб с Изольдой. Она остановилась и поздоровалась. Изольда изучающе поглядела на Аню, потом неожиданно взяла ее за руку и наклонилась прямо к ее уху.

— Видела? То-то. Через пару дней начинаем, следи за расписанием.

— Изольда Петровна, а почему...

— Без почему. Ошибки никакой не было. Верю в тебя, возьми текст у Светы.

— Спасибо.

— Потом, это все потом. А сейчас...

— Что?

— Ты куда вчера убежала?

— Я? Вешаться.

— Похвально. Ну, пока.

— Изольда Петровна, вы мне верите?

— А как же! Но ты же жива! Значит, еще покажем, чего мы стоим. Еще и в Москве покажем. Как считаешь?

— Да...

— Больше не будешь?

— Чего?

— Ну, вешаться?

— Больше не буду. Даю слово.

— Никогда ничего не обещаю. Только себе. А лучше жить. Жить лучше, чем не жить. Правда?

— Правда.

— Так что, живи!

— До свидания!

— Смешная ты. Но... сильная! В папаню.

И Изольда пошла своей невероятной, своей особенной походкой, в которой заключалось все: уверенность в себе, пренебрежение к окружающим и трогательная, просто-таки детская непосредственность. Как это все соединялось вместе в одной лишь походке, сказать трудно. Однако уживалось!

Аня теперь уже побежала, бегом побежала в репетиционный зал, где уже шли сцены ввода нового Феда. Она влетела в зал, остановилась, все остановились, глядя на нее. А она стояла с широко раскрытыми глазами, стояла и потом вдруг подпрыгнула, хлопнула в ладоши и, когда все уже поняли, что дальше репетировать невозможно, воскликнула: «Ура-а! Всем — ура-а-а!» Григорьич загасил свою казбечину, подошел к Анне и обнял ее. Для него это был поступок неожиданный. Все тоже захолопали и стали орать, поздравляя Аню.

Но потом Аня поняла, что что-то внутри перемкнуло, она затихла, даже извинилась и сказала, что к репетиции готова. На это заявление все снова отреагировали смехом, и Григорьич миролюбиво сказал, что пора сделать перерыв и выпить чаю. Все подчинились, все, кроме Ани, которая не вышла из комнаты, а так и осталась сидеть, дожидаясь возвращения актеров.

Когда все вернулись, и начались ее сцены с Валеркой-Федей, она так сжалась, что едва не расплакалась. Как играл ее Лев, и что она видела теперь! Небо и земля! Та широта и многогранность, интеллигентность, которые отличали стиль, манеру Платова, никак не вязались с русопятой могучей фигурой Ромашина. Он был коренаст, кривоног, говорил со странным говорком и был вполне даже ничего в ролях боцманов и военных с кобурами и портупейями. Но здесь, в салонном герое, который ищет, мечется, он был словно не просто белая ворона, но с каким-то неведомым окрасом птица, только совсем некрасивая и неинтересная.

Но что делать, руководство распорядилось таким образом, и, ничего не попишешь, надо было репетировать. Ни приближаться к Феде, ни обнимать его, ни просто любить — нет, конечно, не хотелось. И Аня не просто сникла, но была напряжена и подавлена. О каком принятии решения могла идти речь, если Валерка не имел нужной фантазии, не мог и представить даже, что в жизни возможен выбор, можно стоять перед ним и не знать, как поступить. У него-то как раз все было в порядке: он родил уже троих детей, и говорили, что его Оксана снова в положении. Он ходил счастливый и довольный и действительно радовался такой удаче: роли Федора. Однако что из всего могло получиться, сказать было трудно, так нелеп и ненужен он был в этой роли.

Но Григорьич не был бы режиссером с хваткой и характером, если бы не умел лепить из ничего почти замечательное нечто. Вот и теперь он взялся с энтузиазмом за порученное дело. Он верил, что из Валерки сможет-таки смастерить изысканного, находящегося в

смятении чувств господина, и этот господин будет ничуть не хуже самого Платова.

Понятное дело, ничего ровным счетом не получалось, все скучали, и только режиссер неистово вдавливал своему артисту, что он — князь и манеры у него должны быть соответственными. На что Валерка переминался на своих кривых ногах, уныло молчал, а потом и вовсе отчебучил невиданное. Он сбросил перчатки, которые комкал в руках, не умея, не зная, как ими пользоваться, что с ними делать, да как жажнул ими по столу, что все вздрогнули и встрепенулись. Тут снова подскочил Григорьевич и завопил: «Вот, вот, теперь то же самое, но только ты не только вчера вернулся из армии, где служил на корабле, а был там сначала капитаном, потом и адмиралом. Весь в белом. Волосы прямые, зачесанные, убери сейчас же свои вихры. Так вот, бери перчатки и рассматривай их. Понял? Они не черные, как эти, а совершенно белые. Ты понял, скажи?» Валерка угрюмо молчал. «Я спрашиваю, понял или нет?» — угрожающе зашелся Григорьич, на что Ромашин вдруг взмахнул рукой, да не так, как раньше, как еще десять минут назад, а по-новому, совершенно иначе, выпрямил максимально спину, посмотрел сверху вниз на Машу-Анну, и все вмиг затихли: такова была сила преображения, которого истово добивался режиссер. Он утер пот, подошел к Валерию и положил ему руку на плечо. Второй за весь день жест, несвойственный ему! «Получится, теперь я знаю, что точно получится. Начинай иначе смотреть, оборачиваться, держать спину. Ты понял, я спрашиваю? И постоянно держи белые перчатки. Даже когда ложишься спать. Понял? Ты — адмирал. Не Нельсон, а наш, русский, ясно?»

Всем полегчало, и Аня стояла потрясенная: за несколько минут, немногими словами суметь добиться от артиста невозможного?! Это надо уметь! Удивительное дело — режиссура. «Наверное, никогда не сумела бы, — подумала она, но и осекла саму себя. — А почему и нет? Время, оно покажет».

Все дни и недели, что она продолжала оставаться одна, она более всего уговаривала, что ей становится легче, любовь забывается, чувство уходит и все такое прочее. Однако как только она оставалась и впрямь одна и выходила из театра, легче вовсе не делалось. Скорее, наоборот. Она только и делала, что думала о своем Льве, и даже нависшие и дающие оскомину уверения близких и чужих о якобы моральной неустойчивости своего избранника, не действовали. Чем хуже говорили, тем больше она думала о нем. И неслыханное дело — хотелось к нему! Ехать, видеть, репетировать и играть в одних спектаклях, наблюдать, как он осваивает текст, как постепенно овладевает характером героя, становясь кем-то другим, не Львом, а просто другим человеком. Нет, никакому Ромашину не потянуть такое. Он мог в одно мгновение преобразиться так, что становилось страшно: значит и с ней он способен меняться, да еще как! Что значит сила и глубина истинного таланта!

В один из дней она встретила у курилки дядю Диму и получила приглашение прийти в гости. Она с радостью приняла его и, не откладывая в долгий ящик, в тот же вечер собралась к Алексеевым. Она предполагала, что и там разговор непременно коснется ее темы, такой острой и такой болезненной. Но была готова и даже хотела, чтобы близкие люди, которых любила и которым доверяла, высказались.

Спектакля не было у всех троих, и она была свободна, воодушевлена, и только сожаление о том, что родителей при их встрече не будет, немного томило. Она шла привычной дорогой от дома, не садясь на троллейбус номер пять, хотя так было бы и короче, и быстрее, и шла себе, и шла. Она вообще любила ходить пешком, да и сама относилась к своей такой любви спокойно: ну и что, что пешком. Так, значит, ей надо, так хочется.

Уже огибая угол, где располагался ирригационный институт и где проходила улица Асакинская, она издали, как самая настоящая собака, почувствовала за-

пах, который перепутать ни с каким другим было невозможно. Это был запах дома ее Алексеевых с их садом, малиной, деревьями. И хотя весь дом окружен был забором, все равно чувствовалось, что он достаточно хлипкий и стоит тут больше для порядка, а не для изоляции и охраны. Гирей залаял уже, и было ясно, что он не из чувства протеста, но от радости, что признал свою. По-другому он лаять просто не умел. На его призыв вышел дядя Дима, открыл калиточку и сделал широкий жест рукой — заходи, мол. Она обняла его и пошла по тропинке сада к терраске. Листья и здесь лежали повсюду, и от малины остались уже только голые кустики. Однако дуб, росший на самом краю сада, был просто великолепен, и казалось, что он никогда не пожелтеет и листья его никогда насовсем не облетят, такой он был могучий и крепкий. «Дядя Дима, сколько же ему лет?» — спросила Аня, на что хозяин, гордо глядя на дорогое дерево, ответил, что не считал, конечно, но что под двести точно будет, это несомненно.

А на террасе хлопотала тетя Нина, раскладывая на столе пироги, чтобы занести их в комнату. Они по старой ташкентской привычке еще готовили на террасе, хотя было уже и прохладно, а вечерами и просто холодно, но так было у многих, и все к этому привыкли. Ничего не поделаешь, особенности местной жизни.

Обнялись, прошли в комнату, Гирей прилег здесь же, у террасы, и стали располагаться. Когда бы ни приходила к ним Аня, первым делом шла рассматривать книги, которых было в доме у актеров огромное количество. И специальной литературы, и классики, собрания сочинений и философия. Это всегда поражало Аню особенно. Когда им читать еще и философов! Но дядя Дима резонно отвечал, что в них-то и лежит ключ ко всему и вся. И к системе Станиславского, и к освоению роли, и к пониманию жизни, и к нахождению причин и следствий. «А это, — добавлял он, — весьма значимая штука, потом поймешь». И Аня соглашалась, говоря, что она и всегда хорошо относилась к философии, и

очень любит мудрые мысли и мудрых людей. Вот, как ее Алексеевы.

Подали хаджаб, блюдо, может, и не совсем узбекское, но делать его в Узбекистане любили, переименовали с азербайджанского название, где он назывался несколько иначе, и стали называть его то хаджаб, то ажаб-санда, но принцип был одинаков: овощи, мясо, иногда и вовсе без него, а самые искусные кулинары делали его без малейшего грамма масла, укрывая капустными листьями, держали минут сорок, чуть побольше, на медленном огне, и получалось и впрямь изысканнейшее блюдо. И какая разница, как оно называлось по-настоящему?! Его умели делать в каждой семье, будь то узбеки или русские, как и пельмени, как манты, которые тоже лепили во всех семьях. Разве было в ту пору разделение на национальности? Да ни за что! В центре жили русские, в старом городе — узбеки, и это положение всех устраивало. И не означало вовсе того, что переход некой условной границы был чреват рап-рами, дурным отношением, непониманием. Нет, в том-то и дело, что на обеих территориях, которые были действительно очень призрачны и условны, царил мир и понимание и, главное, — приятие друг друга. И так продолжалось довольно долго, аж до восьмидесятых годов. Да и то в очень пока слабых проявлениях. Никто никого не притеснял, все также были братья и это по-прежнему обуславливало здоровый, добрый климат в городе.

— Жалко, конечно, что нашей Валечки нет с нами, — заговорила тетя Нина.— Уж как она любит, как я готовлю.

— Мама тоже умеет делать это блюдо, но оно почему-то не такое все равно.

— Правильно, как же иначе! Это как роль, моя дорогая, у разных актеров. Каждый вносит свою индивидуальность, — сказал дядя Дима.

— А знаете, кто теперь репетирует Федю? — спросила Аня.

— Естественно, как не знать, — вздохнула тетя Нина.

— Что тут может быть хорошего? Самое печальное, что я без Треплева, сына своего, осталась. И замены пока не вижу.

— Глядишь, и нагрывает! Не слыхала, Анют? — спросил дядя Дима.

— Не слыхала, — печально и нехотя ответила девушка.

— Понятно. И не очень все это хорошо выходит, — продолжил мужчина.

— Ладно, ты не дави на девчонку, ей и так несладко.

— Я? Помилуйте! Мне театр жалко, такой актер уехал. Но, надеюсь, не все еще потеряно.

— А знаете, мне показалось, что наш Григорьевич творит чудеса. На днях на репетиции с Ромашиным такое произошло! И добился он этого всего несколькими какими-то штрихами. Ни за что бы не поверила, если бы сама не наблюдала весь процесс. А скажите, тетя Нина, трудно вот так, всю жизнь, изо дня в день думать только об одном — о ролях, о чужом совершенно характере, о его привычках, голосе, походке? Наверное, трудно. Иногда мне кажется, я не смогу всю жизнь.

— Ну, что тебе сказать? Сможешь — не сможешь, никто пока не знает. Нужно хотеть, а тогда придет и умение. А талантом тебя Господь не обделил, это понятно было еще по институтским работам. Но ты не гордись, работай, нос не задирай, учись у отца.

— Да, я знаю. Но иногда страшно. Вам вот не бывает страшно?

— Все, девочка, бывает. И коленки трясутся перед выходом, и так перекрутит на репетиции, что не знаешь, играла когда-нибудь или нет? Но есть чудное слово — профессия и профессионализм. Они все решают. Чего ты, какие сомнения? Все сладится, только надо работать и работать, день и ночь и даже во сне.

— Ой, смогу ли?

— Ты кушай, кушай, одной, наверное, не так весело дома? Наедайся, еще и с собой заберешь.

— Что вы, я умею готовить.

— Мы знаем.

— Дядя Дима, а вы сами много читаете?

— Я жуткий лентяй. Но когда совсем выпадаю в удовольствие к самому себе, беру, к примеру, Шопенгауэра и наслаждаюсь его скрытой иронией. Ты еще вспомнишь меня. Вот уезжать будем, много книг тебе отдадим. Как, мамочка, ты не против? — он выразительно посмотрел на жену.

— Какое там! А ты еще не в курсе наших планов?

— Вы что, правду сейчас сказали?

— Мы только на сцене говорим правду, а здесь все больше шутим! — засмеялась тетя Нина. — Конечно, правду! Уезжаем мы.

— А я думала, вы просто на другую улицу переезжаете, квартиру дают.

— Да и дали уже, да только ноги туда не идут. На Шота Руставели, трехкомнатную. Не можем, поверишь ли, не можем бросить наш сад, Гирея, запах этот...

— Успокойтесь, тетя Ниночка. Но как же так? Как вы будете где-то? А где? Куда вы собрались?

— Не проболтаешься? Это пока секрет. Но тебе скажем. В Казань едем, там чудесный русский театр. И режиссура хорошая.

— Но скажите, почему, что такое? С кем-то не сложилось, что ли?

— Нет, все сложилось, все так здорово сложилось, что надо бы переменить, сбросить старое, почувствовать новый репертуар. Устали. Родное превратилось в оковы.

— Там Ниночке сразу же предложили две главные роли. А здесь последние пару лет только и сидит на «Чайке». Гарсиа Лорка, его «Дом Бернарды Альбы», — слабое утешение. Не годится. Не расстраивайся, мамочка, все сладится. Еще мир успеем повидать.

— Ужас, даже не знаю, что сказать. Но а «Потерянный сын», приезд знаменитого артиста из Москвы?

— Видишь ли, приезжающие, как правило, уезжают. И даже эта роль мало что спасает. Возрастная характерная роль, а Ниночка еще может и другое...

- А мои, мои знают?
- Нет, никто, еще никто не знает, ты первая.
- Вы самые наши близкие, как мы останемся? Что будет?
- Ничего, дорогая, будешь играть, работать, к нам приезжать...
- Это просто ужасно.
- Не расстраивайся, иногда нужно менять место, привычки, все, одним словом.
- Но вы вот так и не смогли перебраться до конца на новое местожительство!
- Это другое. Со временем, может, и смогли бы, а тут творчество. Для нас — это самое важное местожительства.

Аня посмотрела вокруг, уже совсем с другим прицелом на комнату, на ее убранство и действительно обнаружила, что многих предметов не достает. Например, серванта, маленького столика, еще одного дивана. Значит, все это на новой квартире. Остались книги и прекрасный текинский ковер, который Аня всегда видела на главной стене комнаты и всегда связывала его с жилищем своих Алексеевых. Он был не вишне-вых тонов, как обычные такие ковры, но исполнен в коричневых цветах, очень изысканных и приглушенных, и был настоящим украшением квартиры. Вот он-то остался. И Аня поняла, что остались самые дорогие вещи для хозяев этого дома. Такие, как книги, как ковер, еще столик, за которым они сидели теперь. А большой с террасы и правда исчез: увезли. Да, все меняется, она и уследить, заметить не могла, когда это все случилось, когда тете Нине стало неуютно в их дорогом театре, где они с мужем проработали двадцать лет. Все только собой занималась, ничего за своей драмой и не видела. А жаль!

— Видишь ли, Анечка, — продолжил дядя Дима, — самое важное в любой профессии — это движение. Надо никогда не останавливаться, двигаться вперед и вперед. А мы утратили это движение. Или, может, нам так стало казаться. Но дискомфорт точно стали ощу-

щать, поэтому и решение созрело. В театре как таком долго не станем задерживаться, ровно в день назначения пенсии уйдем в эту самую пенсию и начнем путешествовать по миру. Это очень важно.

— Но как жить без театра? Нет, мне кажется, вы что-то сгоряча решили. Может, все еще образуется? И будут большие роли, все, что было всегда?

— Да, вполне возможно, что и будут. Но нужна перемена. Она даже у президента соединенных штатов предусмотрена: там срок его действия всего четыре года. Это у нас бесконечность и бессмертие на этой многотрудной работе обеспечены. А умные психологи давно подытожили, что человеку порой необходимо все менять: работу, город, квартиру. Идет процесс обновления. Он, как вливание свежей крови, необходим всем. Ты, главное, не печалься. Что ж, так получается, что делать! Но мы решили все давно и серьезно и не отступим. Так, Ниноля? — Дядя Дима обратился к жене, затем поднялся и обнял ее за плечи. Было понятно, что эти двое, прожившие жизнь без детей, сделали своим детищем театр. Отсюда настоящие, родительские обиды на него, стремление быть самостоятельными и даже одерживать верх. Аня-то считала себя их дочкой, так они сами когда-то и сказали. И их забота, желание и умение вникнуть в Анину судьбу, в ее трудности, порадоваться успехам — поддерживали такое их желание и определяли Анино положение в этом семействе. И было здорово, так она думала, что есть еще люди, для которых ее судьба, жизнь небезразличны. Она поднялась, молча прошла по огромных размеров комнате, заглянула на терраску, поехала от холода и спросила с порога: «А может, и меня заберете?» Это было настолько неожиданно, что все, включая Анну, засмеялись.

— Нет уж, моя девочка, — включилась тетя Нина, — ты останешься здесь, с мамой и папой. О них подумала?

— Но вы ведь тоже вторые мои мама и папа. А вот же, уезжаете...

— Ничего, побудем врозь, а там, глядишь, снова соединимся. Все в жизни может быть. Но нельзя лишь одного: останавливаться. А раз силы еще есть, надо двигаться, трудиться. И тебе это завещаем. Знай, что от всех недугов спасает и спасет только одно: созидание. Не смотри, что, может, это звучит так высокопарно, на самом деле так оно и есть: созидать и трудиться. Все, других рецептов в жизни еще не найдено, поняла? Так что, помни о нас, о наших разговорах, все-все помни и... действуй по-своему.

Снова посмеялись, и Аня вдруг подумала, что она и правда стала взрослой, совсем-совсем, что уже может совершать разные поступки, включая самые нелепые, как, например, недавний. И что жизнь, оказывается, давно началась, надо только внимательно к ней приглядеться.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЛИШКОМ РАНО, СЛИШКОМ НЕОЖИДАННО

*Человек повернулся и пошел. Он двигался прочь от воды, где еще недавно ему было там так хорошо. Но он стал понимать, что очень устал. Устал от загадок жизни, от неразгаданных тайн, от этой, наконец, птицы, которая все только томилась и томилась его своим странным поведением, желанием что-то сообщить и только рождала в его душе беспокойство и тревогу. И он понимал, что они вот-вот обретут реальные очертания, станут чем-то непреодолимым и что какая-то трагическая случайность может поджидать его совсем скоро. Где и что произойдет, он не знал, но чувствовал приближение какого-то такого известия, которое перевернет всю его жизнь.*

И Аня стала жить в ожидании перемен. Сначала ждала отъезда Алексеевых, потом звонков из Ленинграда от родителей, новых репетиций и ввода Ромашина. А потом начались читки, и совсем скоро актеры вышли уже на середину — так называлось сценическое пространство, куда перемещались артисты после застольного периода и начинали работать уже без всякого стола, а на площадке, — и там тоже репетиции шли насыщенные, без всяких пропусков, чьих-то отъездов.

Руководство театра, конечно, узнало о намерениях любимейшей пары и стало изыскивать всевозможные пути и способы их удержания. Тете Нине дали, как и ее супругу, звание народной артистки республики. Но они были непреклонны, планы не хотели менять, и Аня понимала, что намерения их очень серьезны.

Аня жила по-настоящему только одним: ожиданием репетиций, их реальным воплощением и снова ожиданием. Вся иная жизнь сделалась чем-то необязательным и ненужным, проходила смутно и без особых событий. Аня растворялась в театре все больше и боль-

ше, все яснее осознавая тот факт, что он и есть ее самая что ни на есть настоящая жизнь.

Позванивали родители, которые, судя по всему, не особенно и спешили с возвращением, и им нравилось в их родном городе. А однажды вечером, когда Аня была свободна от спектакля и осталась дома, что случилось крайне редко, раздался звонок, и она услышала голос отца по телефону. Обычно звонила мама, и Аня тут же спросила, все ли в порядке. Отец почему-то помолчал, потом раздался какой-то то ли треск, то ли шелест чего-то, Аня так и не поняла, и отец неожиданно произнес: «Ань, милая моя, мужайся. Мамы у нас больше нет». И заплакал.

А Аня держала телефонную трубку, потом отвела ее, снова поднесла и не могла проронить ни слова. Тогда он снова сказал: «Дочка, тебе надо бы приехать. Мамы и правда больше нет». Аня никак не могла преодолеть ступор, который на нее напал, и только тупо смотрела в трубку, не говоря ни слова.

— Ты слышишь меня, доченька?

— Не знаю.

— Я понял. Это случилось сегодня днем. У тебя есть два дня. Прилетай.

И раздалась гудки, короткие, ничего не говорящие гудки. Аня села там же рядом с трубкой у телефона, склонилась над ним, не в силах положить трубку, и долго сидела, не плача и ничего не думая. Только смотрела на эту окаянную трубку, которую начинала ненавидеть и из которой только что услышала то, что никогда и представить себе не могла.

Через некоторое время она словно опомнилась, поднялась, снова села, схватила мерзкую трубку и набрала номер ленинградской квартиры. Ответила чужая женщина, Аня даже не знала, кто это. Она попросила своего папу, ей ответили: «Минуточку», — и она снова осталась один на один с черной трубкой. «Когда уже будет другой телефон?» — почему-то подумала она и тут снова услышала отца.

— Папа, ты звонил мне, я знаю. Что случилось? Что?

— С мамой. Я сказал тебе. Приступ, сердечный приступ, скорая не спасла, не смогла.

— И что? Как теперь?

— Дочка, я знаю, как тебе тяжело, не сиди дома, иди куда-нибудь, ты меня плохо поняла.

— Я поняла. Но, наверное, нет, я ничего, нет, я ничего... — И Аня заплакала, закричала, что все это не так, что все ей наврали, что этого не может быть и что так не будет, не будет. Отец, понимая, в каком она находится состоянии, терпеливо слушал, успокаивал, как мог, и все приговаривал, чтобы она хотя бы к кому-нибудь пошла.

Но Аня все кричала, что-то переспрашивала, все у нее путалось, и она никак не могла вникнуть в смысл сказанного отцом. Наконец, он уже очень строго велел ей одеться и выйти из дома, узнать все про билет и, не медля, вылетать.

— Но только умоляю тебя, не сиди одна, перестань кричать, ты ничего, понимаешь, ничего уже не сделаешь. Замолчи, я тебе говорю, замолчи, дорогая моя девочка.

И отец положил трубку.

А наутро надо было идти в театр, чтобы сказать об отъезде и отложить репетицию. Там тут же отправили кого-то за билетом, выдали денег и велели успокоиться и иметь силы для поездки, для выполнения тяжелого, страшного дела. Аня даже про себя не могла сказать, с какой целью она едет, так невозможны, так трагически были эти слова. Как и само событие.

Только сборы и предстоящие хлопоты хоть как-то держали ее. Она вылетела в Москву в тот же день, хотя с билетами всегда было не так просто. Потом, как ей объяснили еще дома, она пошла в кассу в аэропорту, что-то там регистрировала, объясняла, и снова вышло так, что улетела сразу же, в тот же вечер. Из театра сообщили Василию Никифоровичу, когда она прилетает примерно, и он встречал дочь чуть ли не у трапа.

Никого, естественно, не пускали на летное поле, но какая-то особенная убедительность отца, его умение руководить и сама мощная еще фигура делали, как правило, нужное свое дело. Его и пропустили, и обещали объявить по радио, если пропустит, не встретит дочь.

Так и вышло. Он пропустил один рейс, на котором Аня не было, но очень скоро был следующий, и они встретились, обнялись прямо на летном поле и так стояли, не обращая ни на кого и ни на что внимания.

— Вы бы прошли, — довольно вежливо им сказали, когда вот так, обнявшись, они стояли и молча плакали. Понимали люди, что это не просто встреча, что-то случилось. Оттого и не ругали, не прогоняли.

Они отошли, миновали весь длинный проход в Пулково, а на выходе их ждала машина, за рулем которой сидел — Аня очень удивилась — сидел Олег. Поздоровались сухо, было не до разговоров, и отправились на свою улицу. Отец сначала молчал, потом все же спросил, как она добралась, ведь путь был нелегким, а потом и добавил, что вот, мол, Олег, он много помогал, даже и в их отсутствие заходил, приносил кое-что с сидеке, от нее и узнал о приезде, а дальше...

Дальше все было понятно. Аня тоже молчала, только однажды спросила, долго ли маме было плохо. Было понятно, что она имеет в виду: мучалась ли мама. Но отец понял ее и сказал, что все произошло во сне и что скорая, приехав, действительно ничего не могла сделать.

— А как же ты?.. Как ты увидел?

— Как, как? По дыханию. Поворачиваюсь, прислушиваюсь, и так каждую ночь. Но слышу, что что-то не то. Так и увидел. Так и понял. Что тут?!

Аня еще сильнее прижалась к отцу и спросила, долго ли еще ехать. Он мотнул головой, и больше не говорили всю дорогу. Молчал и Олег. Аня только на мгновение подумала, как он возмужал, что ли, изменился. Стал совсем-совсем, по-настоящему, взрослым мужчиной. Молодым взрослым мужчиной.

Больше мыслей не было, и она и не пыталась ни на чем сосредоточиться. Из мозга, из головы словно изъяли все содержимое, и она была совершенно пуста. Аня слышала, что буддисты всю жизнь совершенствуются, чтобы достичь такого состояния пустоты и успокоенности, а тут, кроме, правда, успокоенности, само получается: ни единой мысли. Пусто!

И только когда вошли в дом, и она увидела совершенно пустую комнату, в которой мамы не было, она резко спросила, что это, почему и где мама.

— Доченька, так принято, мы тут ничего поделать не могли. Она не дома, увидишь ее только завтра.

И только Олег, вошедший тоже, помог. Он сказал, что мама в больнице, и что там в к завтрашнему дню должны все подготовить, и что так надо и иначе нельзя было. «Законы», — добавил он. И никто не отважился произнести слово «морг». Сама же Аня, как видно, просто не догадывалась или не знала, что таковы правила и что ее мама эту ночь будет в чужом холодном помещении без них. И увидятся они лишь завтра.

Ей уже приготовлена была постель, а папа стал стелить себе на раскладушке. Аня ничего не переспрашивала, легла и только прикрыла глаза, как услышала, что над ней склонился папа, который сказал: «Ты полежи, не спи пока, поесть надо. Полежи, все уже готово». Аня ничего не ответила и только рассматривала белый, теперь уже беленый потолок. «Когда это они успели?» — подумала она и тут увидела маленькие трещинки на стенах, которые тоже были почти белыми, свежими, от них еще пахло чем-то, похожим на клей или на краску. «Наверное, собирались здесь задержаться, а может, даже жить остаться». И она повернулась к окну и стала вслушиваться в негромкий шум улицы, который к этому часу сделался уже слабым и совсем не тревожащим. Аня думала о том, что именно в эту комнату ее принесли из роддома, что тут ее кормила мама, что совсем скоро, даже еще не успев сделать первых своих шагов, они вынуждены были покинуть Ленинград. «Как же им досталось», — снова подумала

она, и тут подошел отец и сказал, что надо бы немного поесть, силы еще пригодятся на завтра. И она поднялась, прошла на кухню, поздоровалась с соседкой, которая тут же и ушла, деликатно оставив осиротевших одних.

Почти молча пили чай, и Аня вдруг спросила, где Олег. «Завтра с утра будет. Много помогал, спасибо ему». Через какое-то время Аня спросила, что будет дальше, на что мудрый, сильный папа не нашелся, что ответить. «Посмотрим, дочка, пока не знаю». И все, и дальше надо было дожидаться утра.

Аня не помнила, спала или нет, настолько перемешалось все в ее сознании, сне, реальности. Но утром она поднялась, увидела, что Олег уже здесь, отец готовил на кухне завтрак, и она поняла, наконец, что свершилось что-то неотвратимое. Что сегодня, уже сейчас предстоит то, что надо пережить и на что потребуются силы. И она сказала себе, что постарается держаться. Мама ведь так не любила слез.

А дальше все было погружено в какой-то плохо смонтированный фильм: поездка в морг, странная машина, поездка на кладбище, где оказалось довольно много народа. Это были друзья юности отца и мамы, их соседи, все, кто их помнил даже через много-много лет. И говорили люди, и желали, очень настойчиво желали держаться мужественно, и что Валентина сама была очень сильным, выносливым человеком.

И тут вышла одна пожилая женщина, кутавшаяся в платок, поверх которого была меховая шапка, и сказала: «А мы с Валечкой еще до Ленинграда встретились. Вот, приехала проводить ее в последний путь. Ее дело дочка продолжила, и, слава богу, есть в кого. Мы все, я, может быть, больше всех, любили свою подругу юности. Школу одну заканчивали, только я на пять лет раньше, помогала им, малышам, шефство у меня было. Валя такая талантливая была. Могла и дальше стать прекрасной актрисой. Но знаю, писала она мне, все годы переписывались, что в другом себя нашла, а потом и в семье совсем растворилась. Берегите, дорогие мои Вася

и Анечка, друг друга и память о вашей Вале, маме». Она утерла лицо и отошла. И тут началось самое страшное. Как Аня не крепилась, сдержаться не могла. Она кричала: «Мама, мамочка», и ее еле удерживали от того, чтобы она не упала вниз.

Постепенно она обмякла, бросила, как и все другие, кусочек мерзлой уже земли, и словно старая-престарая женщина, стала медленно двигаться назад, к машине. И там снова увидела Олега, которого не замечала на кладбище, но который поддерживал ее всюду, как и теперь. Он не отходил от нее ни на шаг, а она только теперь заметила его.

Дома были поминки, снова говорили слова, что-то носили туда-сюда, стоял негромкий, но все же гул голосов. Аня почти не разбирала слов и все сидела и молчала. И только когда решила подняться, чтобы выйти на кухню, неожиданно все перевернулось, потемнело, и она упала. Собственно, сама она даже и не поняла, что произошло. Подбежали, присунули на лицо, подняли, стали отпаивать чаем, уложили. И снова в какой-то момент она из своего почти бессознательного состояния увидела Олега, который тоже молча, не суетясь, делал, наверное, что-то важное и нужное. Во всяком случае, она неожиданно провалилась куда-то глубоко и там и оставалась какое-то время.

Так тяжело прошли еще два дня, а потом она вынырнула из своего забытья неожиданно, резко, так как раздался звонок, который она услышала и почему-то сама пошла к двери. Не спрашивая, кто, она раскрыла дверь и увидела стоящего на пороге Льва. Она ни о чем не спросила, а, только оставив открытой дверь, направилась в комнату. Он пошел следом. Сели, она и не разглядывала его, сидела в обычной в последнее время позе, склонив голову, и молчала. Только отметила, что края рукавов его когда-то знаменитых пиджаков были сильно потрепаны. Но снова ничего не сказала.

— Как ты? Я узнал только позавчера, просто не сразу смог зайти. Были дела, свои проблемы навалились.

— Ничего, вот так. Не знаю, что сказать.

— Аня, дорогая, — Аня при этом сильно поморщилась, — не обижайся на меня. Все это называется одним словом — жизнь, и ничего с этим не поделаешь.

— Ты чай будешь?

— Ты не слушаешь меня...

— Я пойду поставлю. Куда-то все подевались. — Она поднялась из-за стола и вышла. И не было ее довольно долго. Словно она давала возможность гостю освоиться.

— Спасибо, я сыт, но да, выпью, что уж... Ты сама будешь?

Аня мотнула головой, и жест этот мог означать что угодно: и да и нет.

— Как дома? Работаешь?

— Да что ты, какая работа?! Все мотаюсь, что-то улаживаю, бегаю по врачам.

— Ты как-то рассыпался. Здоров ли сам?

— Да, наверное, и не знаю точно. Ты как сейчас? Чуть-чуть полегчало?

— Не будем... Пей чай. Другого ничего нет, кажется. Могу посмотреть.

— Не надо, я только чай. В театре, говорят, ты хорошо репетируешь?

Аня снова мотнула головой, и снова было непонятно, что она имеет в виду: соглашается или нет.

— Ты не изменилась. Я имею в виду внешне.

— Вряд ли. Да и какое это имеет значение. А откуда ты узнал?..

— Да так, в театре сказали, я звонил. Здесь-то никого нет, ну, из общих знакомых.

— Родители тут больше месяца были, ты не знал?

— Ну, слышал... Понимаешь, — набирая силу и убеждая сам себя, стал торопливо говорить Лев, — что я приду? Что я мог сказать им? Что больна жена? Нет, не мог я прийти.

— Да, конечно.

— Но я скучаю о тебе, думаю... Много думаю о нас. Все вспоминаю.

— Стоит ли?

— Аня, я понимаю, тебе сейчас тяжело. Но что значит «стоит ли»? Еще не все потеряно...

— Оставь. Все, все потеряно. — Она уронила голову на руки и заплакала. Он растерялся и не знал, как успокоить, что сказать. Замешкался, смутился, поднялся, встал около нее, хотел обнять, но она вдруг выпрямилась, отвела его руку и вытерла лицо. — Теперь все потеряно и прошу тебя запомнить это. Нет больше Ани, ничего нет. И не приходи сюда.

Она поднялась, промокнула салфеткой лицо и дала понять, что визит пора заканчивать. Лев все понял, почему-то взглянул внимательно на комнату, понимая, что видит ее в первый и последний раз, и направился к выходу. Уже у самой двери он спросил: «Ну хоть написать тебе можно будет?» Аня тут же резко ответила, что незачем.

Дверь закрылась, и она осталась одна. Но не плакала, а подошла к столу, повертела в руках его чашку, затем сложила горкой посуду, вынесла на кухню и кипятком стала долго смывать остатки прикосновения к ней Льва. Любила ли она его — на этот вопрос ответа не было, потому что она и не задавала его себе. Она действовала четко, рационально, давно придя к мысли, к решению, что ничего и никогда с ним не будет. И не потому, что у него такие обстоятельства, а потому, что так хочет сама Аня. И все, больше к этой теме, такой больной и сложной, она давно решила не прикасаться, еще в ту ночь, когда ушла Светка, пришедшая неожиданно, но, как оказалось, очень вовремя.

Аня мыла чашки так, словно вода к ним не прикасалась много лет. Стояла и терла и все поливала водой, словно смывая последние капельки, последние следы от того, когда-то дорогого, касания. Она еще дома, в Ташкенте, приказала себе больше не мучиться, не страдать, только работать и жить театром. Этот приход едва не поколебал ее уверенность и данное себе самой слово, но уже через несколько минут, когда она вот так стояла и истово мыла чашки, она снова вернулась

к этому убеждению: нет, все закончено, и возврата быть не может. Ни-ког-да!

Однако вечером, а позже и ночью что-то кольнуло, екнуло, спустилось ниже, где-то побродило еще, но души Аниной не коснулось. Стало только очень холодно от одной мысли, что ее оставили, стало быть, предали, что то давнее, осеннее, что радовало обоих на улице Первомайской, в ташкентском тихом дворике, в темной, за синими занавесками комнате, уже не может, да и не должно повториться. И пусть пока Аня повторяла все это про себя как заклинание, смысл от этого не утрачивался, она приобретала какую-то новую внутреннюю силу и снова понимала, что человек, так поступивший, не может быть рядом с ней. Не простит. Не должна.

Она знала, что люди любят всяких, и предателей — в том числе, что самая сильная любовь та, что вопреки всему: здравому смыслу, логике, обстоятельствам. Но не уважать себя Аня не могла, и потому другого решения для нее не существовало. И тему эту запретила и для обсуждения в театре, дома, везде. Все так все!

Она понимала, что время, которое оставалось в Ленинграде, вот-вот закончится и что снова предстоит возвращаться домой. И закроется комната, и снова будет ждать ее или папиного возвращения. Но когда, как скоро, этого она знать не могла. Как, впрочем, и того, что нынешнее ее окружение каким-то невероятным образом изменилось и возникли новые лица, на которые прежде она не обращала внимания. Это был Олег, который неотступно, ежедневно был рядом. Без слов и заверений, а просто так, что она уже и оглядывалась, высматривая его, и прислушивалась к звонкам, ожидая его. Он и не заставлял себя ждать. С ним было ясно и спокойно и как-то неожиданно надежно. Она даже не могла вспомнить, как это она могла не обращать на него внимания в летний свой приезд, когда тень Олега следовала за ней по пятам, с момента ее прилета? Так, наверное, бывает. Она еще подумала,

что надо бы расспросить об Алексее, что с ним, как и как поживает его мама.

Отец, не говоря Ане, ездил на кладбище ежедневно, словно собрался на всю свою жизнь отложить, запомнить ощущения и увезти с собой воспоминания о месте, где лежит Валя, обо всем, что было в городе когда-то и в этот приезд, спустя много-много лет.

И теперь, уже поздно он вернулся сильно уставший, почерневший. Аня посмотрела на него и спросила, где он был. И, не дожидаясь ответа, сама и сказала, что поняла, что все знает. И завтра они поедут вместе, попрощаются и будут собираться домой.

И действительно, через день стали готовиться к отъезду. Получилось так, что билеты принес Олег, они были на вечерний поезд. В последний раз перед отъездом сели за стол, и Олег неожиданно сказал, когда отец вышел покурить.

— Аня, надо жить, это ты и сама знаешь. Но жить надо так, чтобы прошлое, даже такое горе не умаляли настоящего. Проживи, выстрадай до конца свое горе. Может быть, потом, когда-то позвонишь или...

— Что или? Говори. — Она смотрела на Олега заинтересованно, но все еще не сознавая, не ведая, как запала ему еще с первой их встречи. Она спросила об Алексее и услышала, что он месяц как женился, а мама его прибалывает.

— Ты привет им передай. Непременно передай.

— Работай и знай, что у тебя есть друг. Пусть далеко, но он есть. Это же хорошо?

— Спасибо, я поняла. За все спасибо. Я позвоню. Даже не знаю ничего о тебе. Где живешь, с кем, чем даже занимаешься... Ты тоже не забывай. Приезжай к нам.

— Приеду.

— А правда, у тебя родители есть, ты с ними?

— У меня всех много: и мама, и племянница, и... Живем недалеко от вас, почти на Невском. Но говорим, когда выходим из дома, что идем в город.

— Тоже в коммуналке?

— А как же? Только так. Нормальные люди все проходят через это. Ничего страшного. Твои же вот жили, ты родилась, я так понял. Да и соседка кое-что рассказывала.

— Ты не очень-то разговорчивый.

— Ничего, это не есть главный недостаток.

— Конечно. А профессия?

— Ты хочешь спросить, заканчивал ли я вуз? Не только его, но и аспирантуру, и много чего еще. Люблю учиться. Через месяц, под самый Новый год у меня защита диссертации.

— А по какой теме? Надо же, ничего не знаю.

— Это не страшно. Тема? Тема у меня на пересечении трех дорог: филологии, философии и истории. А закончил наш университет, факультет — философский.

— Батюшки, даже не знала, что ты — философ! Никогда еще не говорила с философом. Знаю только, что есть Шопенгауэр, и сама читаю книги, которые дают мне мои дорогие Алексеевы, вторые, можно сказать, родители. Что же ты молчал?

— А ты не спрашивала. Да и разговора не было.

— Вот, теперь есть. Буду знать. И еще... Ты хороший, Олег. С тобой надежно.

— Тебе виднее.

Они поднялись, взяли приготовленные вещи и отправились на вокзал.

Уже перед самым отходом поезда Аня сама сказала Олегу, что рада знакомству, хотя оно и состоялось полгода назад, и благодарна за все. На что Олег отреагировал весьма своеобразно:

— У тебя теперь начнется совсем новая жизнь. Постарайся не пропустить ничего.

И все. С этим напутствием и уехала Аня. В вагоне они с отцом уснули мгновенно, благо попутчики были спокойные пожилые супруги, которые тоже утомились и сразу же легли. И только утром их разбудила проводница, сказав, что скоро Москва, столица нашей Родины.

Отъезд, само прибытие в Москву хоть немного отвлекли от грустного, и Аня сказала, что непременно надо позвонить ее знакомым, у которых она уже побывала в гостях и обещала которым непременно зайти, если окажется в городе.

Пошли к автоматом, позвонили, но помощница по хозяйству ответила, что они как раз неделю назад отпраздновали в Ташкент. Выходило, что целый день был в распоряжении приехавших, и они решили погулять, зайти в музей, непременно пройтись по Красной площади.

Так и сделали, отправились сначала, пока еще было утро и народа на главной площади, наверное, как они думали, не так много, именно туда. Однако очередь в мавзолей уже стояла приличная, и Аня все же настояла, чтобы посетить это место. Отец поначалу не соглашался, понимая, что опять скорбное место и что вряд ли это посещение успокоит дочь, но спорить особо не стал, и они стали медленно, но верно двигаться в очереди, которая состояла из людей почему-то сплошь в темных пальто и таких же темных шапках, они молчали и только исправно продвигались вперед. Аня не слышала ни разговоров, ни обмена мнениями, все отчего-то молчали, находясь во власти им одним ведомой мысли и, наверное, цели. И еще она подумала, что, скорее всего, так принято в таком месте. Люди, видно, не особенно понимали, как себя вести, и молчали на всякий случай. И все же не отметить, что это было отнюдь не скорбное молчание, а какое-то вынужденное, Аня не могла. Это было так очевидно, так бросалось в глаза, что резко контрастировало с самой миссией, предназначением всего этого обряда. И места погребения, и желания людей не то чтобы выразить приличествующее в скорбных местах соболезнование, но хотя бы сожаления, может быть, жалости. Ничего этого не было. И Аня в эти долгие минуты стояния поняла, что же именно испытывают люди, впрочем, как и она сама: чувство неловкости в связи с нелепостью самой ситуации. Человек много-много лет не по-

гребен, а лежит в самом центре их горячо любимой Родины, и приезжают толпы народа, чтобы взглянуть, удостовериться, что тело еще там. И главный вопрос, который их мог интересовать более всего: как это такое возможно, посредством чего и в каком виде этот человек находится. То есть, попросту говоря, отнюдь не пиетет, не скорбь уж — тем более — а желание удовлетворить собственное любопытство и по возвращении домой передать свои впечатления, а также подтвердить, что главные места в столице, как то: ГУМ, ЦУМ, мавзолей и, у совсем немногих, — Третьяковская галерея, музей имени Пушкина, — осмотрены, их посетили.

И от этой мысли, от догадки, что так, скорее всего, и есть, Ане стало нехорошо, расхотелось стоять и продолжать участвовать в спектакле, который вершится, не останавливаясь, не прерываясь на антракты, долгие годы. Зачем? Кому это нужно? Чтобы растить в людях нездоровый интерес к фигуре усопшего, выставленной на обозрение? Даже в самом этом акте Ане виделся жутковатый смысл и замысел. Для поддержания страха к главам, к великим, могущественным силам, символом которых являлось тщедушное тело в мавзолее?

Аня сказала отцу, что ей нехорошо и что она больше не может стоять в этой очереди. И они вышли, так и не дойдя до главного: самого входа, беглого прохода, мимолетного взгляда на тело и освобождения, связанное с выходом. Нет, не стали больше томиться в очереди и очень скоро покинули это место.

Они уже почти миновали все огромное пространство красавицы-площади, как рядом с ними неожиданно возник молодой человек в форме, который отдал под козырек и спросил, все ли у них в порядке. И еще попросил документы. Рассмотрев паспорта, еще раз спросил, что это они не дошли и отправились гулять, на что отец довольно резко ответил: «А мне казалось, уважаемый, вы вот не представились, что это дело добровольное: хочу — смотрю, хочу — ухожу. Вы так не считаете? Да и дочке моей что-то нехорошо стало. Толь-

ко с похорон сами», — закончил отец, уже, видимо, желая смягчить и суровый тон, и смысл сказанного. Ему снова отдали честь, и на этом посещение главной достопримечательности страны завершилось. Пусть и не так, как хотелось.

И все же неприятное это столкновение не разочаровало Аню и ее отца. Москва была прекрасна, и Аня с обожанием рассматривала все, что только попадалось на их пути: сами улицы, огромные постройки домов, воздух этого города.

Был, правда, некоторое неудобство, когда они захотели где-нибудь пообедать и не сразу смогли найти подходящее место. Везде были огромные очереди, и Аня даже подумала, что это особенный, характерный для этого города признак. И что у них такого попросту нет: еды на каждом углу полно. А здесь они еле-еле нашли столовую, в которой дурно пахло, котлеты были весьма подозрительного вида, да и сама обстановка тоже не радовала. Но голод есть голод, тут не до рассуждений, и они, как могли, перекусили.

Когда добирались до Пушкинского музея, отец вдруг спросил, как она смотрит на то, что он пойдет дома преподавать? В меньшей степени будет занят в театре, а больше — в институте? Аня откликнулась сразу:

— Пап, ну конечно, я только за! Театр все силы уносит.

— Ты думаешь, там меня меньше в оборот возьмут?

— Да ты сам себя в оборот берешь всегда, сам себя окружаешь делами. И все это знают. Тебе бы побережь себя надо, пойми это. Надо резко сократить нагрузку.

— Резко — это как? На диване больше лежать?

— Хорошо бы, но ты вообще не лежишь. Правда, я тебя лежащим даже не видела. Ты когда отдыхаешь?

— Ничего, дочка, мы еще повиляем хвостиком.

— Ой, ты ли это?

— Я, я.

— Пап, а как ты думаешь, теперь мы будем бывать в Ленинграде?

— Что ты спрашиваешь! Как не бывать?! Я с трудом оттуда оторвался, не хотелось покидать город. Какой он особенный, совсем не как наш.

— Вот видишь — «наш»! — это тебе не просто так!

— Конечно, наш, какой же еще?

— Ты мой самый, самый мудрый, самый дорогой.

Аня прижалась к отцу, и было понятно, как обоим несладко, хотя и гуляют они по лучшему городу мира, и свободный день, и вечером поезд домой. Но мысли, куда от них денешься?

В пушкинском музее Аня была впервые, а отец, как оказалось, бывал. Не стали спешить и долго ходили по первому этажу. Аня не могла никак насладиться величием и одновременно простотой исполнения самого зала, его сводов. Какой-то такой ясностью замысла, что хотелось приходить сюда еще и еще и любоваться одним только первым залом. Однако когда они поднялись выше и Аня увидела другие помещения, ей действительно сделалось нехорошо. Такое великолепие в одном месте! — осознать это было крайне трудно. И они не пошли бегом бежать по залам, а зашли в два-три, и им хватило, чтобы по-новому ощутить то, к чему призван вообще человек. Если дядя Дима совсем недавно сказал о движении, о созидании как единственно возможном способе жить, находясь в ладу с собой, то вот оно, явное и реально существующее воплощение такого созидания. От громады и внятности замысла человека, остальных людей, художников, насытивших, заполнивших собою залы, действительно голова шла кругом. Тем более у такого неподготовленного человека, как Аня. Был и в Ташкенте музей, но он никак не приближался по масштабам и размаху к тому, что представало сейчас перед нею.

Когда они вышли, она долго молчала, не решаясь произносить пустые слова, которые все равно вряд ли могли бы выразить все то, что она чувствовала.

Ехали долго и почти молча, потому что пора было приближаться к вокзалу. Оставленных там вещей было не так много, продуктов они и не додумались прику-

пить в Москве и так и двинулись к поезду. Однако Аня успокоила отца, сказав, что Олег и их замечательная соседка кое-что собрали им в дорогу и что с голоду они не помрут.

Не так уж долго проплывала за окном Россия, а потом начались степи. И смотреть на них было интересно хотя бы потому, что этот ровный, почти одинаковый пейзаж почему-то успокаивал и своим однообразием, и невыразительностью, действовал умиротворяюще. И снова Аня думала о том, что, наверное, счастье заключается не в бесконечных всполохах экспрессии и неожиданностях, а вот в такой ровной, спокойной обстановке, когда череда поступающих событий почти предугадываема и все, что может случиться с тобой, вовсе не означает провал, катастрофу, что-нибудь еще столь же резкое и из ряда вон выходящее. И просыпаясь утром и зная назначение дня, его предстоящую монотонность, этот день все же может радовать ничуть не меньше, чем мимолетная яркая вспышка и озаренность чем-либо, которые так мгновенны, недолговечны, что только карябают воображение и память. Стало быть, жизнь в каких-то очень рациональных пределах и границах может быть вполне счастливой, заключила Анна.

Она думала о предстоящей жизни, возвращаясь к этой мысли снова и снова и понимая, что действительно, прав был Олег, когда просил ее ничего не пропускать. И еще она понимала, что только работа может спасти ее от горя и сладить с собой и с жизнью. Поэтому очень ждала встречи с театром, где за последнее время ей пришлось сыграть такие замечательные роли. А в одном спектакле, который назывался «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа Лорки, она играла вместе с тетей Ниной. Сознавала, что проходит еще один круг обучения актерскому мастерству, наблюдая за этой актрисой. Ее преобразование в роли, платок, который почти полностью закрывал ее лицо, сама фигура, сдержанность в проявлениях, осторожная, словно кошачья пластика завораживали и придавали образу остроту и

завершенность. Вообще все работы Алексеевой Нины Петровны отличало вот это редкостное свойство — завершенности, целостности образа. Много было замечательных актеров в театре, но можно было говорить о каких-то отдельных кусках в роли, органике и убедительности частей целого, но чтобы достигать такой полноты и совершенства воплощения героини — под силу было ей и, может быть, еще двум–трем актерам.

Аня понимала, что совсем скоро останется без такого яркого и близкого по духу учителя, что вот-вот Алексеевы уедут. И ловила каждое сценическое действие, каждый жест, интонацию героинь тети Нины, непременно связывая их с внутренним наполнением и обоснованием образа. Так их учили в институте, так работала сама тетя Нина, которая институты не заканчивала, но своим удивительным талантом, актерским чутьем проникавшая в существо каждой роли.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ВСЕ ВОЗМОЖНО

*И вдруг он почувствовал запах, совершенно особенный, неповторимый, который ни с чем не мог сравнить. Он раскинул руки и долго стоял, впитывая его и понимая, что это какой-то подарок, который преподнесла ему судьба. Он почти утратил волю, почти лишился желания жить, его не радовала больше и не увлекала птица, которая то нашептывала какие-то тайны, то преподносила одни загадки, и все это рождало неприязнь, которая зрела и разрасталась. Его беда была рядом с ним, он не мог ничего с этим поделать и только приближался к пониманию того, что придется принять и это, что здесь не поможет никакая птица, какие бы тайные знаки она не подавала. Дома больше не было, и это была самая большая печаль. Однако чистый удивительный запах, смешанный с чувством полного освобождения и приятия жизни, становился все сильнее, все мощнее перекрывая случившееся. И он подумал, что не все еще потеряно, что все еще возможно*

На первой же репетиции «Свадьбы», когда полным ходом уже работали «на середине», Аня-Нюра немного отошла от предувещаний драматурга и, когда читала свой монолог, где были слова «Я-то, думаешь, чурка осиновая, пень, табуретка кухонная?», на этих самых словах она действительно схватила табуретку и надвинулась на героя, Василия, которого играл замечательный артист, с трудом осваивавший роль Феди, но в этой роли репетировавший блестяще. Это был тот же Ромашин, которого уже не надо было подбадривать и учить, куда деть руки и что делать с корпусом. Здесь же был он на своем месте, так органично и так широко выдававший все, что было заключено в характере Василия. Их совместная сцена с Нюрой уложила всех, кто был в зале. Это работали два мастера, совершенно очевидно.

Все, что было пережито в последнее время, что так или иначе коснулось жизни Ани и вошло в нее, вылилось в стихийный, ничем не сдерживаемый протест ее Ньюрки. Выписана она была драматургом чуть тише, что ли, но темперамент и собственно ситуация в жизни Ани захлестывали ее и она играла, что называется, наотмашь. Ремарки же драматурга, типа «заревела», она порой игнорировала, придавая своей героине другое наполнение, смысл, да и другую планку. Она не была добрячкой-дурочкой. Нет, это была все понимающая женщина, которая боролась и со своим чувством, и с желанием понять любимого. Вот что ей было все равно, так это мнение окружающих. К нему она была и правда равнодушна и благодарила драматурга Розова за то, что предоставил ей такую возможность: не просто высказаться, а хлестко, с размаху выложить все накопившееся, то, с чем женщина должна мириться и с чем — нет. Она в этой роли расправлялась со всеми неудобными ей, нет, даже не женщинами, а пороками, предрассудками, глупостью, изжившими традициями, которые только тормозили жизнь. Не полоумная баба была изображена Анной, а женщина толковая, мыслящая, способная на поступок и самопожертвование.

До премьеры оставалось не так и много, поэтому все работали воодушевленно, примерно так, как было на «Иркутской истории». Удивительное дело, но воодушевление труппы на первый взгляд понять было не просто: драматический материал, связанный с другой географией, почти что другой планетой, где иначе разговаривают, где другие обычаи и исторические традиции, где даже думают, наверное, по-другому, давалось актерам легко и уверенно. Они словно купались в новом для себя материале, сопровождая каждую репетицию смехом, придумками, подробностями из их актерского арсенала, нюансами, которым только и может быть наполнен образ.

Так еще не работали, наверное, никогда. По крайней мере, на памяти Ани за ее три года в театре. Веселый дух игры, царивший на площадке, сплотил труп-

пу, сделал все имеющиеся неудовольствия, какие-то распри далекими и необязательными. Словно сдул их.

И Анна бежала на репетиции не просто с радостью, это-то было всегда, а еле дожидаясь следующего дня, чтобы увидеть всех и ощутить, окунуться в это море озорства и насмешки. Теперь это было вполне отчетливое, выношенное желание, а не спонтанное, как было еще не так давно, когда она ходила на работу как на спасение. Нет, постепенно театр становился осознанным прибежищем, где можно было не только расслабиться и получить удовольствие, но где сотворялось из самой себя то новое, что потом становилось образом, и процесс этот стал главной частью Аниной жизни.

Даже собрания, на которые она захаживала только затем, чтобы ее не поругали, стали для нее тоже неотъемлемой частью ее жизни. Не все, естественно, нравилось ей в самой практике ведения подобных мероприятий, но что на них она могла видеть своих братьев по цеху в новом, непривычном амплуа, — точно.

Была в их коллективе одна актриса, жизнь которой и назначение в театре были особенными и не распространялись ни на одну из актерских категорий, включая зарплату, блага, поведение, меру дозволенного. Она была не просто народной республики, но народной СССР. И ее откровенно не любили, но, конечно, не показывая это, а всячески скрывая. И однажды на собрании, посвященном приему в партию Валерки Ромашина, эта Виолетта Яновна вдруг заявила, что молодые актеры ведут себя неподобающим образом, что им многое в театре дозволено и что это неправильно. «Следует сделать выводы! — сказала актриса.— А иных и наказать!» И вдруг раздался голос: «Вам так кажется. Просто вас не любят». Зал затих, актриса осмотрелась, выдержала паузу и ответила с великим своим достоинством: «А мне и не надо, чтобы меня любили. Пусть лучше боятся!» И зал загудел неприязненно и сердито.

За столом президиума, покрытым вишневым скатертью, глава парткома, Серафим Ефимович, позвонил в колокольчик и вежливо, даже подобострастно сказал,

что они отвлекаются. Призвав к порядку, продолжили говорить и Ромашине, процедура выполнялась неукоснительно, регламент — как штык, и все понимали, куда склоняется вопрос. Он клонился к одному: чтобы бывший подводник, служивший во флоте человек, непременно был принят в ряды Коммунистической партии. И роли играет, и семья хорошая, и Оксана его в положении. Словом, все сходилось. Но возникла маленькая загвоздка.

Вдруг подняла руку та самая Ольга Ивановна, с которой у Ани были баталии, и спросила, почему в партию принимают только рослых здоровяков и отчего это женщины должны отмалчиваться? Парторг, Серафим Ефимович, невозмутимо поднял свои сросшиеся, как у узбека брови, покрутил в руке карандаш, вопросительно взглянул на маленькую артистку и ответил:

— Ольга Ивановна, приятно слышать, что вы тоже хотите в партию. Но вспомним, какие роли в последнее время вы играли.

— А при чем тут роли? — парировала артистка, — я в театре уже двадцать лет. И муж мой тоже.

— Это мы все прекрасно знаем. Но членство в партии еще заслужить надо. И не одной только выслугой лет.

— Понятно, чем. Но у меня уже для этого возраст, не то, что у некоторых.

— На кого это вы намекаете?

— На новеньких, на кого ж еще?

— А кто это у нас такой новенький?

— Так, кто пришел и захватил все роли сразу.

— Так и замечательно, значит, есть что человеку сказать, стало быть, одарен, обучен и все такое. По заслугам и играет. Будут достижения, и его в партию направим, порекомендуем.

— Не его, а ее.

Тут все загудели снова, так как прекрасно поняли, на кого намекает Ольга Ивановна и почему. Видно, слухок об их пылкой схватке докатился-таки до многих.

— А чего вы на нее нападаете, хорошая актриса, за три года вон сколько сыграла! — крикнули прямо с места. Но Ольга Ивановна не унималась. Она решила взять реванш за все: и за мужа своего, который был не у дел уже давно, и за себя саму, за свое тщедушное строение тела, за рольки, которых было хотя и много, но все они были слеплены по одному образцу и подобию. Словом, за все!

— Знаем мы, благодаря кому она все это играет. С одной стороны папочка, с другой — сами знаете.

— Замолчите, Ольга Ивановна, это и некрасиво, и несправедливо, в конце концов! — вскричал парторг, которому и так нарушили весь замысел. — Если вы о Кремнёвой, то она — наша гордость. И слава богу, что у нее есть такой отец! А намеки ваши и вовсе неуместны. Девушка имеет все основания не то что играть со своим талантом, но и в партию вступать и все такое. А на личную жизнь у каждого свое право. Вы вот так распорядились, она — иначе! Так, Кремнёва?

Однако ответа он не услышал, так как у Ани перехватило дыхание от такой наглости. И в первую очередь она думала не о себе, а об отце: что с ним и как он перенесет эти нападки. А папа сидел в том же президиуме, поскольку являлся заместителем парторга театра, и просто стал очень бледным. Аня хотела подскочить, дать ему воды, таблетку валидола, которым он теперь частенько пользовался, но ее опередили. Поднялся дядя Дима, спокойно осмотрелся, потрогал себя за короткую ухоженную бородку и сказал:

— Уважаемые друзья! Коллеги! И просто дорогие наши артисты! Стыдно слушать такие разговоры, но о них стоит поговорить именно сегодня, так как они с настойчивой решимостью ползут по нашему театру. Нехорошо! Забыли? — каждому свое! Молодые играют, что им отмерено и по возрасту и по таланту, пожилые — тянут свое, ну, а те, кого Бог обделил, — он сделал выразительную паузу, — тот, простите, чулки вяжет, да упреждает каждый шаг мужа. По заслугам, смею вам напомнить, друзья мои! Всем — по их умениям и

талантам. А вы, Ольга Иванна, переходите, пока не поздно, в помрежи, все больше толка будет от вашего пребывания в этих стенах. Театр ведь не богадельня, тут и работать иногда надо, не только сплетничать и рукоделием заниматься. У меня все.

Зал сначала молча слушал, а потом снова заголосил, загудел. Было очевидно, что все на стороне Ани, ее отца и дяди Димы, то есть на стороне справедливости.

— А что, Оля, и правда, иди ты в помрежи, ты такая обязательная, можно сказать, зануда даже... Нет, я по-хорошему. Иди, и твой будет доволен. И чулки с носками куда удобнее там вязать. Времени — навалом. Хоть при деле будешь. — Эту речь произнес артист Курицын, и никто не ожидал, что именно он сподобится на такое. Отважится связаться с такой дамой?! Нет, не каждому это было под силу! А он взял, да и решился! Просто молодец какой-то. Так, по крайней мере говорили его товарищи, принимая тоже его сторону.

А Ольга Ивановна молчала, словно ей рот залепили изолентой. Она и предположить не могла, что у нее столько недоброжелателей. Ведь двадцать лет! А что ж ее дорогой муж? А он молчал. Просто-напросто трусливо молчал. Она еще посидела несколько минут, потом поднялась, взяла свою неизменную огромную сумку и направилась к выходу.

— Куда же вы, Ольга Ивановна? Мы еще не закончили, — сказал парторг, но артистка, не оборачиваясь, все же протиснулась к выходу, таща за собой свою сумку. И правильно, между прочим, сделала, потому что раздался смех и все освобожденно заговорили, завздохали, и, наконец, Серафим Ефимович позвонил в свой колокольчик, и собрание коллектива театра по приему Ромашина кандидатом в члены партии продолжилось.

Практика проводившихся многочисленных собраний в те годы не была особенно тяжела для коллектива театра. Все в этом находили повод о чем-то своем поговорить, высказаться, решить и собственные проблемы. Да и сам ход таких мероприятий не сильно затягивался, все понимали, что у них творческий коллектив, а не

филиал ЦК партии. Если подходила очередь по разнарядке в районном парткоме, то кандидатура всегда находилась, прием происходил безболезненно, хотя и вопросы к кандидату были — и хорошие, и язвительные, и затрагивались также творческие проблемы. А их хватало всегда. Так что и в этом плане театр жил в ногу со всей страной: совещался, выдвигал, голосовал, но главное — делал свою работу, занимаясь своим прямым делом.

После собрания Серафим Ефимович окликнул Аню. Она подошла. «Что, расстроилась?» — задал он свой вопрос. Но Аня не отвечала, смотрела куда-то вверх парторга и неизвестно вообще, о чем думала. «Понятно, расстроилась. Не годится. А вот я что хотел, Аня. Мы тебя тоже выдвинуть решили. Больше трех лет все же прошло, одни успешные работы. Да и семья хорошая. Как ты на это смотришь?» Аня еще помолчала какое-то время, потом подняла голову и сказала: «Серафим Ефимович, я не пойду в партию». — «Подожди, подожди, в партию, во-первых, не ходят, а туда принимают, если, конечно, кандидат достоин. А ты у нас достойный человек. И что такое? Что я вдруг слышу?» — скатился на свой исконный одесский манер главный парторг и главный администратор театра Серафим Ефимович Тошлер. — «Это против всякого моего понимания. Что с тобой, деточка? Это же честь! Ты разве не знаешь?» Аня так же строго посмотрела на парторга и покачала головой: «Нет, не понимаю. Я думаю, что нужно делать только то в жизни, что понимаешь или чего сильно хочешь». Парторг аж задохнулся. «Ну, это просто неслыханно! Я еще такого не встречал!» — «Все, уважаемый Серафим Ефимович, бывает впервые. Опыт — великая вещь», — так же серьезно сказала Аня, и было непонятно, шутит она или нет. Во всяком случае, разговор закончился, и Аня направилась к выходу с одной лишь мыслью: чтобы с папой все было в порядке. Однако у проходной его не было, и она вернулась в фойе, затем в гримерку и только там нашла его одиноко сидящим в своей гримуборной. Он

курил. Курил против всяких правил и смотрел в маленькое запотевшее окно на втором этаже.

— Папа, что ты здесь делаешь? Зачем куришь?

— Ничего, садись. Я редко курю, сейчас брошу.

— Нет, ты бы вообще бросил. Я и не знала, что ты снова закурил.

Василий Никифорович помолчал, затем загасил папиросу и спросил Аню, какие у нее планы. Она очень удивилась, так как известно было, что после театра — домой, а там — спектакль.

— Видишь ли, дочка, я домой не пойду. У меня еще дела.

— Но какие, все ведь закончилось?

— К лекциям подготовиться нужно. Не говорил, но вот, видно, время подошло. Я же заочный закончил.

— Какой?

— Наш университет, САГУ. Теперь вот преподаю в Университете марксизма-ленинизма.

— Когда это ты успел? У тебя же дела еще в институте?!

— Да, вот так. Когда от горя хочешь заслониться, наберешь столько работ, что и сам не знаешь, когда и во сколько. Но главное, все успеваешь. Как-то незаметно получилось, что и истфак закончил. Мне, как фронтовику и...ну, словом, делали некоторые скидки. Но я учил! Честно! — И он засмеялся, обнял дочь и сказал, что все будет хорошо, надо только работать и созидать.

«Надо же, то же слово, что и дядя Дима говорил — созидать», — вспомнила Аня, а сама вертела пачку Беломорканала и думала, как бы отвадить отца от этой привычки. И сердце уже пошаливает, и вообще, возраст.

— Пап, брось ты это курево. Ну, что я могу сделать, чтобы ты не курил?

— А, ничего, моя хорошая. Что теперь сделаешь? Ничего, — сказал он, видимо, отвечая на свои мысли, которые очень счастливыми не назовешь. — Ничего,

дочка, прорвемся, еще будет на нашем четвертом этаже праздник. Не так что ли?

— Хочешь, я сегодня плов приготовлю? Ты придешь, он в телогрееке стоять будет.

— Ой, да не беспокойся ты так. Я так, у нас здесь.

— Нет, не пойдет так. «У нас»! Что тут может быть, кроме чая и пирожков? Надо кушать, понял, мой папочка?

— Слушаюсь, моя дорогая. Но вот только если нет сегодня спектакля у тебя. А ежели есть, надо отдохнуть.

— Нет, нет, сегодня, жду тебя.

И Аня пошла вниз, понимая, как тяжело теперь ее отцу. «Надо же, и когда это он успел САГУ закончить? А я-то куда смотрела? Ничего и не видела. Думала, что в наш театральный только и ходит. Ну и молодец!»

И снова она миновала сквер, затем прошла по Пушкинской, но не для того, чтобы зайти в гастроном, известный гастроном в городе, а чтобы бросить взгляд на Первомайскую, в ту сторону, куда столько времени она ходила. Где им с ее Львом было так хорошо. Это что же выходит? Что до сих пор он в ее памяти, в сердце, что ничего никуда не делось? Нет, нет и нет!!! «Такого нет и не может быть», — сказала она себе и быстро-быстро направилась в сторону дома.

А там ее ждал сюрприз. Когда она зашпирила дверь, раздался телефонный звонок, и она услышала голос Олега, который звонил после их отъезда несколько месяцев назад всего однажды.

— Я все не могу застать тебя дома. Все в театре?

— Отчего же вечером не звонишь?

— Не хочу беспокоить после спектакля. Как отец, здоров?

— Ничего, вообще-то не очень. А ты?

— Я? Я уже защитился и вообще, много чего за эти месяцы прошло. Например, давно пахнет весной. А у вас она, наверно, в полном разгаре?

— В разгаре.

— Отчего-то ты грустная. Что такое стряслось?  
— Ничего особенного, просто. Жить иногда трудно.  
— Жить всегда не просто. А кто сказал, что должно быть легко и весело?  
— Да, должно быть так. Иначе зачем жить вообще?  
— Затем, чтобы совершенствовалась духовная материя.  
— И как ты ее совершенствуешь?  
— Просто живу. Живу и понимаю, что ничего другого и не надо. Любить ближних, осваивать непознанное, делать свое дело. Все очень просто.  
— У тебя всегда просто. Разве так бывает?  
— Пройдет время, и у тебя так будет. Оно ведь летит, время-то, ты помнишь?  
— А разве это правда?  
— Естественно.  
— У нас весна, все цветет.  
— Захожу к вашей соседке. Там порядок.  
— Спросить хотела...  
— Да...  
— А ты... тебе и правда легко жить?  
— Конечно, нет. Но бывает и легко. Всякое бывает. Главное, во всем этом найти баланс, некую середину. Вот, почитай Канта, к примеру.  
— Хорошо, непременно.  
— Замечательно. Даже если не все поймешь, знай одно: есть оно, это светлое небо над головой, да и со звездами он не ошибся. И еще то, что точно есть в тебе и о чем он говорит: ну, что внутри. Такое замечательное и чистое. Прочтешь, как это называется. Пока.  
И он положил трубку. Надо же, что есть в тебе самой? И что же такое во мне есть? Надо не тянуть с книгами у Алексеевых, а то увезут.  
Она что-то варила дома, ухаживала за отцом и ходила в свой театр. И порой даже ответить себе не могла, где ей лучше: дома или там, в театре? И дом, это только место, где спят? Потому что театр выгеснил все, заменил все! И когда даже хотелось спать, все рав-

но прямо там и оставаться. Тем более что совсем скоро ожидалась премьера розовской пьесы. Ее ждали, отчаянно репетировали и понимали, все понимали, что она очень нужна актерам, зрителям. Что при всей ее бесхитростности есть в ней что-то такое, что нужно сказать именно сегодня.

Она много думала о своей тезке, все решала про себя, где она перегнула, где была слишком слаба. И выходило, что эта девушка с Волги, на которой сама Анна была только разок, да и то в далеком детстве, стала близкой и в ее Ташкенте, и в Москве, да и в других городах, как рассказывали. Чем-то ведь зацепила пьеса. Был в ней какой-то вызов, к которому пока еще не привыкли в современном театре. Тем более что он исходил от женщины. Да и не Еврипида в конце концов ставили, а вполне современную вещь.

Аня вспоминала, как у бабушки, во время той поездки, разговаривала соседка. Тогда подобную речь Анна слышала впервые и очень удивилась, что в разных городах могут и говорить по-разному. Что расстояния делают такое странное дело, что меняют не только фасоны платьев, но и характеры, говор, манеру произношения, стиль отношений. Эта память из детства весьма пригодилась. Аня не только о соседке вспомнила, но отчетливо представляла сам город, то место, где жили уже теперь покойные ее бабушка с дедушкой. И выходило, что проблемы, в отличие от речи и по-разному произносимых звуков, могут очень даже совпадать. И, наверное, еще и поэтому пьеса эта ставится по всей стране: что-то есть в ней, что близко и на Волге, и на другом конце страны.

«Это, наверное, как любовь, — думала Анна, — есть везде, только какие-то маленькие приспособления, приметы ее разнятся. А так что? — любят себе и любят люди. И жить не могут друг без друга. Это что же, как я, что ли? Да я же уже и не люблю, все прошло», — уговаривала она себя, но что-то внутри, ох как глубоко внутри подсказывало ей, что не так скоро, как хочется, проходит эта самая любовь.

Сведений, сообщений или уж тем более — писем она от Льва никаких не имела. Да и не хотела что-либо знать. Погрузившись в собственную драму жизни, она решила, что ни на что не стоит расходовать свое предназначение. А им было служение театру. Вот она и служала, рьяно и преданно, до самозабвения.

Однако не все репетиции проходили гладко и удачно, как хотела того Анна. Например, в сцене второго действия, когда она срывается из-за приезда разлучницы и вне себя кричит: «...Гадина она, тварь! Нет, уж не будет этого... И любит Михаил меня, любит. Три года со мной одной ходит...», во время этой сцены отчаяния, когда Анна едва ли не уговаривает саму себя, а очевидное ей уже приоткрывается, она услышала слова режиссера: «Нет, дорогая, так дело не пойдет. Не любишь ты его, нет в тебе истовости что ли. Вспомни себя, потратиться надо, а не только рассудком здесь работать. Не получается пока. Знаешь, одним прочтением пьесы и знанием текста эту роль не взять. Тут накал нужен, своя, собственная драма. А ты вроде бережешь себя. Это мы виноваты, слишком захвалили тебя. И получилось, что ты здесь хорошая передовая девушка, в прошлом — отличница. Но по сердцу танком тебе еще не проехали, а жаль!»

Ужас! Так сказал режиссер, и Аня не то что уходила, просто бежала с репетиции, понимая, что сказанное сегодня будет известно всем и все начнут это обсуждать. «Господи, да неужели я не перестрадала, — говорила она сама себе, — неужели не намучилась так, что дальше некуда?» И тоненький голосок, поднимающийся откуда-то из глубин ее тела, говорил, нашептывал, что, стало быть, не совсем намучилась, коль сцена не движется. Значит, спеси еще много, гордыни. «И что же теперь делать, как ее решить, эту сцену, будь она неладна? И неужели чтобы получилось, надо перестрадать еще больше?»

Она промучилась и эту ночь, и несколько других, таких же горьких ночей, пока в какой-то момент не уловила, не почувствовала одно: ей недостает не стра-

даний, их-то как раз хватает, а смелости отпустить себя, сыграть так, словно и правда все происшедшее с героиней — это с ней случилось. И она бежала, уже снова бежала в театр, чтобы проверить на сцене, права ли она и этого ли вправду ей недоставало?

И оказалось — права! Ей сказано было всего два слова, но они дорогого стоили: «Так держать!»

В Ане действительно словно открылся какой-то шлюз, что-то такое, что удерживало и не пускало наружу чувства, которые в реальной жизни как раз и переполняли ее. И она поняла еще одну вещь: тот аскетический образ жизни, который она добровольно избрала для себя, не всегда сказывается на работе положительно. Да даже и не это, а отсутствие, скорей всего, опыта, элементарного мастерства. И она снова и снова стала оставаться на репетиции и прогоны других спектаклей, где были заняты ведущие мастера театра, и все смотрела и смотрела, примеряя сделанное ими на себя.

На в сцене, которая никак не удавалась прежде, Аня выплеснула все, что удерживала и словно копила до поры-до времени. Неистовость и страстность так и вылились ушатом ледяной воды на весь зрительный зал, на артистов, всех тех, кто вел спектакль. И это была победа. Не просто удачно сыгранная роль, но это была победа над собой, над тем, что так или иначе тормозило ее продвижение к каким-то таким высотам, которые прежде были ей неведомы.

Когда потом уже на банкете она слышала добрые слова в свой адрес, то сидела едва ли не понурая, так тяжело ей дался этот успех. А главное, что она в точности поняла, что именно ей не хватало. Что нужно было преодолеть и как играть. И дошло это до нее самой каким-то иным образом, а не только тем самым, который важен и который изучается в институте и считается универсальным. Эта роль резанула ее до самых глубин, а не только прошла каким-то краем. В какой-то момент Аня поняла, ощутила, что-то такое, имеющее отношение к истинному таинству профессии, что

была уже уверена: это понимание не должно утратиться, исчезнуть. И когда она шла по своему фойе к выходу, вдруг подумала, что скорей бы новая роль, чтобы проверить, правда ли это, не случайность ли? И действительно, та душевная затратность, что ли, что случилась с ней здесь, в этом спектакле, должна стать нормой, тем единственным мерилом, которым только и проверишь: правда ли получается роль и характер человека, или это все так, придумки одни?

Когда она вышла на воздух и вздохнула всей грудью свежесть улицы, ночи, обволакивающего тепла, несмотря на погоду, ей показалось, что ее окликнули. Она оглянулась, но не увидела никого. «Аня, не бойся, это я», — услышала она, снова оглянулась, и вдруг силы оставили ее, и она едва не потеряла сознание: перед ней стоял Лев. В темноте она не сразу увидела его, но голос, голос его не могла спутать ни с чьим другим. «Да что с тобой? Не падай, только не падай», — говорил Лев, поддерживая Аню и пытаясь привести ее в чувство. «Это же я. Ты что же, Анечка, не узнала что ли? Так испугалась? Прости, пожалуйста».

Аня постепенно возвращалась к действительности, осознавала, что происходит, кто перед ней и где она сама. Она несколько отстранилась, посмотрела на мужчину, держащего ее, и спросила самым невинным образом: «Это ты? Когда ты приехал?» — «Вот, вот и хорошо, это я, а приехал сегодня, так как знал, что сегодня премьеры. Узнавал ведь, что ты, как. Тебе не решался звонить, беспокоить. Как ты? Подожди, молчи, я все знаю. По тому, как ты играла, я мне кажется, я знаю все. Это прекрасно, это было просто замечательно».

Наконец Аня окончательно пришла в себя, освободилась от рук Льва и снова спросила, словно они не виделись не целый год, а расстались лишь вчера: «А что, зачем ты приехал?» — «Как зачем? Увидеть тебя. Увидеть, Анечка, неужели ты не понимаешь?» — «А что понимать, что? Все в прошлом...» — «Нет, не скажи. Знаешь, я понял, причём понял давно, что у любви нет срока давности. Как и в плохом, как в преступле-

нии, например. Ничего никогда не проходит и не забывается. Я все, все помню. И скажу тебе то, что давно-давно не говорил. Ты — моя самая дорогая, моя самая любимая. Знай, что я люблю тебя».

Ане снова стало не по себе, у нее едва снова не подкосились ноги. Но она огромным усилием воли взяла себя в руки и снова несколько отстранилась от Льва. «Как такое возможно?» — «Перестань, не рассуждай, для артиста это вредно. И эта роль доказала, что ты можешь жить чувствами. Брось рационально рассуждать, услышь меня. Ты слышишь меня?» Аня остановилась, посмотрела на Льва и спокойно сказала: «Я слышу тебя, но это ничего не меняет. Ты уехал, уехал и все». — «Да не все, Анечка, не все! Я же сказал тебе, что мы будем вместе. Так и будем. Ну и что, что пришлось долго ждать?! Но мы же вот встретились! Не молчи, не молчи».

Они миновали их сквер, прошли уже Пушкинскую и оба, не сговариваясь, остановились и посмотрели в сторону их прежнего пристанища.

— Ты где остановился? — спросила Аня, словно возвращая себя и его в реальный мир.

— Где? Вот, совсем рядом от нашего места, — и он указал в сторону маленькой одноэтажной гостиницы Пушкинской, которая располагалась совсем недалеко от их старого дорогого места.

— Понятно. И на сколько ты?

— Что значит на сколько? Я — навсегда! Понимаешь, навсегда! И мне все равно, где мы будем: здесь ли, в Ленинграде. Все равно. Как ты захочешь.

— Как твоя семья?

— Нет, нет, понимаешь, больше у меня семьи. У меня есть только ты!

— Ты не подавал никаких признаков жизни...

— Да, я так задумал, не хотел пустых разговоров, не хотел нервировать тебя, пока у меня все не разрешится. И вот — я свободен! Ты поняла?

— Да. Но многое изменилось.

— Понимаю. Но что может измениться в нас? Только не говори, что у тебя лично что-то изменилось. Я не поверю. Ни за что не поверю. Лучше молчи.

— Я и молчу.

— Нет, говори, скажи, что не так? Что нужно сделать, чтобы ты поверила мне? Что я не уеду, не брошу, не оставлю тебя?

— А ничего не надо. Уже все сделано.

— Аня, это не то, что ты думаешь. Я же не к жене поехал, а все сделать, обрешить.

— Но обрешил же?

— Да, я же сказал...

— Но во мне, ты же не знаешь, что со мной?

— Но что с тобой? Неужели ты забыла меня?

— Я ничего, ничего не забыла...

— Тогда...

Аня остановилась, взглянула спокойно на Льва и сказала:

— Не знаю, я пока ничего не знаю. Дай время.

— Даю. Ровно сутки. Больше не позволяет жизнь.

— Я пойду, сейчас пойду сама. Оставайся. Хочу побыть одна.

— Да, понимаю... Но завтра, что завтра?

— Пусть оно наступит.

— Да куда ж ему деться?

И Аня резко повернулась и уверенно пошла одна, свернув к своему дому.

Отец ждал ее, волновался, где она задержалась и Аня сказала, что просто решила пройтись одна. Не стала рассказывать ничего о прошедшем вечере. Однако Василий Никифорович внимательно взглянул на дочь и спросил: «А не скрываешь ли ты что? Мне-то кажется, что-то такое есть. Но ты вправе молчать. Как, голова не кружится?» — насмешливо спросил ее отец, имея в виду головокружение от успехов. Не знал, как попал в точку. «Все нормально, папа. Давай спать». — «Конечно, у меня завтра трудный день И лекции, и в институте вечером ребята показывают отрывки. Устала?»

И он обнял любимую дочь, и, как маленькую девочку, укрыл одеялом, и стал убаюкивать. «Какая ты у меня хорошая, спи. Знаю, что устала». — «Ты тоже хороший».

А наутро она проснулась и поняла, что вчерашнее — отнюдь не сон и что такого поворота она не только не ждала, но даже не представляла в самых смелых своих фантазиях, что такое возможно. И он объяснялся в любви? Да, именно так. И говорил о том, что все — навсегда? Да, так. Невероятно! И что, что делать?

И снова кто-то, не она, подсказал ей, что делать-то как раз ничего и не надо, само все решится, нужно только отпустить себя и положиться на время, на судьбу, еще на какие-то важные вещи, которые, конечно, есть и приходят иной раз на помощь. Вот, как вчера на спектакле! Случилось же. Сделала, она смогла побороть собственную неуверенность и трусость. Смогла!

И здесь сможет. Наверное.

Так она думала, пока занималась разными домашними делами, которых накопилось много-много и все недосуг было ими заняться из-за бесконечных репетиций. Она с удовольствием убиралась, стирала, варила щи из квашеной капусты, смотрела почему-то частенько в окошко и вспомнила, что Лев еще никогда не был у них в этом доме и что даже не знает, наверное, где она живет.

И она решила ничего не решать. И действительно положиться на это самое могущественное время. И на судьбу. И на что-то такое еще, чему пока в ее душе не нашлось названия.

Ни репетиции, ни вечернего спектакля у нее не было, и она осталась дома. Давно надо было кое-что перешить, переделать, а времени все не было. Вот и можно было заняться своими женскими делами: нарядами, украшениями, а потом и прической, и волосами. И много чем таким, до чего руки не доходили несколько месяцев.

А потом она выбежала за хлебом и нос к носу столкнулась со Львом. Он стоял неподалеку от их дома, держа в поле зрения подъезд, и стоял, наверное, дол-

го, по крайней мере вид у него был весьма утомленный. Оба опешили от неожиданности, но первым нашелся он.

- Вот, дождался, однако. Идем.
- Куда это? Я за хлебом.
- Знаешь, не хлебом единым...
- Знаю.
- Так вот, пойдем ко мне.
- Куда? В гостиницу?
- А что?
- Нет уж, у меня дом есть.
- Знаю, видел. Приглашаешь?
- А что ж ты не зашел?
- Не мог. Воспитание-с.
- Понятно.

Они шли по прекрасному городу, который благоухал в своей весенней непосредственности, и казалось, не будет конца этому счастью, которое выпало так стремительно и неожиданно.

Они купили в соседнем магазине хлеб, обошли Анин дом, посмотрели на пустующий в это время года бассейн, свернули за угол и... прильнули друг к другу. И куда-то стали уплывать доводы рассудка, обиды, выстроенные линии поведения. Все превратилось в единый розовый ком. Который почему-то давил на горло, и некстати хотелось плакать.

И они зашли в подъезд, поднялись на четвертый этаж, прошли в Анину комнату и бросились друг к другу снова, едва не разрывая одежду на себе. Сердца колотились так, что, наверное, на нижнем этаже можно было слышать не только стоны, но и бегущие, поспевающие друг за другом два сердца, которые стучали все сильнее и сильнее.

А потом наступило освобождение, а с ним и разговоры, расспросы. Обида Анина куда-то сама собой растворилась, и казалось, не было разлуки, такой долгой и такой тяжелой, не было вообще ничего плохого, а только этот розовый свет, который, наверное, виделся обоим и который светился все ярче и ярче.

И когда Аня, еле дыша, все же смогла заговорить, то поднялась с постели и, смеясь, стала рассказывать, что это не просто окно и не просто стол, но что они имеют в ее жизни огромное значение. И что они — ее спасители. Вместе со Светкой, над которой они еще посмеивались и не воспринимали всерьез, а она оказалась настоящим другом. И что друзей значительно больше, чем можно было себе представить. И это радует.

Лев долго и изучающе смотрел на нее, конечно, не зная и не догадываясь о роли Светки, стола и окна в их судьбе, но просто верил словам Ани, и этого было достаточно.

— Мы должны пожениться, — сказал он, и Аня снова засмеялась и сказала, что времени у них полно. Но он серьезно посмотрел на нее и снова сказал:

— Времени у нас нет. Мы и так его изрядно ухлопали.

— Мы? — ехидно переспросила Аня.

— Да, я, — признался Лев, но снова повторил, что медлить больше нельзя.

— Понимаешь, я не выживу больше. Я и так столько терпел.

— Ты хотя бы знал, что делаешь, а я пыталась смириться со всем и вся.

— Мириться можно только со мной, но ни с чем другим. Ни-ког-да! Идем в ЗАГС?

Аня снова засмеялась и сказала, что уже вечер и все загсы закрыты. Что радует.

— Ах, ты! Радует, значит? — завопил он и смял ее в объятьях.— Радует? Я тебе покажу! Хорошо, уговорила, значит, завтра.

— Лев, мы сошли с ума.

— Это прекрасно!

— Нет, ты не понимаешь, мы просто свихнулись

— Это замечательно!

— Что ты будешь играть, ты думал? Вообще, что с театром?

— Я буду играть дураков, в сказках. Жить в гостинице, если ты меня непустишь к себе...

— Все, хватит, дураки у нас и так есть. Правда, ты говорил с Изольдой, с Бертой?

— Да, ночью.

— Нет, я серьезно.

— Я — тоже! И меня берут, представь.

— А ты знаешь, у тебя что-то изменилось в характере.

— Возможно. Что дальше-то будет!

— Молчи, одевайся и молчи. Что мы папе скажем?

— Я сам. А ты молчи. — И они снова засмеялись, так, без всякой причины, просто потому, что они были.

За окном было совсем темно, и даже сквозь окна и даже сквозь тюль на занавесках было видно, что звезды с ними заодно, что луна их приветствует и что ночь — совсем не препятствие для влюбленных, а, напротив, подмога и подруга.

Пришел отец, сели за стол, и был разговор трех взрослых людей, которые хотели все только одного: чтобы счастье, наконец, не покидало эту семью, а надолго поселилось в доме. Они его ждали.

— Василий Никифорович, я прошу руки вашей дочери. Отдайте, прошу вас, я буду ее холить и лелеять. Любить и баловать.

— Вот те раз! Руки... А сама Аня? Что она скажет? Я что? — как она...

— Пап, ты не волнуйся, все нормально, даже больше.

— Ты хочешь этого, дочка?

— Она хочет, я вам точно говорю.

— Ну, давайте, отметим это.

И отец поднялся, но не столько для того, чтобы взять бутылку вина, а чтобы скрыть неловкость и замешательство. Он сильно волновался, это было ясно.

— Как мы, два мужика, поладим? — спросил он больше для проформы, просто чтобы что-то сказать.

— Уверяю вас, Василий Никифорович, непременно поладим.

— А как же Ленинград? Все там улажено?

— Естественно, иначе и не просил бы вас. Да и жена моя бывшая нынче замужем. Так что, сами понимаете.

— Да, дела..

Было совсем поздно, когда Лев засобирался к себе в гостиницу. Его не удерживали, все понимали, что так надо.

И наступила поздняя синяя ночь, и Аня не могла уснуть, все думала и думала, все не могла поверить, что такое, оказывается, возможно. И еще думала о том, как жил он все эти долгие месяцы, что он пережил, что думал. Уже засыпая, она представила себе Ленинград, вспомнила необыкновенный этот город и почему-то загадала: если выйду замуж, уеду туда. Там и станем жить. И папа. Конечно, и он тоже. И провалилась в сон и в ночь.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### ПРЕДАТЕЛЬСТВО И СПАСЕНИЕ

*Он подумал, что, наконец, избавился от птицы. Он устал, очень устал и требовался глоток воздуха, но особенно, может быть, горного, может, просто какого-то волшебного. Но где, где его взять? Неужели так и предстоит скитаться всю жизнь? Вот и птица, казалось бы, улетела, и плохие предчувствия перестали донимать. Однако однако все еще что-то не дает покоя. И он решил. Он решил пройти весь путь, как бы труден и опасен он не был. Идти долго, пусть даже встретиться с неугомонной птицей, с другими неожиданностями. Главное – идти.*

*Что же смущало? Наверное, одно: силы. Их становилось все меньше, а дорога не делалась короче. И все же*

Расписались в ЗАГСе, который был в их районе. Позвали всего несколько человек. Были потом, уже дома, и Алексеевы. Как же без них? Еще Светка, Любочка с их двора, тетя Сима. А из театра почти и не было никого, всего двое, которых пригласил папа. Это был их знаменитый парторг Серафим Ефимович и одинокая актриса, давно схоронившая мужа, да так и не вышедшая больше замуж. Ее звали Лидой, отличалась она кротким, совсем не свойственным актрисам, нравом. Все больше слушала, чем говорила и иногда играла характерные роли. И когда она появлялась на сцене и зал смеялся, трудно было поверить, что так робка и незаметна она вне театра, в обычной жизни.

Готовили все, а больше всех помогала Лида. Она была впервые в их доме, но очень легко и без излишнего смущения резала, накрывала, подавала. В какой-то момент Аня взглянула на отца, и ее пронзила мысль. Она была так очевидна, что Аня удивилась, как не догадалась об этом раньше. И правда, прошло больше года со смерти мамы. Папа был еще вполне молодой мужчина, не оставаться же ему одному. Однако ничего, что выдало бы их отношения, она не заметила, и

только сказала себе, что ни за что не станет укорять отца или чинить препятствия. Так, значит, и должно быть, никуда не деться от жизни, которая не стоит на месте, а все движется и движется куда-то. Иногда вперед, иногда – очень при этом огорчая – стоит на месте или вовсе пятится назад.

Лида занята была, несмотря на свою незаметность и скромность, во многих спектаклях. Вот и в последнем сыграла довольно большую роль Майи. Сыграла колоритно, емко, крупными мазками. Вот и думай потом, что такое человеческая индивидуальность: в жизни – птички не обидит, еле заметная, на сцене же – вулкан. Все крушит и всех поворачивает, сплетничает, наущничает, ну просто как бельмо на глазу. Удивительно!

Аня выходила на кухню, спрашивала, что надо, сама несла и резала, что надо, и все посматривала на женщину, которую увидела словно впервые. Однако Аня понимала, по какому поводу все собрались, и решила перенести свое изучение на потом.

Тетя Нина была в особенном настроении. Тоже гордилась тем, что ее Анечка выходит замуж, что праздник случился вполне заслуженный и долгожданный. Все кричали, что и положено, новоиспеченные молодожены с удовольствием выполняли просьбы гостей, целовались, и все было так, как должно было бы быть уже давно. Если бы не разлука, если бы не отъезд жениха, если бы не это извечное если бы. Но вот, все разрешилось, и можно было бы считать историю законченной. Можно было бы, если бы снова не вторглось это знаменитое «если бы».

Лев не был яростным ревнивцем, но, когда однажды услышал, как Аня разговаривает по телефону с мужчиной, опечалился, однако виду не подал, а только спросил, кто это был. Аня сначала не придавала значения звонку Олега, который звонил редко, но почему-то попадал всякий раз в то время, когда Лев был дома. И это стало напрягать молодого мужа.

– А что он звонит? Рассказывает о своих успехах?

Я же видел его однажды там, на вашей ленинградской квартире, он к соседке приходил. И я, как назло, явился, Хотел о тебе побольше разузнать. Нет, он хотя и мудрец, это очевидно, но мне не понравился. Что скажешь?

— А что сказать? Звонит себе и все. Друг он, понимаешь? А друзьями не разбрасываются.

— Анечка, не только друг, но и претендующий на нечто большее.

— Левушка, оставь, пожалуйста. Где мы и где — Олег!

— Скажи правду, если бы он очень, ну просто очень настаивал, ты бы бросила меня?

— Ты с ума сошел!

— Нет, скажи!

— Лев, давай оставим эту тему?

— Давай. Мы-то оставим, но он тебя — нет.

— Хочешь договор? Я попрошу не звонить, а ты... ты больше не устраиваешь мне выговоров.

— Ах, ах, какие мы строгие.

— Лев, если тебе очень хочется, я правда попрошу...

— Нет, это неприлично.

— Вот именно. Человек — от чистого сердца, а мы...

— Вот, здорово, это «мы» мне больше всего нравится! Значит, мы все и сможем. Мы, а не кто-то один.

— Уважаемый муж, сменим пластинку. Давай лучше подумаем, что с репертуаром, что нас ждет. Что ты будешь играть?

— Я? Докладываю. Ожидаются два ввода. «В день свадьбы» — раз, а вторая — тот же «Потерянный сын», да и «Чайка» остается. Ну, и само собой, у театра планы есть. И на меня тоже. И я даже кое-что об этом знаю.

— Скажи, скажи скорей, что ты знаешь?

— Например, то, что меня пригласили преподавать в институт. Это — раз! Как тебе?

— Да ты что? И кто же? Папа?

— Нет, сам ректор. А наш папа поддержал. И это событие меня очень радует. Я весь год в Ленинграде

преподавал, да и раньше — тоже. Словом, готов, уверяю тебя.

— Здорово, правда. А я?

— А что ты? Ты у нас будешь прекрасно играть и дальше. А там посмотрим.

— В смысле?

— В смысле творчества. Надо только одно — работать и работать. Я, например, изголодался. Тебе-то хорошо, играешь, а я съесть тебя готов, когда вижу на сцене. Так хочу туда же.

— Лева, милый мой, как я рада. И мы будем, обязательно сыграем что-то вместе. Но не как в «Чайке», а пару. Да?

— А хочешь Нину? Нину Заречную там?

— Конечно.

— Значит, будет.

И совсем скоро оба начали репетировать сцены из «Чайки», которую пришлось вспоминать, возобновлять, да и в связи с еще одним обстоятельством — отъездом Алексеевых. Нужно было вводить также новую актрису и на роль Аркадиной.

И жизнь стала приносить обоим не просто радость, но нескончаемый поиск путей, ходов в репетициях и в конечном итоге — поиск образов. И пришлось это делать с утроенной силой, так как обязывало и новое положение замужней женщины, и вводы Льва, которому требовалась помощь, просто подыграть, помочь. Да еще необходимо было справляться с возросшей нагрузкой и по дому и в связи с его работой в институте. Словом, забот хватало, и это ничуть не печалило Анну, скорее, наоборот, придавало новый стимул и в работе, и в осмыслении всего, что происходило в ее личном пространстве.

Чувства, казалось, зрели и развивались еще более насыщено и динамично, чем прежде, и ничто не могло им помешать. Ни поздние приходы Льва, который задерживался в институте до полуночи и даже позднее, ни возросший объем домашней работы, ни хлопоты разные в связи с этим, ни дополнительная нагрузка в

театре. Иногда Лев приглашал ее к себе на новую работу, чтобы она посмотрела отрывки, этюды. И делал это с удовольствием еще и потому, что всегда очень ценил Анины замечания. Она не была режиссером, а только и исключительно актрисой, но какое-то природное чутье всегда подсказывало верный ход, решение, включая такие тонкие вещи, как голос, интонация, пластика, жестикуляция. И в работе со студентами ее интуиция и уже определенное знание профессии точно определяли, что именно нужно сделать и как повернуть, чтобы роль задышала, стала живой.

Однако по прошествии почти года работы в новом для себя качестве Лев не пришел ни поздно, как обычно, ни потом, ночью, ни даже утром. Аня места себе не находила, однако бежать сразу в институт и узнавать, в чем дело, не решалась. Семейная черта, название которой было — гордость — не позволяла. Но время шло, и известий не было. Она уповала на поход в институт отца, который прояснил бы ситуацию. Так и договорились: придет — позвонит оттуда. Но и звонок отца ничего не прояснил. Все говорили, что ушел, как обычно, около полуночи. И тут Аня всерьез забеспокоилась: что могло приключиться, что с ее мужем?

И когда около двух часов дня раздался звонок в дверь, и Анна выскочила, чтобы открыть дверь и увидела своего мужа, ей стало страшно. Он стоял весь помятый, рубашка болталась поверх брюк, но главное, что от него шел явный запах перегара. И лицо. Самым страшным было лицо, которое в один миг стало чужим и выдавало все: откровенное отчуждение, которое прямо на глазах разрасталось, превращаясь в пропасть, и Ане показалось, что на нем она прочла происшедшее этой ночью. А то, что он был цел, здоров и невредим, говорил тот факт, что держался он вполне уверенно, даже вызывающе. Что-то смялось в груди, сердце снова, как уже бывало не раз, но очень давно, струнулось с места и вновь побежало. И это было тем более невыносимо и больно потому, что именно накануне Анна поняла, что беременна. Она смотрела на своего

мужа, а он и не пытался отводить взгляд. Его природное стремление к правде и даже упивание этой правдой здесь срабатывало против него: он был так нелеп в этом своем желании признания своей вины и отступничества, что Ане не оставалось ничего, как молча пропустить его в дом и уйти на кухню. Расспросы казались бессмысленными и бесполезными. Он тоже замкнулся и молчал. И становилось ясно, что он и не желает объясняться, настолько мерзким выглядел этот поступок, что никакое объяснение не смогло бы спасти положение. А он на другом и не настаивал. Он не врал, не изворачивался, не говорил про неидушие никуда трамваи. Он просто встал в позу, и поза эта говорила о том, что случилось непоправимое. И надо было соображать, что делать, как быть, что предпринять: выгонять, объясняться, молить о чем-то, выслушивать нелепые рассказы? Что? Что было делать?

Молчали оба и только приход вечером отца свел всех на кухню.

— Мы переполошились, что с тобой что-то приключилось, Лев Леонидович. — Отец тоже начал что-то понимать и потому, как это делал в исключительных случаях теперь, взялся за сигарету. — Да, поволновались. Но, вижу, у тебя все в порядке. Так ведь? Что ты все молчишь? Или совсем дела плохи? А, Анна?

— Да, папа, плохи. И Лев, скорей всего, скоро, даже завтра, скорей всего, съедет от нас. Он в театре что-то там попросит, я не знаю, но так... — Она вдруг встала и вышла, ее затошнило и стало нехорошо. Однако она молчала и не собиралась говорить ни слова о своем положении.

— Василий Никифорович, я завтра же уеду. Все, больше мне сказать нечего. — Лев поднялся и вышел из кухни, потом взял подушку и лег на лоджии на старенькую кушетку, тем самым словно подтверждая, что случившееся с ним — весьма серьезно и что рассчитывать на прощение или снисхождение он и не собирается.

А на завтра случилось то, что не ожидал никто. Так и не объяснившись, не рассказав о себе и двух слов, он забрал свои вещи и переехал к артисту Курицыну, который давно жил один и был хорош еще и тем, что ни о чем не спрашивал и не читал нравоучения. Он просто принимал ситуацию, и все. Это редкостное качество он приобрел, наверное, с рождением и укрепил его в сложной своей работе в театре, когда уже кончились роли и надо было просто выживать. Он и жил. Но не мешая никому, а достойно в своей бедности и одиночестве.

К нему с его согласия и предложения и перебрался Лев Леонидович Платов. Сказал Курицыну всего несколько слов и в конце попросился на постой, предполагая, что это ненадолго. И получил согласие.

И началась новая, совсем непривычная жизнь. Аня пока ничего не говорила отцу, что с ней, молчала. Ходила на работу и всякий раз испытывала нечто вроде потрясения, когда встречала Льва. Он здоровался, но, зная характер Анны, уже понимал, что вызывать ее на разговоры и объяснения — совершенно бессмысленно. Если она отрезала, так отрезала. Однажды уступила, больше не позволит. Она не спрашивала, по-прежнему ничего не выясняла, она просто поняла, что произошло то, что она не сможет простить. И Лев понимал: просить, настаивать бесполезно. То, что с ним произошло, не имело к Ане никакого отношения и оставалось только его личным шагом, поэтому его судьба и жизнь оставались с ним, а Анина — с ней. Дома как-то ненавязчиво тоже было сказано, что все разговоры о Льве не принимаются, что дальше они будут жить сами, без него. И отец не возражал: он тоже знал характер своей дочери.

Часто приходила Лида, которая не досаждала Ане, никак не раздражала ее и главное — в ней не рождалось ревности. Она рассудила, что не только время прошло, но отец, он не должен оставаться один и раньше времени приближаться к болячкам.

Наверное, именно Лида первая заметила состояние Ани и поделилась своими наблюдениями с Василием. И однажды он спросил: «Дочка, а что же делать-то? Ты готова?» И Аня ответила: «Да». Больше он не вмешивался в это трудное дело, которое взвалила на свои плечи его дочь. Он переживал больше всего за то, что ежедневно она видит ЕГО, а, стало быть, переживает еще больше. И Аня, словно почувствовав, поняв переживания отца, однажды сказала: «Ты меня знаешь. Я как отрезала. Не думаю о нем и не люблю. Правда. Все умерло». Отец поверил и решил довериться дочери и в этом вопросе.

В очередной раз, когда из Ленинграда позвонил Олег, Аня как обычно сказала, что все хорошо, по-прежнему. Однако что-то, видимо, в ее тоне, голосе не позволило ему поверить в то, что все так уж хорошо. Он спросил:

— Аня, я давно собираюсь приехать. И, наверное, через несколько дней буду. Как, не прогонишь?

— Об этом не спрашивают. Хотел бы, давно приехал. Годы и века прошли.

— Аня, что-то случилось, скажи.

— Может, и случилось, но все уже в прошлом.

— Понятно.

— Да что тебе может быть понятно? Никому ничего не может быть понятно.

— Ты убедила меня, у тебя не все нормально.

— Главное — я еще нормальная. — И Аня натужно засмеялась.

— Держись, Анна, держись. — И он положил трубку.

А еще через день она увидела Олега у своего дома и удивилась не этому обстоятельству, а тому, что не первый мужчина вот так встречает ее у дома. Был Алексей, потом ее Лев и вот теперь — Олег. Аня всегда говорила, что приезжать нельзя, что это повредит ее семейному счастью. И Олег соглашался. Но вот что-то сместилось, он это уловил и больше не стал слушаться.

Первое, что пришло в голову, это спросить, как дела. Сознавая всю нелепость такого вопроса, оба смутились и затем засмеялись.

— Ты сегодня приехал? Зачем? Не волнуйся!

— Я не волнуюсь. Я должен был видеть тебя. Больше медлить было невозможно. Что случилось, Аня?

— Случилось? Да многое, что об этом говорить? Ты мне не поможешь.

Они шли мимо консерватории, затем по Пушкинской улице и сами не заметили, как вскоре оказались в сквере. Сели на лавочку, и Аня сама не поняла, как получилось, что она не удержалась и заплакала. Олег взял ее за руки и сказал:

— Твое положение не позволяло мне сделать то, что, наверно, сделать должен был давно. Ты замужем. А сейчас?

— Сейчас? — Она тяжело вздохнула. — Нет, теперь нет, и никого не жду. Потому что...

— Говори.

— Потому что я жду ребенка. И буду одна. Так случилось, так я решила. И жалости мне не нужно.

Олег замолчал, осознавая то, что сказала Аня, а потом, все так же сжимая ее руки, неожиданно сказал:

— Это невозможно...

— Что невозможно? — перебила его Аня.

— Видеть его ежедневно, спотыкаться об него в театре, играть, наконец, вместе на сцене... Нет, это невозможно. Послушай, Аня, надо менять эту ситуацию.

— Как менять? Что тут поменяешь? А я и не отчаиваюсь.

— Это понятно, однако менять надо. Давай уедем. Ты травмируешь себя, ребенка. Не волнуйся, я ни на что не претендую, я просто буду помогать тебе. Ты и не заметишь. Вернее...

Видно было, что он очень взволнован и не сразу находит нужные слова.

— О чем ты говоришь? Какой отъезд? Подожди, ты имеешь в виду Ленинград?

— Конечно, что же еще?!

— Да? А где я буду работать?

— Нигде. Какая работа? Не надо тебе пока работать, отдохни.

— А ты меня будешь содержать. Да?

— Нет, не содержать. У меня такая работа, что твоя помощь могла бы приносить не только лично мне пользу, но, зная твою щепетильность, это не благотворительность, но реальная работа.

— Бумаги переписывать?

— Немного иное, не бумаги.

— Говори, что же?

— Видишь ли, ты меня прости, я не все тебе сказал о своей жизни. Да ты и не спрашивала. Словом, у меня есть сын. Ему три года. Мамы у него нет. А учить его надо.

— Так ты хочешь, чтобы я стала няней?

— Нет, снова не то. Не няней, а помощницей. Чтобы мы жили у меня и чтобы... словом, ты можешь мне довериться? Вот посмотришь, все получится. Не буду говорить тебе сейчас громких слов, но я ждал тебя. Может, всегда.

— А где его мама?

— Мы все тогда чуть не погибли. Но вот, не выжила только она. Ехали за город на автомобиле.

— И как зовут мальчика?

— Коля.

— Это хорошо. У меня дедушка, мамин папа, был Коля.

— Так как?

— Нет, Олег, спасибо, что пожалел...

— Нет, ты не поняла, это совсем не то...

— Олег, нет потому, что это ответственность. Пришла — ушла. А если...

— Я понял. Если не сможешь.

— Да, если не смогу...

— Ну что загадывать? Все разве распишешь? Что забегать вперед?

— Ты забыл об одном: я без театра не смогу. Он —

моя жизнь. Подводят люди, а он — нет, как бы там не складывалось.

— Послушай, но ведь можно по-другому. Побудь там, отойди душой, успокойся, родится ребенок — и можно будет и там работать. Зачем тебе здесь эти испытания? А захочешь, и вернуться тоже не проблема. Понимаешь, это все не суть важно: здесь, там. Важно, чтобы ты взяла и решилась. И еще поверила мне.

— Я мало знаю тебя.

— Это не довод. Вот, ты знала человека не один год, и что?

— Да...

— У меня много недостатков, но на меня можно положиться, это точно. Так как?

— Идем. Я не могу ничего сказать. Идем домой.

— Идем, я должен увидеть твоего папу.

Они вернулись той же дорогой, что и шли в центр. Зашли в гастроном на Пушкинской и кое-что купили. Там выбор был небольшой, да все и не рассчитывали на продукты в гастрономе, шли, как правило, на Алайский.

Дождались отца Ани, который пришел после своих занятий в институте и был уставший. Аня давно научилась очень неплохо готовить и за время отсутствия отца успела приготовить и суп, и отварить гречку и сделать котлеты.

Василий Никифорович, как обычно, радушно встретил гостя, тем более они уже виделись в Ленинграде. Но он не мог не заметить, что его дочь, характер которой он прекрасно изучил, была, что называется, не в своей тарелке. И точно.

— Пап, Олег заночует у нас, ты не против?

— Конечно, стели, пусть располагается.

И тут вклинился Олег. Он был очень взволнован по-прежнему, как и днем, но держался уверенно и с достоинством.

— Я вот что хотел сказать, Василий Никифорович. Аня мне все рассказала. Я бы просил вашего содействия.

— Да в чем, скажите, может, помогу?

— В том, чтобы мы оба уехали. Уехали ко мне. И пусть Анна отдохнет от сложностей, на нее свалившихся, от работы, от всего.

— Ну, молодой человек, это вы мне трудную задачу задаете. Она у нас сама все решает. Я только свое мнение могу высказать. Согласен, устала. Но сразу хочу предупредить: без театра она не сможет, и не надейтесь.

— Это я как раз понимаю.

— Ну, стало быть, остальное решит она, вы оба. Что ж, комната есть, пусть немного придет в себя, ей сейчас это полезно.

— Благодарю вас.

И тут Аня подошла к отцу, обняла его за шею сзади и сказала:

— Пап, ну ты как всегда. В смысле, даешь мне право все решить самой. Я буду думать, обещаю.

— Да, еще вот что, — снова сказал Олег. — У меня есть трехлетний сын. Я особо задерживаться не могу, хотя он и с бабушкой.

— Сын... Понятно, — сказал отец, и на этом беседа была закончена.

Всю ночь Аня пыталась обдумать всю ситуацию и принять решение. Понимала, что перед ней хороший надежный человек, но пока он оставался только другом, не более. Он был очень симпатичным, чувствовалась какая-то внутренняя сила этого молодого мужчины. Был он ухожен, все на нем было выглаженное, чистое. Следил за собой весьма и весьма, и это при его-то заботах... Но решение не приходило, и Аня положила на утро и, лишь когда стало светать, успела немного поспать.

Утром Олег проводил ее до театра, сказал, что прогуляет по городу и снова дождет ее. Так и получилось. И оба увидели, как из проходной вышел Лев, несколько замешкался, но виду не подал и пошел дальше. Однако на этом ничего не закончилось и вечером, после Аниного спектакля, когда Олег снова стоял и

ждал ее у выхода, она вышла не одна, а следом тут же появился Лев. Он вызывающе подошел к Олегу и в упор спросил, что он тут делает. Олег очень естественно ответил, что ждет Анну.

— И почему это вы ее тут ждете? Вы, помнится, из других широт, северных?

— Да, ваш земляк, можно сказать.

— Но это не дает вам право ждать мою жену...

— Жену? Какая она вам жена? Она давно вам не жена.

И тут Лев неожиданно схватил Олега за ворот пиджака, приблизил к себе, но получил такой отпор, что отлетел в сторону и упал на тротуар.

— Я убью тебя за нее.

— Не спеши. Остынь. Убивать не меня надо,— сказал Олег, поднимая упавшего. — Что теперь угрожать? Раньше надо было думать.

— А я и думал. Что, не может человек ошибаться?

— Нет. В любви и верности — нет. Это точно.

— Ах, какой праведник. Да я всего раз, всего один раз оступился, а со мной и говорить, и общаться не желают. Пытка, а не жизнь.

— Вот и живи в такой пытке. Человек ты или кто? Сам все определил. Пошли, Анна. — И Олег увлек Аню вперед, подальше от театра.

Аня шла молча и никак не комментировала происшедшее. Нашелся Олег.

— Аня, ты же видишь, он слабый, очень слабый человек. Давай уедем, это и впрямь пытка, он здесь прав.

— Дай еще одну ночь.

— Хорошо, но завтра мы должны все, все решить.

— Договорились.

До дома дошли молча, и Аня еще раз удивилась, как уверен и как силен человек, шагающий сейчас с ней. А может, и правда, уехать и не видеть хоть какое-то время их всех? И все уляжется, успокоится? Она обернулась к Олегу и решительно сказала: «А знаешь, я все решила. Завтра едем. С утра берем билеты».

И уже эту ночь Аня спала совершенно спокойно,

словно только и ждала, как бы скорей уехать из города в свою маленькую комнату на улице Казанской.

И снова был вокзал, почти трехдневный путь, и другой вокзал, и снова путь, и только на четвертые сутки показался город ее рождения — Ленинград.

Уже в дороге было решено, что поедут не к ней, а, естественно, к Олегу. И попробуют. Пока не определяли, что именно, просто попробуют жить, познакомиться, общаться...

Встретила мама, которая сразу приняла Аню и только показала пальцем на губы: мол, Коля еще спит. Больше всего Аня думала именно об этой встрече — с сыном Олега.

Первое, что сказал Коля, когда проснулся, было:

— Это ты? Ты приехала? Я так и знал. Я ждал и знал, ты приедешь. И бабуля еще сказала.

— Да, вот, приехала.

— А не уедешь больше? А то мне с бабулей скучно.

— А папа? У тебя же есть еще папа?

— С папой не все можно обсудить. Например, он не любит, чтобы я играл в куклы. А мне хочется.

— Ну и играй!

— А ты? Будешь со мной?

— Конечно, буду.

— Вот, моя любимая кукла, ее зовут Ира, — и Коля показал Ане свою игрушку.

Был он худенький, очень бледный, но какой-то жар был в нем, такой был жизнерадостный и веселый, несмотря на свою бледность. И Ане стало не то что жалко мальчика, просто она подумала, что предать его было бы совершенно недопустимо. Как еще Олег мог отважиться на такое? Что он особенного знает о ней? Ничего, пожалуй. Да и возможно ли в таком деле, как чувства, полагаться на конкретные знания и логику? Есть ощущения, интуиция, которые либо подводят, либо — нет, и ты им полностью доверяешься. По крайней мере и с Аней, и с Олегом, да и со Львом было именно так. Наверное, и отец увидел свою Лиду не сразу, но ведь доверился ей почему-то. И правда, что-

то в ней было такое, что располагало и казалось, что такой человек не предаст и с ним можно идти по жизни. Такая была и Светка, с которой в последний день состоялся прощальный разговор. Молодец она, ни упреков, ни подозрений. Приняла ситуацию — и все! Еще сказала, что непременно поможет со всеми документами, и сама же подсказала Ане написать не заявление об уходе, чтоб не рвать все сразу, а просьбу об отпуске на три месяца по семейным обстоятельствам. И снова уверяла, что сможет на бумажном уровне все уладить.

И еще в этот последний день случилась короткая встреча с Изольдой Петровной. У Ани уже был виден живот, и режиссер спросила ее о самочувствии. И тут Аня не выдержала, сказала, что так все сошлось, что лучше бы и вовсе никого не видеть и ни с кем не говорить.

— Это ты брось, — сказала Изольда. Ну, не заладилось, так что ж теперь, вешаться?

— Да и это вряд ли помогло бы!

— А ты глупости не говори, не знаешь, так не говори.

— Ага, не знаю... — протянула Анна, глядя на Изольду, которая сама, не спрашивая Аню и не ведая ни о каких ее планах, вдруг взяла и сказала: «Отдохнуть тебе не мешает. Роли, роли уже не помещаются. Иногда надо взять и ото всего отойти». — «А как же репертуар, спектакли?» — «Ну, дорогая, есть такое слово, как замены. Заменим, что ж делать? Не помирать же, в самом деле!»

И странное дело: именно эта встреча облегчила дальнейшее, у Ани словно крылья выросли. Ее, такую ответственную, не просто отпускали, скрепя сердце, но еще и подсказали, что так — к лучшему! И она поехала.

Мама Олега, Екатерина Дмитриевна, была на редкость смешливой и доброжелательной женщиной. Она не умела выяснять отношения, мало копалась в чувствах. Она понимала одно: необходимо растить детей, и делала для этого все возможное и невозможное. И

Аню саму не нагружала расспросами, душещипательными беседами, а снова делала и делала свое привычное дело: приняла еще одного ребенка, за которым требовался уход и которому нужна была опора.

Как-то без особых усилий Аня приняла новую для себя роль и ношу. Она не ходила на работу, но и не тосковала о ней, вот что было самое странное. А ноша — это был чудный ребенок Коля, который не просто привязался к новой маме, которую он считал единственной своей мамой, но не отпускал ни на минуту. Даже папе Олегу без всяких слез и препирательств легко дозволялось отлучаться. Но Ане — ни за что! Аня глядела на этого малыша и у нее крепло новое, неизведанное прежде чувство — ощущение своей нужности, необходимости ребенку, чувство любви и заботы. Она и о своем будущем малыше думала теперь иначе, без той горечи, которая была там, дома. Все словно очистилось и появилось светлое пространство, в котором можно было не только жить, но радоваться, размышлять, ощущать себя нужной.

И к Олегу привязывалась все больше. А он и не настаивал на чем-то ином. Часто они гуляли, вместе ездили на Смоленское кладбище к Аниной маме, и это очень ее успокаивало. Спала она в отдельной маленькой комнате, бабушка — с Колей, а Олег сидел в своей до первых, как говорится, петухов. Работал и правда очень много, виделись они только вечерами и иногда ходили в филармонию — страсть Олега. Театры были какой-то для обоих закрытой темой. И делалось это не специально, а просто потому, что не хотелось о них говорить.

Оба знали, что Ане еще предстоит делать выбор, что профессию свою она никогда не оставит, но пока... Пока у нее была другая задача. Нужно было гулять, хорошо питаться, хорошо себя чувствовать и ждать. Конечно, было не все так благостно. Например, она очень переживала, что деньги высылает отец и что ему приходится много работать. Но однажды Олег сам завел разговор на щекотливую тему.

— Ты опять получила перевод? Напрасно. Скажи отцу, что это лишнее. Нам всем вполне хватает, не переживай ты так.

— Не могу, пока не могу. Что я буду сидеть так? Неловко.

— Но ты же по необходимости! Какие переживания? Потом, ну, после пойдешь на работу. И то — не стоит спешить.

— Олег, ты меня спасаешь, да?

— Нет, Анечка, здесь другое. Поймешь когда-нибудь, не теперь. Это помимо меня, это совсем не контролируется. А называется просто — чувство. Слыхала?

— Да, что-то такое слышала.

— Ну, вот и здорово. А тебя я ни к чему не призываю. Пусть идет время, все в нем.

— Тургенев когда-то сказал, что все чувства ведут к любви, все кроме благодарности. Не боишься?

— Видишь ли, я вообще в жизни мало чего боюсь. И твоей благодарности — тоже.

— Я боюсь, что ты меня спасаешь, а дальше что?

— А дальше, замечательная Анечка, ты родишь ребенка, посидишь с ним, с нами, потом выйдешь на работу, и так будет продолжаться жизнь.

— И все?

— Ничего себе! И этого тебе мало?

— Не то что мало, а как-то буднично ты об этом.

— Вовсе нет. Знаешь, в этой ежедневной ясности, поступательности жизни кроется один из самых ее важных принципов. Никакой экзальтации, неожиданностей, а размеренность и простота. Когда-нибудь ты оценишь такой подход. Представь себе, он не уничтожает творчества, не против открытий. Но без страшной потери душевных сил.

— В моем деле без душевных затрат невозможно.

— Наверное. Но и там нужно уметь распределять силы, а не попросту гробить их.

Аня обдумывала слова Олега и понимала, почему у него такая профессия, почему именно он — философ. Так ей жить, наверное, не удастся никогда. А вот он,

оказывается, может, да еще находит в этом радость, удовольствие. Неужели она так и будет мучиться воспоминаниями, прошлым и никогда не придет к такой ясности и открытости? Может, действительно, время сможет многое прояснить и поможет ей? Да и сами события — тоже?

Все может быть, решила Анна, потому что давно дала себе зарок даже в мыслях не возвращаться к прошлой своей любви. И многое ей удавалось. Да и положение обязывало: приходилось хлопотать, много времени отдавать занятиям, на которые она стала ходить, где учили будущих мам. И даже приглашали будущих пап, но Олег сказал, что школу по воспитанию и выращиванию своего ребенка он прошел такую, что в другую ходить не станет. А уж если он сказал, то так и будет. Да, так и было. А еще внимание и уход за Колей, книжки, которые вместе читали, игры, прогулки, да много чего. Главное — это была очень здоровая семья, где принципы и уклад жизни не очень-то отличался от ее собственной и не приходилось перестраиваться и заново обрастать новыми привычками. Были, разумеется, свои особенности, где ж их нет, но принять их было вполне возможно.

Например, Екатерина Дмитриевна любила на кухне включать радио и готовить под чью-то речь или музыку. Аня сначала удивлялась, постепенно привыкла, а потом и сама стала включать приемник. Еще порядок в ванной. Там привыкли не накапливать белье, стирать чуть ли не каждый день. Аня же к такой бодрости по постирке белья тоже не сразу привыкла. Но это были мелочи, штрихи, которые так или иначе обуславливали особенности порядка в доме. А то, что он имелся, было замечательно.

Мама Олега любила рукодельничать и готовилась к Аниным родам, помногу вышивая, распарывая, штопая. Она не особенно говорила об этом, и было понятно, что делает она это не напоказ. Вообще весь уклад жизни был очень естественным и совсем не показательным.

Люди просто любили друг друга и не собирались это скрывать или, наоборот, сильно демонстрировать.

Приближались сроки родов, и Аня чувствовала себя не так бодро, как все месяцы до этого. Могла дольше обычного поспать, не выходить к завтраку, но даже Колю старались не пускать в ее комнату, чтобы малыш не потревожил ее.

Уже совсем скоро предполагались роды, но они с Олегом все равно продолжали ходить в филармонию. И вот однажды, когда в городе запахло весной и можно было, наконец, сбросить тяжелую одежду, надеть плащ и туфли, они вновь отправились на Невский. Играл пианист из Германии, из ГДР, и они взяли билеты. Первую часть, где был Шуман и Лист, она выдержала не только спокойно, но с удовольствием и ничего не беспокоило ее. Однако после антракта все же стало душно и нехорошо, и она вышла на улицу. Олега попросила остаться, а сама встала у больших красивых дверей и посмотрела вокруг. И вдруг поймала себя на мысли, что жизнь и правда хороша и удивительна, можно сказать, прекрасна. Воздух довершал это приподнятое состояние духа, он был свеж, ясен и словно говорил вслед за Аней, вторя ей: «Конечно, хорошо, какие могут быть сомнения?»

Прошедшие месяцы помогли ей во многом. Напрямую, успокоиться и понять, что жить можно везде, лишь бы знать, зачем и что хочешь. Ну, как в роли, когда ставится задача и к ней идешь. Идешь, преодолевая все, и тогда получается характер и тогда вполне можно говорить и об образе. Да, только знать, зачем. И не только успокоилась Аня, но появилась еще и оценка другая, оценка человека. Не только роли и одаренность были теперь мерилем для нее таланта и значимости, но и в простых людях, отнюдь не артистах она отыскивала те черты и свойства, которые были ей вполне симпатичны. Нет, все-таки здорово в Ленинграде! Какой-то он действительно особенный, неповторимый. Даже воздух здесь другой, не такой, как в ее Азии или в Москве.

Когда она уже решила вернуться, вдруг почувствовала что-то неладное. По ногам что-то заструилось, они обмякли, и ей пришлось облокотиться об эти замечательные двери. Билетерша заметила, что ей нехорошо, подошла и спросила, что сделать и есть ли с ней кто-то. Аня ответила, что да, муж и что сидит он в седьмом ряду, но пока не стоит ничего делать, может, отпустит. И снова схватилась за дверь. Через несколько минут вроде бы стало полегче, и она вновь глянула на маленькую улицу, ведущую к зданию филармонии, на сам фасад, наконец, на милую женщину, которая встревожилась и хотела позвать мужа. Однако делать этого не пришлось, так как вскоре он появился сам.

- Аня, ты что? Плохо?
- Наверное, что-то происходит. Подождем.
- Что ждать? В больницу надо.
- Сейчас, сейчас.

Она вдруг увидела Олега словно другими глазами. Он был все так же сдержан, но волнение было столь сильно, что он едва сдерживался, чтобы не подхватить ее и не понести. Билетерша сказала, что, наверное, пора вызывать скорую. Так и сделали. А пока ехала машина, Аня успела сказать Олегу, что сегодня она особенно счастлива и что в этом его заслуга.

— Ничего такого, какая заслуга?! Ты не об этом сейчас. Но не волнуйся.

— А я и не волнуюсь, — сказала Аня, не уступая волнению и правда, а только все больше прислушиваясь к себе, к тому, что начинало происходить в ее теле.

— Идем, присядешь там, ведь можно? — обратился он к служащей.

— Конечно, какие вопросы, идемте, — и она стала помогать Олегу вести Анну. Однако та улыбнулась, сказала, что все хорошо и что, скорей всего, так и будет дальше, и пошла сама.

Они присели в комнате, которая была администраторской. Там был и маленький диван, но Аня не стала ложиться, все еще бодро воспринимая происходящее.

Подъехала скорая, и врач все понял, сказал, что роддом совсем недалеко, и они отправились в самое важное путешествие по городу, которое, хотя и длилось не так долго, запомнилось Ане на всю жизнь. Нет, зелени еще не было, но город, казалось, ждет ее со дня на день, примерно, как она сейчас своего главного часа. «Такое чувство сейчас, оно похоже на то, когда ожидаешь спектакль, премьеру. Руки холодеют, ты словно и не на земле, и не в реальности, а где-то далеко-далеко от нее. Очень похоже». Олег только держал ее руки и старался их согреть. «Интересно, почему они такие холодные?» — думал он, а ей говорил, что все, что нужно, принесет и чтобы она вела себя и там, как в своих лучших премьерях: с достоинством и смело.

«А я и правда ничего не боюсь. Мне с тобой ничего не страшно», — добавила она, пожимая его руку.

Доехали, он хотел еще сделать несколько шагов, но его остановили, сказали, что мужчине дальше нельзя. «Ничего, папаша, скоро увидите», — пообещали ему, и его Аню увели.

А там, за совсем другими дверями, не такими большими и красивыми, все выглядело так как в театре. Каждый был занят своим делом, вел свою партию, играл свою роль. И Аню это снова успокоило. Ее подготовили, отвели в палату, и там, среди еще четырех женщин в таком же положении, она стала ждать.

Полезно было понаблюдать, как ведут себя другие, страшно ли все происходящее или можно вытерпеть. Наверное, можно, ведь люди как-то появляются на свет? И, говорят, все забывается, даже самая сильная боль.

Женщины были разного возраста, и самая старшая, пришедшая рожать уже в четвертый раз, терпеливо сносила схватки и уже вот-вот должна была уйти в другую палату. Она-то и сказала Ане: «В первый раз-то? Понятно. Совет дам. Думай не о том, чтобы все скорей закончилось, а чтобы все продолжалось без конца. Так легче. И кто родится — вообще не думай. Из интеллигенции, видно. Но терпеливая. Не бойсь, муж-то есть?» Аня подумала и сказала, что есть. Этот

маленький обман был как нельзя кстати, так как пришла нянечка и сказала, что муж просил передать передачку. И отдала пакет. Там было совершенно новое белье для самой Ани, халатик, сшитый Екатериной Дмитриевной, и еда. Это, видно, они успели собрать заранее, не за те же пару часов, что Аня была в больнице. Но для ребенка ничего не было, так и раньше условились, чтобы выполнить все необходимые условия по приметам и традициям.

Но пришло и то время, когда стало не до размышлений и разговоров. Боль, одна сплошная и неотступная, накрыла Аню, и она думала (в моменты, когда еще могла о чем-то думать), что это не кончится никогда. Она давно дала себе зарок не кричать, вести себя достойно. Но все обещания себе очень скоро улетучились, и она и кричала, и просила, и умоляла, чтобы все прошло хорошо, чтобы не навредили ее ребенку. Она уже любила его, хотя еще не знала, кто, какой. И тогда, когда уже казалось, что ее страдания непереносимы, раздался крик, который явно принадлежал не ей. Она даже выпала на мгновение из реальности. Боже мой, кто? Не я же так кричу? И в ту же секунду поняла, что все, свершилось, что сейчас, еще через секунду она узнает все. И правильно, ей показали тельце, которое исторгало такой мощный крик, что и правда можно было подумать, что голос принадлежал не ему. «Вот, милая, полюбуйся, на свою девочку. Имя-то есть?» Имя? Боже мой, имя, она и не подумала, что надо его назвать сразу же, здесь. Да, как же, есть, есть имя, сейчас! И все, что она могла произнести, было: «Пелагея!»

«Кричи, кричи, дорогая, Пелагеюшка! Кричи, радуйся жизни!» — только и стучало в висках.

Когда Аню привезли в палату, она увидела, что осталось только одна женщина, которая уже охала, вскрикивала, готовилась, словом. «Ну, как, как, дорогая?» — «Все хорошо», — наконец сказала Анна, и это была правда. Все хорошо! — это был ее девиз, ее готовность номер один на все случаи жизни. И она уже твердо знала, что будет рожать еще, что действительно, пра-

вы женщины, даже такая сильная боль забывается. Будет! — это было самое главное. И еще она подумала об Олеге, которого назвали мужем. Нет, пока этого сказать она не могла, но что-то несомненно произошло с ее душой, не только с телом. Она родила! Ро-ди-ла! И, значит, сможет, сделает еще много-много. Непременно!

Она обмякла, захотелось спать, но сквозь это желание, через желание восстановить силы просачивалась все же другая: как ее девочка, все ли у нее в порядке, когда ей ее принесут? И, думая обо всем этом, она все же проваливалась в сон и видела луг, огромный и почти синий, сплошь состоящий из анютиных глазок, васильков и колокольчиков. Все они светились, колыхались на ветерке и, действительно, их обдувал свежий, пахнувший чем-то весенним ветер. Запах был таким сильным, что Аня открыла глаза и увидела, что в палате никого нет, что она совсем одна и что с ней творится что-то неладное. Голова раскалывалась, тело горело, но ветер увлекал ее все больше, и она уже не могла сопротивляться ему. Ее подхватило и понесло куда-то, где запах становился просто опьяняющим и даже удушливым, и когда она снова открыла глаза, то увидела, что это не ее палата, а большая, с белыми стенами комната, что вокруг нее люди, все говорят, много так говорят и что-то стараются внушить и ей, но она, подхваченная все тем же дуновением, все парила и летела, летала.

Когда наконец закончилось это парение, она открыла глаза, увидела над собой лицо незнакомой женщины и спросила, кончился ли ветер. Ей ответили, сжимая ее руку и считая пульс, что и ветер позади, да и сама опасность, и что уже утро, и было совсем не до веселых картинок, которые, как видно, окружали Аню, когда ей было плохо и температура поднималась все выше и выше. «А запах что это был за запах?» — спросила она, и ей ответили, что она побывала в операционной и что опасность теперь позади. «А девочка, моя дочка, где она?» — «Вот окрепнешь, тогда и принесем.

А сейчас спи. Такая твоя задача». Аня привыкла выполнять задачи и с удовольствием подчинилась и этой. Она спала долго и проснулась лишь тогда, когда над собой услышала голос: «Просыпайся, все хорошо теперь. Так, во сне и переболела. А теперь — готовься». И действительно, вскоре она сумела подняться, даже и присела на кровати, а потом ее снова готовили, и затем она увидела свою девочку, которой дала такое редкое, такое необычное имя. Так звали ее прабабушку, она всегда помнила об этом и хотела, чтобы память и любовь к своей семье соединились в новом существе, рожденном ею. Пелагея сразу принялась сосать, и Аня, ставшая мамой, почувствовала, впервые в жизни поняла, что есть вещи поважнее даже театра и что вот сейчас она почти понимает, что с ней. И что любовь к дочке сделается со временем самой главной ее заботой и смыслом жизни. И все, все, все исполнится и будет. Будет! Она кормила, вытирала слезы и постепенно начинала верить, что скоро, уже даже сейчас началась новая, еще неизведанная жизнь, в которой не одна только Аня станет главной. И что ее история, связанная со Львом, закончилась, и что начинается новая, совсем-совсем. И в ней главное место отведено только появившейся жизни. А уже потом будет театр и все остальное. И еще Олег, непременно.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### КОГДА-НИБУДЬ ВСЁ ВЕРНЁТСЯ

*И тут он вспомнил, как давно, еще за несколько веков до нашей веры, он видел сон. В котором побеждал врагов. Всех: и нападавших на Русь, и совсем из другого времени, из других пространств и краев – Древней Греции, где тоже были сражения, и он даже общался с Александром Македонским. Он мог перевоплощаться в любого человека, становясь разными личностями: и Аристотелем, и Еврипидом, и позже – Микеланджело, которому становились подвластны самые невыразительные, самые грубые куски камня. И многими, многими. Главное, что он запросто перенимал их дело, их умение, их удивительное ремесло: философа, драматурга, художника. И потом он понял простую вещь: жить надо вот так же, как эти люди. Даже если ты не художник и вообще ничего не умеешь. Но главное – творить и что-то нести в этот мир. Идею, мысль. Картину, вязаное покрывало, стихотворение. Хоть что-нибудь. И он укрепился в том, что мир и свобода – совсем не отвлеченные понятия, с ними действительно можно жить и быть в ладу. Даже с этой окаянной птицей.*

Когда Аня подняла голову и увидела Екатерину Дмитриевну, то очень удивилась. Здесь царили такие строгие порядки, так покрикивали на нерадивых рожениц, что она была даже расстроена: возможно ли подобное в таком заведении? Однако на деле выходило, что санитарочки – не самые злые на свете и все тебе сделают, если надо, и не будут ругать, и помогут, подскажут. И вот – мама Олега. Как она пробралась?

На все ее недоуменные вопросы пожилая женщина улыбнулась, даже и засмеялась, и сказала, что проработала в этом заведении целых тридцать семь лет, и что Аню привезли сюда по договоренности давнишней и что Олег все знал, только очень просил ничего не говорить, зная Анину щепетильность.

– А ты что же думала, так тебя с улицы и взяли и все условия создали? Хорошо бы, конечно, но и я тут была не последним человеком, столько детишек приняла. – И Аня устыдилась: ни разу она не спросила, кем и где работала Екатерина Дмитриевна, что вообще она делала в жизни, как сложилась эта жизнь. И та, словно услышав ее мысли, опередила:

– Ничего, времени у нас теперь будет много, все расскажу, все узнаешь.

– Видите, сама сосет. Какая хорошенькая.

– А то! Наша порода! – сказала женщина и Аня удивилась: неужели она думает, что это дочь Олега? И только собралась продолжить, как женщина поднялась и сказала, что все необходимое принесла, что скоро домой выпишут, что с врачами говорила, все обошлось, но жарко, говорят, было.

– Как ты сейчас?

– Сейчас? Еще не знаю. Вот, смотрю и думаю все.

– И что же ты думаешь?

– Все о том же: как жить и...

Однако Екатерина Дмитриевна не дала ей договорить и сказала простую вещь:

– Ты пока не думай, все само сладится. Девочка и правда замечательная.

И пошла. А Аня все смотрела на свою доченьку и не могла не думать, как все теперь будет и как они будут жить.

Скоро они оказались дома, и начались новые заботы и хлопоты. Сил у Ани было много, а мама Олега еще и помогала очень, так что справлялись. Самое смешное и трогательное было отношение Коли к своей сестренке. Ему долго объясняли, пока Ани не было, готовили, но он все понял по-своему.

– Мама, а вы все тут останетесь? Не уедете? Я же с ней гулять должен, так папа сказал.

– Куда ж я уеду? Нет, не волнуйся, больше я не уеду. А если что, так только вместе. Согласен?

Коленька действительно больше всего боялся отъезда своей мамы и старался вести себя очень хорошо, так,

что даже бабушка как-то сказала: «Не томись, сыночек, играй, да и пошуметь можно. Места хватает».

За последние полгода Коля заметно подрос и был не так бледен. Он явно успокоился и был уверен, что вся его семья никуда не денется, мама и папа, да и бабушка, и сестренка будут всегда вместе. Как обидишь такого мальчика, у которого такие мысли и такая любовь?! Вот и Аня думала — нет, обидеть невозможно, нужно его просто любить.

А со своими чувствами она пока справлялась плохо. Больше размышляла, чем отдавалась им. Но Олег вел себя по-прежнему корректно, сохраняя дистанцию, ни на чем не настаивая. Прогулки, общие обеды — все это было, как и общие стирки, игры и другие домашние заботы. Но через все это пробивались, хоть и медленно, и слабо, первые ростки Аниного чувства, которое светилось теперь не одной только благодарностью, но и чем-то другим еще. Пока Аня не давала этому названия, а ее и не торошили.

И однажды, когда бабушка отправилась на рынок, а Коленька гостил у своей тети, жившей не так далеко от их дома, Олег пришел почему-то рано и сразу прошел в ванную. Там включил колонку, долго отсутствовал, а потом вышел и изучающе посмотрел на Аню.

— Ты хочешь что-то сказать? — спросила она.

— Да, книга вышла. Моя большая книга.

— Здорово. А ты и не говорил.

— Конечно, до книги ли тебе?

— Нет, ты не молчи, никогда не молчи. Это как моя премьера, я же понимаю.

— Ну вот, вот и хорошо.

Аня подошла к Олегу и молча обняла его. Он не сопротивлялся. А только сильно стиснул ее в объятьях. Так они посидели какое-то время, а потом Аня сказала: «Идем? Идем, я прошу тебя», — и сама увела его в его комнату. И только там она почувствовала, как истосковалась по ласке, по мужской крепкой силе, по запаху, который исходило прекрасное тело ее Олега. Она все смотрела на него и не могла надыхаться, ус-

покоиться. Вдыхала и правда этот только ею ощущаемый запах и все больше погружалась в страсть, которая накрыла обоих и от которой уже было не убежать и не укрыться. Наконец-то Аня не думала ни о ком и ни о чем. А только впитывала в себя Олега, словно это была последняя, а не первая их близость, и все дышала и дышала, запоминая малейшие черточки на теле, на лице, улавливая и пряча глубоко внутрь не только его дыхание, но само обладание, само его существо. Она никак не могла насладиться, ей все было мало этого тела, тончайших звуков, самого осязания и, наконец, нескончаемого восторга, который рождала страсть. Прошло много времени, прежде чем Аня сама высвободилась и разъяла руки, прежде чем отпустила Олега. Они не произносили слов любви, было и так понятно, что любовь подкралась к ним и увлекла, и сразила. Олега — давно, а Аню совсем-совсем недавно. Но так долго, так мужественно упираясь и не желая сдаваться, шла к ней Анна. И все же сдалась, но не уступила, а сама, настойчиво и по собственному желанию стала погружаться в новое для себя состояние. Она даже не пыталась анализировать, так естественен и необходим был этот процесс, само постижение любви. Она просто отдавалась тому волшебству, что неожиданно и легко схватило ее и унесло. И она послушно и податливо летела, не желая ни на минуту расставаться со своим чудом. Она приобрела его только теперь, совсем недавно, а шла к нему, и приглядывалась, и мучилась давно, очень давно. Даже сама не знала, сколько. Просто так давно, как, наверное, и нужно было.

— Ты почему молчишь, скажи? — вдруг попросила она. И Олег еле высвободился из ее крепких рук, засмеялся неожиданно и очень похоже на свою маму и громко крикнул:

— Слов нет, ты их все забрала себе. Нет слов, есть только желания.

— Ах, еще есть?

— Они есть всегда!

— И ты молчал?

— А как же, нечего было делать, надо было властвовать над собой. Что я и делал.

— Вот глупости. Пришел бы и победил!

— Ага, к тебе придешь! Ты себя со стороны видела когда-нибудь? Так просто к тебе не добратся. Нужны века, огромные пространства, космическое время, и все это необходимо преодолеть, чтобы приобрести тебя. Поняла?

— Ах, ты, ненасытный философ. А что мы скажем маме?

— А ничего, она и так понимающая.

— Я заметила.

— Это хорошо. С сегодняшнего дня спим вместе. И делаем из твоей кельи детскую. Идет?

— Идет. Ты рад?

— Я ужасно рад. Я глупо рад, как последний, совсем последний глупый кролик.

— Почему кролик?

— Потому что они глупые, наверное.

— Я не знала.

— Ты еще многого не знаешь, но ничего, я за тебя возьмусь.

— И что будет?

— Во-первых, будешь мамой, потом актрисой, нет, потом женой, потом уже актрисой, величайшей актрисой всех времен и космических пространств. И о тебе узнает вся земля. И ей станет страшно, оттого что она жила себе и не знала, какая есть на этом свете, и у нее, в частности, женщина. И это — Анна! Понимаешь?

— Я сейчас ничего не понимаю и так этому рада.

Они поднялись, подошли оба к ребенку, и он впервые сказал, что давно, еще в первый день рождения дочки записал ее как свою дочь. И что так и есть на самом деле, и все только это и знают. И так и будет. «Поняла?» И еще он попросил, чтобы она не откладывала на потом свое заявление об уходе из театра, что это во многом облегчит здесь всякие бумаготворческие сложности. А их хватает.

Действительно, отправили письмо Светке, где Аня обо всем рассказала и приложила свое заявление об уходе, учитывая тот срок, который положен по беременности. И получалось, что она свободна теперь от работы вполне законно. А папа ее и вовсе успокоил и уверил, что в театре все нормально, обошлось, пришли новые, из института, что ничего страшного не произошло. Еще он сказал, что Лида перебралась к ним, и Аня порадовалась и одновременно пожалела отца: понимала, что ему уже одному трудно. Потеря мамы далась очень трудно, и хотя выходил он из этого мужественно, и вида не показывал, но болел, горько было, больно.

Они созванивались, но не особенно часто, а иногда и писали письма. Это было для обоих отдушиной, поскольку слова в трубке быстро растворялись, а письмо можно было перечитывать и держать в руках. И таких писем было шесть.

Аня каждый день гуляла с Пелагеей, возила ее на колясочке в парк, говорила с ней, хотя и понимала, что пока это — только звук ее голоса, не больше. И все же ей хотелось сообщить дочери о многом, что она и делала. Например, рассказывала о погоде, о том, что день рождения дочери — 24 мая — самый замечательный на свете, что уже поздняя осень и скоро наступит Новый год. А потом снова придет весна, самое любимое время года Анны, и они так и будут гулять, какая бы ни была погода. И дочка чутко, как казалось Ане, вслушивалась в ее слова, смотрела на нее, и с каждым днем взгляд этот становился все осмысленней.

Самое удивительное было в том, что она и правда была похожа на Олега. Крепенькая, светловолосая, с мудрым взглядом папы. И все бы хорошо, но с какого-то времени стали посещать Аню не просто воспоминания о театре, о работе, но о ролях, сыгранных и только возможных, которые еще только начинали разбирать и готовить. Например, о роли Катарини в комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Они со Львом

хотели подготовить парные сцены и даже уже стали этим заниматься и показать худсовету, чтобы по возможности, был поставлен сам спектакль. И роль эту Аня не забывала и теперь. Даже текст помнила, проходила его про себя ночами и все искала какие-нибудь штришочки, которые смогли бы раскрыть характер Катарины полно и совершенно. И действительно, находила, только сцены не было, да и показать стеснялась, так все в себе и носила.

Под самый Новый год она оставила Пелагеюшку бабушке и отправилась в центр города, который был совсем рядом, за покупками. Шла по Невскому и, как всякий раз, с любовью рассматривала дома, горожан, оживленные и вместе с тем гордые лица, одежду прохожих. Как же близок был ей этот город! Когда она проходила мимо очень красивого здания с высоченными окнами, колоннами, запахло чем-то таким волнующим и запретным, что она остановилась и посмотрела вверх. Это был театр. Сомнения покинули ее, и она, не отдавая себе отчета в том, что происходит, вошла в него.

Поднимаясь по массивной и вместе с тем изящной лестнице, она свободно миновала какие-то коридоры, пространства, поняла, где выход к гримеркам, и дальше ее повело чутье человека, руководствовавшегося только одним — необходимостью найти того, кто мог бы услышать ее и принять самое главное решение. И не было никаких сомнений в том, правильно ли она поступает. И она шла, шла как охотник, который вовремя увидел и теперь настигает свою добычу. Добычи-то как раз и не было никакой, важно было правильно сориентироваться и не проглядеть.

Тут она увидела дверь, на которой было красиво выведено «Главный режиссер». Она постучала, никто не ответил, она приоткрыла дверь и увидела разговаривающего по телефону мужчину. «Минуточку! Закройте!» Боже мой, неужели и с ней также отрывисто и неприветливо станут говорить? Да и будет ли говорить

вообще? Она стояла подле двери и смотрела на прихотливый рисунок на ее темной поверхности, которая свидетельствовала о том, что двери, как и этому зданию, много-много лет и что делали ее люди, очень уважающие свое дело. И еще она слышала голоса, которые поднимались откуда-то снизу, и вдруг не к месту вспомнила, что двери в проходной ее дорогого далекого театра совсем не такие, не такие массивные и парадные. Но они все равно зывали к человеку: войди, потрогай, я не так плоха. И еще она подумала, что утром Олег был особенно воодушевленным, может, что-то готовил, например сюрприз, иногда он проделывал такое, что приводило ее в совершеннейший восторг. А может, просто его внутренние побуждения, мысли приводили его в такое приподнятое состояние. Он переменялся, это было очевидно. И это радовало, потому что появилось, наконец, то, что давным-давно должно было оформиться в явно откровенное, открытое выражение глубоко спрятанного.

Аня подумала, что, наверное, телефонный разговор мог бы закончиться, и снова постучала в красивую дверь. «Зайдите!» — услышала она и толкнула массивную преграду. На нее молча смотрел человек с гладко зачесанными назад волосами, в красивом костюме, и сам был красив под стать всему тому великолепию, которое проступало и давило со всех сторон и которого было слишком много. Он вопросительно смотрел на Аню и ничего не произносил. Тогда сказала она:

— Я... я,— смело продолжила Аня, — актриса. — И тут же увидела ироническую усмешку на его подвижном лице.

— Приятно слышать. А главное — это такая большая редкость в этих стенах. — Усмешка сделалась более оформленной и выразительной. Он явно был настроен оптимистично. — И что же из этого? Кстати, где вы изволили служить? Или вы просто так, из убеждений? Или нет, по убеждению?

— Я актриса и хотела бы, чтобы вы меня послуша-

ли, — все более сердясь сказала Аня, не пытаясь скрыть своего настроения и своего неудовольствия по поводу того, как ее приняли.

— Интересно, это совсем интересно. Вы в нашем театре бывали?

— Бывала. Так вы будете меня слушать?

И тут ей показалось, что человек в красивом костюме впервые ее услышал и, может быть, увидел. По крайней мере, он с явным интересом посмотрел на нее снова и сказал:

— Вы полагаете, я должен?

— Я просто прошу, чтобы меня прослушали. А про «должен» я ничего не говорю.

— Понял. Идемте. — И на этих словах человек поднялся, пропустил галантно Анну вперед, одернул полы своего красивого пиджака и бросил короткое слово «вниз». Она уже ориентировалась в этих коридорах, потому что театральные коридоры, как бы замысловаты они ни были, все же в чем-то похожи друг друга.

И они оказались внизу. Аня, идя вслед за женщиной, думала, что они придут в какое-нибудь помещение, где она непременно прочтет что-то, но он был очень хитер, этот человек, и привел ее сразу на сцену. Расчет был прост: женщина, назвавшаяся актрисой, растеряется, если не актриса, и все быстро закончится.

Он жестом словно очертил круг — саму сцену, спустился вниз и приказал: «Слушаю вас, уважаемая». Медлить Аня не стала, только взглянула на сцену, единственный раз оглянувшись, помедлила и без всяких дополнительных вступлений произнесла:

— Воюете? Молили бы о мире!

К главенству, первенству вы все стремитесь?

В любви и послушании смиритесь!

Это были строки из «Укрощения строптивой», того знаменитого монолога, который в заключении пьесы произносит смирившаяся со своей участью Катарина и

призывающая всех нерадивых женщин последовать ее примеру.

— Не потому ли телом мы слабы,  
К занятиям тяжелым неспособны,  
Что наше сердце с телом заодно  
Во всех делах покорным быть должно?

Она все более утверждалась в правильности того, что говорит и что делает, и это все более и более поднимало звучание ее голоса, который взлетал высоко под колосники, сворачивался там в изумительной формы свирель и падал вниз, ясный, взволнованный и горячий. Она не видела, что там происходит с мужчиной в пиджаке, но четко понимала, что он там и что не слушать ее невозможно. И когда она произнесла слова:

— Ах, дерзкие, ничтожные вы черви!  
Мой дух был так же дерзок, как и ваш,  
И отвечать имел он больше права  
На слово словом, на укол — уколом.

Она услышала хлопок и замолчала.

Затем она увидела фигуру стоявшего мужчины и только хотела продолжить, как вдруг тот спросил: «Вы знаете, что настоящего поэта видно по одной строке, которую он сочинил?» Аня ничего не ответила. Воцарилось молчание. Наконец мужчина сказал:

— Властью, данной мне моей должностью, смею надеяться, и именем — кстати, вы знаете, как меня зовут? — понятно, не знаете, но это даже неплохо, это, знаете ли, даже хорошо, так вот, по всем изложенным причинам, я имею право, и делаю это... Словом, как ваше имя?

— Меня зовут Анна Кремнёва. Я сыграла несколько главных ролей.

— Стоп, стоп, об этом после. Вы играли Катарину?

— Нет еще. Просто дома изучала...

— Так, дома...Тоже хорошо. У вас телефон есть?  
Да, а адрес?

— Все есть.

— Вот и замечательно. Я делаю вам предложение.

— Какое?

— Ну, дорогая, где вы прятались и в каком таком тайном месте играли? Только молчите, мне подробности сейчас не нужны. Предложение работать, я ясно излагаю?

— Ясно.

— Так что?

— А вы больше ничего не хотите послушать?

— Для принятия решения — нет, из удовольствия — пожалуйста.

— Тогда я монолог Нины, можно?

— Нужно!

Когда Аня произнесла первые знаменитые слова «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...», мужчина засмеялся и весело произнес: «А вам известно, что это пьеса названа Чеховым комедией? Известно?» — «Конечно. А почему вы смеетесь?» — «Комедия потому что, ясно?» Аня не отвечала на реплики развеселившегося мужчины, имя которого не знала, а он не знал, кто она, откуда, да еще и не хотел узнавать. Здорово! «Я еще Машу играла». Мужчину с красиво зачесанными волосами это позабавило еще больше, и она спросил, когда, наконец, успокоился. «Когда сможете приступить к своим обязанностям?» Аня молчала и не потому, что ей так и не мог приоткрыться смысл происходящего, но, скорее, по непонятному ощущению, которое зрело, ширилось у нее внутри. Она никак не могла принять манеру поведения человека, который то ли разыгрывал ее, то ли насмешничал. И она спросила снова: «А как ваше имя?» Мужчина поднялся на сцену, щелкнул каблуками своих не менее шикарных туфель и отрекомендовался: «Главный режиссер театра, Виталий Константинович Угрюмов. Надеюсь, вы не откажете...» Аня строго посмотрела на главного, как выяснилось, режиссера и ответила: «Я подумаю, можно?»

Это было выше всяческих сил, и режиссер пришел в полное замешательство. Услышав собственную фамилию из своих же уст, поняв, какой театр он возглавляет, он развеселился еще больше, хотя понятно было, что ответ Ани не мог не задеть его. «Пожалуйста, уважаемая Анна Кремнёва, жду вашего звонка». — «Но я не знаю вашего телефона». — «Пройдемте, я напишу вам все. Идемте», — уже вполне серьезно сказал режиссер Угрюмов самого замечательного, самого веселого театра страны, о чем Анна еще не могла знать. Она только догадывалась, что попала в какое-то такое место, где творятся совсем необычные вещи, коль скоро главный режиссер театра может так легко и запросто и — главное — быстро принимать решения и отвечать за них.

Он дал ей на желтой толстой бумаге написанный своей рукой номер телефона, сообщил, что и по домашнему можно позвонить тоже, склонился в галантном поклоне и на прощание произнес: «Я очень надеюсь на положительное ваше решение».

На этом Аня, еще раз оглядев необычные покои respectableного, помпезного пространства театра, поблагодарила стоящего перед ней человека и вышла.

Она не все поняла из того, что произошло сейчас, но какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что произошло что-то весьма особенное. На осознание этого требовалось время, и она понимала, что сам спонтанный приход, это импровизационное выступление — были следствием давно вынашиваемого плана, намерения, которым она жила долгие месяцы.

Зима, еще не очень суровая в городе Ленинграде, вдруг словно осознала свои права и вспомнила о снеге, которого не было почти весь декабрь. И он, будто спохватившись, повалил с такой силой, что улицы, совсем не готовые к такому его изобилию, стояли растерянные и только готовились принять приход зимы. И Аня поняла, отчетливо и ясно, что как этот снег, что сыплет и сыплет сквозь неподготовленность и неготовность города, его жителей, его зданий и парков, его огром-

ных пространств с их тайнами и прописными истинами, — что свершается только то, что закономерно и не препятствует естественному взаимоотношению вещей, событий, сил.

На какое-то время она вообще забыла о покупках, магазинах, так захватил ее вид переменившегося в какие-то час-полтора города. Однако нужно все же было делать какие-то покупки, но Аня решила, что с этим можно обождать и перенести назавтра. И шла пешком долго, пока не поняла, что можно и проехать пару остановок.

Действительно, возле их дома тоже были магазины, и она забежала, чтобы купить самое необходимое. А подарки отложила назавтра.

Вечером, когда появился Олег и принес огромный сверток, она подумала, что права была утром: он что-то затевал, готовил. Однако он не стал ничего припрятывать, а сразу развернул свой пакет, вынул из нее огромную, как показалось Анне, шубу и попросил примерить. На вопрос, откуда и где такое чудо он достал, Олег спокойно ответил, что не подошло одной даме с работы, а она привезла его из Америки, и вот, перепало им, и что он уже знал об этом накануне и ждал, чтоб она принесла свою вещь. Тем более что зима, кажется, и правда началась.

А совсем поздно, когда они остались одни, Аня рассказала о своем походе и о том, что режиссер будет ждать ее решения.

— И ты еще медлишь?

— Да, надо же все обдумать.

— Нет, Анята, с такими предложениями долго не носят. А сразу дают согласие. Надеюсь, ты это понимаешь?

— Не все, наверное.

— Что же именно непонятно? Ты что, не хочешь в театр?

— Очень хочу. А ты, ты не против?

— Это не обсуждается.

— Я хочу, конечно, хочу.

— Все, тема закрыта. Иди и звони.

— Нет, завтра. Пусть думает, что я серьезная.

— А ты и вправду серьезная.

— Ты так считаешь?

— Я так считаю.

Аня обняла своего дорогого человека и подумала, что все просто, нужно только очень ждать. Банальная эта мысль вполне успокоила ее, однако что-то все же тревожило. И она, кажется, начинала понимать, что же именно. А не смеялся над ней этот Угрюмов? Может, он ее просто проверял? Скорей бы завтра!

Оно настало, никуда не делось, это завтра, и с утра, покормив и уложив дочку, Аня пошла и села возле телефона.

Однако рука не поднималась набрать номер, и она все сидела и сидела. Потом поднялась и стала готовить. Решила испечь пирог, а для этого требовалось тесто. Вот она и стала его месить. Просеивая муку, добавляя сахар, размешивая все это чудо, которое только что было отдельными компонентами, она думала о том, что все равно, в любом случае следует пойти в город, как они дома говорили, когда ехали в центр, и купить подарок. Она давно решила, что это будет. В доме не было часов, вечно спрашивали у Олега, который час, а больших настенных не было. Вот она и задумала, что купит, непременно купит для всех такой подарок.

Но сколько бы она не прикладывала усилий, сколько бы не оттягивала момент, который ждала и которого боялась, тянуть больше не могла. И тут увидела, что рядом с самой доской, на которой она колдовала над тестом, ползет паук. Она стала смотреть на него, не решаясь ни прихлопнуть, ни сбросить. Смотрела и думала, как же здорово устроено все в природе: даже такое крошечное существо и то для чего-то необходимо. Вот, завис, наверное, решил остановить свой выбор на этом участке и начать плести паутину. Был он

почти черный, но совсем не страшный, и лап у него было восемь. Аня еще подумала, что напрасно так боялась их в детстве, ничего-то в них нет страшного. Но паук, сделав остановку, все же переместился чуть дальше от края стола (и правильно сделал) и потом совсем переполз в угол. Все, наверное, на этом остановится, подумала Аня. Не все же ему тут ползать!

Она вдруг резко подняла трубку, набрала номер, который лежал тут же, да и в который можно было уже не заглядывать, так как выучился наизусть, и стала считать гудки. Никто не откликнулся, Она посмотрела на трубку, словно проверяя, исправна ли она, и снова принялась за тесто. Оно было вполне готово и в него можно было заворачивать мясо с рублеными яйцами. И оставалось-то совсем немножко, когда она не выдержала и вновь направилась к телефону. Стена, где находился аппарат, была сплошь покрыта трещинками, совсем крохотными, едва видимыми и довольно крупными. И Аня подумала, что скорей бы весна, ее любимое время года, и тогда можно будет сделать ремонт и все покрасить.

Она набрала номер, и снова никто не ответил. Тогда она решила протереть и эту стену, и ту, что находилась напротив, и когда прошло еще сорок минут, она выдвинула противень, проверила готовность пирога и решила дать ему пропечься еще десять минут. А сама думала, как узнать, прошли ли эти минуты, нарочно не глядя на свои маленькие часики «Юность», которые когда-то ей подарила мама.

Но и пирог испекся, и трещинки, кажется, были уже не столь заметны, а время словно остановилось. Во всяком случае, ей казалось, что оно перестало дышать, двигаться, что вряд ли оно существует вообще...

И сама не заметила, как почти автоматически опять набрала номер и как трубку подняли тут же и тот же особенный, какой-то подпрыгивающий голос произнес: «Вас слушают!» Это был призыв. Аня сначала растерялась, она не слышала, чтобы так отвечали по телефону и когда услышала: «Говорите же!», она произнесла:

- Я — Кремнёва, читала у вас вчера.
  - Да, та, которая из особого времени?
  - Из какого?
  - Ну, из времени любви, кажется. Да, и еще веры. Я вас правильно понял?
  - Я об этом еще не думала.
  - Что же вы готовы мне сообщить?
  - Что я... вы серьезно вчера все сказали?
  - А почему вы об этом спрашиваете? Что я такого несерьезного сотворил? Я вообще очень, очень серьезный человек.
  - Я бы хотела работать у вас.
  - Понятно. Рад, очень рад. Жду вас с документами пятого числа.
  - А почему?
  - Дорогая Анна Кремнёва, да потому что завтра Новый год, потом праздничные дни, будет некогда. А пятого мы все оформим. Это вас устраивает?
  - Да. И еще я хотела спросить...
  - Что же?
  - Я ведь буду у вас роли играть?
  - Видите ли, заместитель у меня есть, на роль администратора вы тоже не годитесь. Остаются, что ж, остаются и правда — роли. Вы не против?
  - Я очень, очень «за» — выдохнула Аня. — Поздравляю вас с наступающим Новым годом, — сказала она и еще хотела что-то добавить и еще задержать внимание режиссера Угрюмова, но понимала, что дальше тянуть нельзя, нехорошо как-то.
  - Вас — с наступающим. И надеюсь, он принес нам удачу! Вы слышите меня?
  - Я? Я слышу.
  - Вот и хорошо, приходите.
- Мужчина был так же весело настроен, хотя поздравил ее вполне серьезно и вполне серьезно пригласил ее пятого придти. Хорошо, что все документы теперь с собой — спасибо Светке! И вот-вот пропишут в ее коммуналке, в личной ее комнате — это уж Олег с мамой постарались.

Пирог был выгашен и поставлен на кухне, накрыт белой салфеткой, Пелагея все еще спала, а Екатерина Дмитриевна вместе с Коленькой отправилась неподалеку и вот-вот должна была вернуться с покупками. Так что вскоре вполне можно было отправляться в город.

Аня оделась и когда, наконец, смогла выйти из дома, то встала у подъезда и еще какое-то время стояла, не могла идти. Смотрела на идущий снег, на пробегающих прохожих и думала не о разговоре, но о том, что пятое число когда-нибудь да наступит, и что сомнения, если они и были, отступили, куда-то скрылись совсем после разговора с режиссером, и еще о том, что далеко в прошлом осталась ее давняя история, ее первый театральный опыт, и что совсем скоро, через пять дней начнется что-то такое, чему не было пока названия, но что так тревожно и настойчиво заявляло о себе, словно те минуты, когда должна была появиться на свет ее дочка Пелагея. Аня знала, была уверена, что этот момент непременно наступит, как и теперь твердо знала, что ничто уже не сможет помешать тому, что случится вот-вот, совсем скоро. Осталось подождать совсем немного. Всего пять дней!

Она шла по заснеженному городу к магазину, в котором уже видела часы, и вспоминала слова мамы, которая всегда говорила ей, когда заплетала Анины длинные косы: «Терпи, казак, атаманом будешь!» Значения этих слов Аня не понимала очень долго, но постепенно как-то сам собою раскрылся их смысл, и стало очевидно, что терпеть и ждать надо в любом деле. И оно получится. Непременно! «Что ж выходит, я казак опять?» — думала Аня, когда сворачивала из переулка, где купила еще и чай, к тому самому месту, где находился театр. Он появился неожиданно, как и в тот раз, когда она подняла голову и посмотрела на высокие, ни на что не похожие окна и была сражена особым почерком, стилем здания, его вызывающей открытостью и даже вызовом. «И что же, — снова подумала Аня, — вот это здание станет моим? И я буду

приходить сюда каждый день? И все снова, снова повторится? Неужели это будет?»

Она стояла, смотрела сквозь летящие снежинки на главный вход в театр и не заметила, как первые зрители стали постепенно собираться у входа, как зажглись еще какие-то огни и стало совсем празднично и светло, и повернула только тогда, когда один из зрителей, совсем молодой мужчина, бросился куда-то в сторону с громким возгласом: «Ирочка, я здесь!» И тогда Аня окончательно поняла, что это действительно театр, где сейчас, через несколько минут начнется то, ради чего стоит жить, расчесывать косы и терпеть все-все, даже если их и не будет, то многое совсем другое, и становиться если уж не атаманом, то актрисой. Самой настоящей, под стать этому театру и этому городу, где она родилась и где теперь живет сама, она — Анна Васильевна Кремнёва.

#### КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

*22 марта – 1 ноября 2009 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе .....	5
Моим читателям .....	8
Глава первая. Своевременный приход .....	9
Глава вторая. Репетиция .....	20
Глава третья. Дом во дворе .....	33
Глава четвертая. Отец .....	43
Глава пятая. Эвакуация .....	62
Глава шестая. Валентина .....	79
Глава седьмая. Детство .....	98
Глава восьмая. Школа .....	114
Глава девятая. Совсем взрослая жизнь .....	141
Глава десятая. Первые театральные звонки .....	195
Глава одиннадцатая. Мы будем вместе .....	223
Глава двенадцатая. Мы не будем вместе .....	238
Глава тринадцатая. Здесь и сейчас, рождающее перемены .....	257
Глава четырнадцатая. Слишком рано, слишком неожиданно .....	271
Глава пятнадцатая. Все возможно .....	289
Глава шестнадцатая. Предательство и спасение .....	310
Глава семнадцатая. Когда-нибудь всё вернется .....	334

Оригинал-макет *О. Комиссарова*

Сдано в набор 22.03.10. Подписано в печать  
Формат 84x108/32. Гарнитура «Баскервиль».

Тираж 500 экз. Заказ  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22.

Научно-издательский центр «Академика»  
127254, Москва, ул. Гончарова, 15

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Коломенской межрайонной типографии